

Владимир Григорьевич БОРБОТЬКО

Доктор филологических наук, профессор кафедры романских и германских языков Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Известный отечественный лингвист, автор оригинальных публикаций по теории дискурса, специалист в области французского языка, психолингвистики, общего и романского языкознания. На протяжении многих лет читает спецкурс для студентов по общей теории дискурса. Исследуя глубинные принципы порождения дискурса, значительное внимание уделяет вопросам происхождения языка как динамической саморазвивающейся системы, привлекая материал различных языков, данные палеопсихологии, идеи синергетики. Переводит с французского языка научные работы по лингвистике и художественные произведения, в том числе песенную поэзию Жака Бреля и Жоржа Брассенса; автор песен, исполняемых лыжниками и альпинистами. Кандидат в мастера спорта России по горному туризму; в качестве переводчика участвовал в российско-французских альпинистских экспедициях.

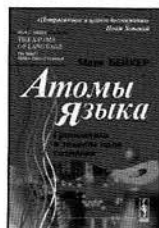
Наше издательство предлагает следующие книги:

"СПб Дом Книги" В-811



324.00

Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психологии



9801 ID 121032



Любые отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги в нашем интернет-магазине <http://URSS.ru>



URSS

E-mail: URSS@URSS.ru

Каталог изданий в Интернете:

<http://URSS.ru>

URSS НАШИ НОВЫЕ
КООРДИНАТЫ

ТЕЛЕФОН/ФАКС (многоканальный) +7 (499) 724-25-45
117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56

В. Г. Борботько

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУРСА

К ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКЕ



URSS

В. Г. Борботько

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУРСА

ОТ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
К
ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКЕ



URSS

Борботько Владимир Григорьевич

Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. Изд. 4-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 288 с.

Настоящая монография посвящена описанию естественного языка как инструмента рефлексии, моделирующей дискурсивные структуры и соответствующие им образы мира. В первой части работы дается критический обзор различных направлений в изучении дискурса, определяется место дискурса в контексте речевой деятельности, подвергаются анализу фундаментальные принципы его внутренней организации. Во второй части исследуются синергетические аспекты языка как лингвокультурного компонента сознания, а также дискурса как процесса деятельности рефлексии, которая формирует из языкового материала оригинальные модели и обращает их в элементы языковой системы, обеспечивая таким образом ее саморазвитие. Центральная роль отводится принципам симметрии, определяющим фазы построения дискурса и типы дискурсивных моделей. Рассуждения автора иллюстрируются текстовым и лексическим материалом французского, русского и других языков. Книга снабжена терминологическим словарем.

Издание адресовано специалистам в области общего и сопоставительного языкознания, лингвокультурологии, лингвистики текста и французского языка, а также аспирантам и студентам лингвистических специальностей.

Издательство «Книжный дом «ЛИБРОКОМ».
117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56.
Формат 60×90/16. Печ. л. 18. Зак. № 4323.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.

ISBN 978-5-397-01802-9

© В. Г. Борботько, 2006, 2010

© Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2009, 2010



9801 ID 121032



Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.

Оглавление

Введение	5
Часть первая	
Дискурс как психолингвистическая реальность	10
Глава I. Дискурс в лингвистических описаниях	10
§ 1. Дискурс и текст в лингвистике и семиотике	10
§ 2. Категории семантико-синтаксического описания дискурса	16
§ 3. Прагматический и когнитивный подходы	19
§ 4. О соотношении планов выражения и содержания	23
§ 5. Синтаксическая организация дискурса и моделирование смысла	27
§ 6. Дискурс как высшая единица языка	30
Глава II. Дискурс и контекст речевой деятельности	33
§ 1. Дискурс полисубъектный и моносубъектный	33
§ 2. Структурные компоненты диалогического дискурса	37
§ 3. Ключевой фактор дискурсивной деятельности	40
§ 4. Параметры ситуативно-связанного дискурса	43
§ 5. Параметры ситуативно-свободного дискурса	45
§ 6. Характеристики дискурсивных величин	48
§ 7. Дискурс как процесс ориентировочного отражения мира	51
Глава III. Игровое начало в деятельности языкового сознания	59
§ 1. Языковое сознание как образ мира	59
§ 2. Игровой фактор в языке	62
§ 3. Образ: предметность, ценность, синергия	64
§ 4. Самоотражение говорящего субъекта в дискурсе	67
§ 5. Деятельность деловая и игровая: стандартное и особенное	69
§ 6. Сопряженные явления в динамической среде	75
§ 7. Деятельность языкового сознания: регистры деловой и игровой	78
§ 8. Рефлексия как компонент бессознательного	82
Глава IV. Дискурс: от формы к смыслу	88
§ 1. Реляционное и операционное представление дискурса	88
§ 2. Операции порядковой размерности	92
§ 3. Операции развертывания и свертывания	97
§ 4. Операции полярной размерности	100
§ 5. Дискурс с особенностью: паратрактивные конструкции	106
§ 6. Межранговая общность операторов дискурса	112

Часть вторая

Лингвосинергетические аспекты дискурса	119
Глава V. Дискурс как фазовое пространство	119
§ 1. Фазовый состав синтагмы: профаза и эпифаза	119
§ 2. Сопряженная семантика высказывания	123
§ 3. Энергетическое взаимодействие глаголов в дискурсе	128
§ 4. Глагол как диктальная база дискурсивного процесса	133
§ 5. Принципы построения смысла на уровне корневой фоновсинтагмы	137
Глава VI. Моделирующая деятельность дискурсивной рефлексии	147
§ 1. Порядки дискурсивных моделей	147
§ 2. Модели реальности и квазиреальности	153
§ 3. Модели ирреальности	159
§ 4. Модель-аллегория	167
§ 5. Категориальные модели	170
§ 6. Разновидности диктальной модели	174
§ 7. Паремические микродискурсы как языковые матрицы	176
Глава VII. Синергетика языка и дискурса	184
§ 1. Язык как фазовое пространство	184
§ 2. Динамика отношений языка и дискурса	191
§ 3. Синергетические эффекты в динамических системах	195
§ 4. Язык как метастабильный компонент психики	199
§ 5. Типы дискурсивного моделирования	203
§ 6. Базовая аксиоматика языкового сознания	211
§ 7. Оперативная аксиоматика дискурса	215
Глава VIII. Самоорганизация дискурсивных структур	220
§ 1. Процедуры рекурсии и дискурсии: уподобление и расподобление	220
§ 2. Дискурсивное расподобление языковых единиц	223
§ 3. Самоподобные явления в дискурсе	226
§ 4. Дискурсивное самоопределение слова	229
§ 5. Слово как символ	233
§ 6. Дискурсивные символы-архетипы	238
§ 7. Поэтический идиосимвол и модель-интерпретация	243
§ 8. От дискурса к метатексту	252
Заключение	259
Библиография	264
Список источников текстового материала	274
Терминологический словарь-указатель	276

Введение

Понятие дискурса возникло в связи с выходом лингвистических исследований за пределы предложения — в область сверхфразового синтаксиса. Поэтому с точки зрения лингвистики дискурс — это прежде всего комплексная единица, состоящая из последовательности предложений, находящихся в смысловой связи.

Поиски типовых структур дискурса, сопоставимых с типовыми структурами предложения, пока не привели к существенным теоретическим обобщениям в виду крайней сложности и исключительной многоаспектности явления, стоящего за данным термином. Но термин «дискурс» достаточно прочно зафиксировался в лингвистике, почти вытеснив синонимичное понятие «текст связной речи», и даже перешагнул ее границы, широко употребляясь, например, в философии, социологии и политологии, в культурологии, в работах по психоанализу и т. д.

Исследуя дискурс, лингвистика вовсе не уходит от своего главного объекта — языка. По выражению Ю. С. Степанова [1996, 71], «дискурс — это новая черта в облике Языка, каким он предстал перед нами к концу XX века». В образе дискурса язык повернулся к лингвисту своей необычайно сложной динамической стороной, что требует поиска новых подходов и методов, отличных от традиционных.

Для современного гуманитарного мышления характерно повышенное внимание к роли языка в формировании культурно-семиотического компонента общественного сознания и в межкультурном социальном взаимодействии, что влечет за собой и соответствующее расширение сферы лингвистических исследований. Интересы лингвистики в настоящее время существенно сместились со структурного описания языка на тот исторический контекст, в котором язык развивается и функционирует. В каком бы плане ни проводилось исследование, в русле лингвофилософии, семиотики, риторики, поэтики, интерпретации текста, и т. д., везде объединяющим началом служит, как правило, понятие дискурса, трактуемое различными направлениями по-разному. Дискурс существует как процесс общения и научного рассуждения, как политическая речь и как художественное произведение.

Форма и смысл дискурса, разумеется, зависят от социального и индивидуального образа мышления. Но и дискурс своей формой и смыслом воздействует на сознание людей. Нередко дискурс образует самостоятельную единицу, которой оперирует языковое сознание, воспроизводя ее полностью или частично. Даже не будучи зафиксированными в виде текста,

дискурсы как целые произведения передаются из уст в уста, от поколения к поколению.

По сути каждая область человеческой деятельности обладает собственным характерным для нее дискурсом, в котором реализуются способности человека к рефлексии и коммуникации. Именно коммуникативные характеристики дискурса и его функции в общественной практике сделались предметом многочисленных научных рассуждений и дискуссий. Что же касается внутренней организации дискурса, принципов формирования его структуры и смысла, то до настоящего времени прогресс в решении этих проблем оставляет желать лучшего.

Одна из причин трудностей, возникающих на пути лингвистического исследования, кроется в динамическом характере дискурса. Методы, применяемые при анализе слова, словосочетания, предложения лишь как статических сущностей, стабильных элементов системы, оказываются в целом непригодными в применении к дискурсу. Да и сами указанные единицы, попав в дискурс, вдруг оказываются далеко не стабильными, обнаруживают семантическую и формальную вариативность, многозначность и т. п.

Дискурс представляет собой речемыслительный процесс, приводящий к образованию лингвистической структуры. Предполагается, что в дальнейшем эта структура, будучи зафиксированной в памяти или в письменном виде, несет в себе следы основных этапов своего формирования. Только эти этапы крайне нелегко дифференцировать. Ведь при создании дискурса приходит в активное состояние вся языковая система как средство речевого моделирования образа, порождаемого человеческим сознанием. В этом процессе одновременно участвуют единицы разных уровней языка — от фонетического до сверхфразового.

Заметим, что научное представление сложных динамических объектов относится к компетенции физико-математических теорий, аппарат которых в недавнее время взят на вооружение синергетики, описывающей процессы взаимодействия систем самой различной природы, их самоорганизации и саморазвития [Хакен, 1985; 2003].

В основе синергетики лежат новейшие достижения в области математики и естественных наук: математическая теория катастроф с ее «особенностями», «странными» аттракторами, и бифуркациями фазового пространства [Арнольд, 1983], неравновесная термодинамика, описывающая самопроизвольное рождение порядка из хаоса [Пригожин, 2000], физика резонансных явлений и фрактальная геометрия, исследующая самоподобие в организации мира [Шредер, 2001], а также другие теории, приводящие к нетривиальным философским обобщениям.

Методология синергетики нашла философское осмысление и применение в самых различных науках, причем первый камень в основание новой методологии был заложен почти сто лет назад русским мыслителем П. А. Флоренским [1990], который сделал это как раз в сфере лин-

гвистики — представил слово как «синергию», особенное явление, порожденное со-дейтельностью различных сил.

На международной конференции, подводящей итоги достижений лингвистики XX века, заявила о себе идея о синергетическом характере языка, выразившаяся в постановке ряда новых и нетривиальных проблем: язык как адаптивная, самоорганизующаяся система, язык как динамическая неравновесная система, синергетика речи и ситуации, языковая суггестия, и др. Р. Г. Пиотровский выделил синергетику в качестве одного из магистральных направлений лингвистики будущего: «Как устроены синергетические механизмы, управляющие как развитием, так и устойчивым обращением системы языка в социуме, так и функционированием речемыслительной деятельности отдельного индивида? Ответ на этот вопрос мы пока не имеем. Можно ожидать, что проблема синергетики языка и речи станет одной из центральных проблем языкознания XXI века» [Пиотровский, 1995, 418].

Перспектива исследовать язык как синергетическую сущность несомненно заманчива и может оказаться плодотворной. Р. Г. Баранцев [2002, 461] предостерегает, однако, от сведения идей синергетики к выхолощенным широкомасштабным формулировкам и от неоправданных экстраполяций некоторых аспектов физического мира на социальные и информационные процессы, поскольку поле синергетики не ограничивается «диссипативными системами, слабыми флуктуациями частиц и рождением порядка из хаоса». Синергетический подход к языку и дискурсу требует глубокого осмысления их динамических аспектов и основательной проработки языкового материала, иначе все может ограничиться голыми декларациями.

Взгляд на язык как на саморазвивающуюся систему, восходящий в своих истоках к учению В. Гумбольдта, контрастирует с прочно укоренившимся положением, согласно которому язык изобретен человеком, а отношения между формами и значениями имеют чисто условную природу. Действительно, множество слов современного языка оказываются изобретенными, нередко вопреки грамматическим правилам. И все же, исследование глубинной динамики речемыслительной деятельности говорит в пользу того, что язык сформировался стихийно, независимо от воли человека; человек волен сознательно лишь нормировать язык, но не в состоянии изменить в нем ни фонетику, ни грамматику. Что же касается лексики, то новые слова всегда строятся на основе уже существующих языковых элементов.

Язык возник спонтанно как результат саморазвития высших психических функций человека. Гумбольдт указывал на тесную связь возникновения и развития языка со становлением человеческой рефлексии. Исследуя дискурсивные процессы, мы тем самым исследуем язык как орудие рефлексии, которое, по-видимому, и сформировано самой рефлексией.

А это означает, что при описании дискурсивных структур невозможно оставить в стороне вопросы происхождения и развития языка как системы, обеспечивающей их формирование.

Основная гипотеза работы основана на двух парадоксальных моментах из числа тех, которыми изобилует лингвистическое поле.

Парадокс «наивного» носителя языка состоит в том, что, не зная правил построения комплексных лингвистических структур, он справляется с этой задачей, несмотря на сложные взаимоотношения между единицами всех языковых уровней, над описанием форм и функций которых трудились многие поколения лингвистов. Практически любой «средний» носитель языка способен, если не строить, то с легкостью понимать и воспроизводить многие дискурсы, независимо от уровня их сложности.

Второй парадокс относится к области поэтического творчества: автор, создавая свое произведение, не задумывается над правилами выражения смысла, а потом целые поколения филологов отыскивают в тексте те приемы, которые он якобы применял. Автор интуитивно строит нетривиальный текст, руководствуясь каким-то неведомым поэтическим «чутьем».

Можно предположить, что любой носитель языка неосознанно владеет неким ключевым принципом, позволяющим ему молниеносно отслеживать смысловые взаимодействия единиц на всех уровнях дискурса. Этот глубинный принцип пронизывает своим действием все уровни языковой системы (от фонетического до сверхфразового), что обеспечивает: а) автоматическое развертывание дискурсивных структур с традиционной семантикой, б) неосознанный контроль за композицией структур при порождении нетрадиционных смыслов. Вероятно, что основополагающие принципы, связанные с неосознаваемой деятельностью языковой рефлексии, немногочисленны и могут быть обнаружены в результате исследования внутренней организации дискурса.

Поскольку генератором смысла является именно композиция, синтаксическое сопряжение языковых единиц, необходимо подвергнуть рассмотрению синтагматику дискурса на всех уровнях и выявить в деятельности языкового сознания те принципы, которые управляют построением дискурсивных структур и их смысловым наполнением.

В первой части работы критически анализируются результаты предшествующих исследований дискурса, строятся общенаучные основания описания и исследуется система дискурсивных операторов. Особое внимание уделяется глаголу как носителю ядерной семантики языка и важнейшему оператору в формировании дискурса.

Во второй части рассматриваются принципы деятельности дискурсивной рефлексии и синергетические процессы, приводящие к построению различных видов и типов дискурсивных моделей.

Исследование выполнено главным образом на материале французских и русских текстов. В качестве материала для сопоставления привле-

каются также примеры, в частности, лексические единицы, из других индоевропейских языков.

В библиографическом разделе приводятся наименования научных трудов, ссылки на которые имеются в тексте, а также текстовые источники языкового материала. В нем указаны и некоторые работы автора [Борботько, 1981, 1996, 1997, 2001, 2003], содержащие принципиальные положения подхода, принятого в данном исследовании.

Текст работы снабжен терминологическим словарем-указателем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дискурс как психолингвистическая реальность

ГЛАВА I

Дискурс в лингвистических описаниях

§ 1. Дискурс и текст в лингвистике и семиотике

Первые исследования внутренней организации дискурса датируются рубежом 50-х годов XX в., когда появились работы, полностью посвященные конструкциям, состоящим более чем из одного предложения — «сложным синтаксическим целым» и «сверхфразовым единствам». В отечественной лингвистике исследовались главным образом логико-грамматические отношения между связанными по смыслу высказываниями, образующими в речи сверхфразовое единство [Фигуровский, 1974, 109]. Термин «сложное синтаксическое целое» употреблялся Л. В. Щербой уже в 20-е годы [см. Щерба, 1974, 97] по отношению к единому комплексному высказыванию, сочетающему в себе различные виды синтаксической связи компонентов (сочинение, подчинение, обособление, вводные конструкции и т. д.).

В зарубежной лингвистике синтаксические регулярности в организации дискурса были открыты в начале 50-х годов З. Хэррисом, который установил факт повторяемости морфем и синтаксических конструкций в смежных высказываниях, а также смысловую эквивалентность различных выражений, попадающих в идентичное окружение [Harris, 1969].

К началу 70-х годов заметно возрос объем работ, изучающих сверхфразовые единства и те процессы, которые имеют место в семантическом взаимодействии языковых единиц за пределами монопредикатного высказывания. К этому времени сформировалось научное течение под названием «лингвистика текста», объединившее в себе как лингвистические исследования, так и смежные подходы к изучению текста связной речи — теоретические (литературоведение, функциональная стилистика) и имеющие прикладную направленность (информатика, теория коммуникации, автоматизированный перевод, преподавание языков, статистическая обработка текстов и т. д.) [см. Гиндин, 1977].

Поскольку текст оказался в поле зрения разных дисциплин, в науке, объектом которой традиционно считается язык, возникла необходимость более четко осмыслить заявивший о себе новый предмет. Было констатировано расширение границ лингвистических исследований за пределы предложения — на уровень дискурса [Benveniste, 1966, 129]. Высказывалась также идея о создании грамматики дискурса как нового раздела языкознания [Колшанский, 1976, 21].

Лингвистический статус дискурса некоторое время вызывал сомнения. Так, Р. Годель писал в 1966 году, что «дискурс — довольно опасное слово для использования в лингвистических определениях, так как оно подразумевает и мышление и речь (la parole)» [цит. по: Слюсарева, 1981, 61]. В то же время Э. Бенвенист, оперируя понятием дискурса, противопоставлял его как процесс системе: «вместе с предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, мир языка как орудия общения, выражением которого является дискурс» [Benveniste, 1966, 129–130]. Развивая мысль о процессуальном характере дискурса, он писал, что высказывание есть «индивидуальное преобразование языка в дискурс», причем производится именно «высказывание, но не текст высказывания» [Benveniste, 1970, 12–13]. Тем самым было проведено различие между процессом реализации языковой системы — дискурсом, и результатом этого процесса — текстом.

Авторы французского лингвистического словаря дают дискурсу следующее определение: «В современной лингвистике термин *дискурс* означает всякое высказывание, превышающее по объему фразу, рассматриваемое с точки зрения связывания последовательности фраз между собой. В противоположность подходу, согласно которому предложение является терминальной единицей языка, дискурсивный анализ открывает новые перспективы лингвистического исследования» [Dubois, Giacomo, 1973, 156].

Но и термин «текст» не утрачивает своих позиций и оказывается более широким по сфере своего применения, чем термин «дискурс». Текстом является и целый роман, и сборник сентенций, при этом, согласно мнению Э. Бюиссенса, роман представляет собой один дискурс с подразделениями на многочисленные единства, а сборник сентенций содержит столько же дискурсов, сколько сентенций [Buysens, 1970, 90].

Представители «лингвистики текста» вполне справедливо настаивают на применении термина «текст» только к письменным документам. Одно из наиболее полных определений текста в русле текстолингвистики принадлежит И. Р. Гальперину [1981, 18]: «Текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи,

имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку». В противоположность устной речи «для текста характерно графическое воплощение» [Тураева, 1986, 12].

Однако, называя текстом только речевые произведения сверхфразового уровня, лингвисты тем самым отказывают в статусе текста другим письменным документам. Очевидно, что понятие текста применимо не только к связной последовательности предложений, но и к любому письменному документу, в том числе и с элементами графики, который, в отличие от дискурса строится как по законам языка, так и по иным схемам, сообразно практическим потребностям человека. Текст может иметь вид анкеты, списка, рекламы, перечня инструкций, набора фраз для тренировочных упражнений, словаря, справочника и т. д., наконец, текст может содержать материал не только одного, но и разных языков.

Отметим, что в семиотике обозначилась и тенденция к расширенному использованию термина «текст» по отношению к разным проявлениям общественной культуры. Текст в таком понимании предстает как факт культурно-феноменологического порядка, который может и не иметь прямого отношения к естественному языку [Лотман, 1981]; например, текстом являются и следы прежних цивилизаций на определенной территории, и коллекция произведений живописи или архитектуры.

Для лингвиста текст представляет собой, в первую очередь, фиксированный в письменной форме *языковой материал* [Щерба, 1974, 26], используя который возможно установить те или иные закономерности в разрывании дискурсивного процесса, в устройстве языковой системы, а также выявить разнообразные свойства языковых единиц. В зависимости от теоретической установки текст может рассматриваться как последовательность единиц любого уровня — слов и словосочетаний, морфем и фонем, а вовсе не только как последовательность предложений. Не всякий текст содержит в себе дискурс.

Понятие текста вполне правомерно использовать как для обозначения любого лингвистического материала в его письменной форме, так и в качестве синонима для дискурса, если данный текст является его письменным представлением, учитывая широкое использование термина «текст» в лингвистических работах именно в последнем значении.

В 80-е годы понятие дискурса в западноевропейской лингвистике стало вполне традиционным, к тому же и опыт классической структурной лингвистики говорит о невозможности получения адекватных результатов структурно-семантических исследований без обращения к дискурсу [Mahmoudian, 1982, 221].

Перед наукой открылась возможность обобщить многие разрозненные данные о языке, исследуя его дискурсивную реализацию. «Необходимо наконец признать, — пишет Цветан Тодоров [1983, 368], — что в действительности есть лишь единое поле исследования, которое в настоящее

время безжалостно разделено между семантиками и филологами, социо- и этнолингвистами, специалистами по философии языка и психологами».

Язык, повернувшись в дискурсе своей динамической стороной, приобрел вид совершенно нового, необычайно сложного объекта. Многоаспектность дискурса обусловила, в частности, множественность его определений и сравнительно быструю эволюцию в концепциях даже внутри одного и того же научного направления.

Р. Барт, например, считал дискурс объектом «транслингвистики» как раздела семиотики, изучающего «все бесконечное разнообразие фольклорных и литературных текстов, а также вербальных (письменных и устных) текстов, относящихся к области массовой коммуникации» [Barthes, 1970, 580].

Парижская школа семиотики определила поле своего исследования чрезвычайно широко, включая в него как лингвистические, так и экстралингвистические явления, описываемые метаязыками различных уровней: дескриптивного (описание языка-объекта), методологического (описание средств анализа) и эпистемологического уровня, обобщающего метаязыковые конструкции в логико-математических символах [Sémiotique, 1982]. Тенденция к расширенному пониманию дискурса наблюдалась в семиотике уже с конца 60-х годов, когда Ю. Кристева, в частности, заявила о несводимости транслингвистических категорий к лингвистическим. Она предложила понимать культуру как «всеобщий текст» и выдвинула понятие «идеологемы» как интертекстовой функции, материализующейся на разных уровнях текста и придающей ему определенные социальные и исторические координаты [Kristeva, 1968, 104].

В. Г. Гак, характеризуя Парижскую школу семиотики, писал, что ее представители «стремятся выявить символику текста, найти глубинные означаемые, означаемыми которых являются элементы повествования. Многие зарубежные исследователи в анализе структуры текста видят возможность найти ключ к творческим замыслам и помыслам автора. Это направление в изучении текста наиболее далеко отходит от языкознания, методы анализа здесь оказываются наименее объективными. Проводимый зарубежными исследователями «семиоанализ» текста нередко смыкается с его психоанализом» [Гак, 1976, 6]. Этот момент подчеркивается в одной из работ Ю. Кристевой: «термин «дискурс» обозначает всякий процесс говорения, включающий в свои структуры говорящего и слушающего вместе с желанием первого воздействовать на второго. Таким образом, дискурс становится удобным полем применения психоанализа» [Kristeva, 1981, 17].

По мнению Франсуази Эльгорски, термин «дискурс» полисемичен лишь на первый взгляд. «В действительности он всегда обозначает определенным образом организованную речевую деятельность, связанную с некоторой нелингвистической областью (социологический, идеологический, культурный контекст) или с чем-нибудь невысказанным (бессознательным, предполагаемым)» [Helgorsky, 1982, 22]. Выделяя два подхода в изучении

дискурса — фразовый (различные методики формального анализа предложения) и трансфразовый, ведущий к созданию текстовых грамматик и неориторики, она обращает внимание на то, что в семиотических штудиях методологический бум принимает угрожающие размеры, что зачастую сводит на нет всякое преимущество того или иного нетрадиционного метода.

В сущности, лингвистический анализ дискурса у представителей школы семиотики опирается на две основные методики, создающих два различных метаязыка. Одна из них — это методика «дискурс-анализа», которую они возводят к работам З. Хэрриса.

У семиотиков этот анализ «сводится к двум моментам: определение класса эквивалентностей, исходя из окружения, и процедуре регуляризации посредством трансформаций» [Marandin, 1979, 22], а в качестве семантической базы фигурирует так называемая «идеология», которая определяется у Ж. Марандена как «система идей, точнее, пропозиций, реализованных в форме именных синтагм (производных от фразы) или простых предложений» [Marandin, 1979, 23].

Вторая широко распространенная методика заключается в поиске закономерностей в плане так называемых семиотических изотопий дискурса на основе семантического анализа лексики, разработанного А. Греймасом [Greimas, 1966, 278]; основное внимание при этом уделяется описанию семантических полей для данного текста и вопросам лексической коннотации, устанавливается структурно-семантическая общность текстов, принадлежащих одному и тому же жанру, автору, сфере коммуникации [Arrivé, 1973].

Описание дискурса при посредстве семантических изотопий дополняется нарративным анализом. Так, нарративно-дискурсивный анализ басни Лафонтена «Ворона и лисица», произведенный Ж. Мораном, предваряется установлением семантических полей и коннотаций текста, затем следует анализ глубинных нарративных структур при помощи «метанарративных» категорий: обладание, лишение, признание, контракт, санкция и др. [Maurand, 1980].

Следует отметить то, что план выражения у семиотиков подавляется планом содержания: смыслообразование описывается, как правило, вне связи с конкретными синтаксическими формами дискурса. Вместо них в основу описания кладется установленная априорно глубинная нарративная синтагматика текста. При этом именно нарративность (повествовательность), «освобожденная от своего узкого толкования, связывавшего ее только с фигуративными формами повествования, рассматривается как организующий принцип любого дискурса» [Семиотика, 1983, 505].

Если отвлечься от присущих семиотике экстраполяций частных принципов на весь комплексный объект, то можно указать на положительную роль многосторонних трактовок дискурса, нередко вступающих в противоречие друг с другом. Существенно также то, что представители

этой школы не упускают из виду аксиологический аспект дискурса, принимая «за исходную единицу дискурс, рассматриваемый как значимое целое» [Семиотика, 1983, 489]. Значимость этого целого в их трактовке социальна и обобщается в ценностных категориях — «идеологиях», которые, впрочем, оказываются наиболее подходящими для описания дискурса, производимого и насаждаемого властными структурами [Серио, 1993], и вопрос об их универсальности, следовательно, остается открытым.

В рамках семиотической школы лингвистические методы, как это ни странно, применяются для описания таких аспектов общественной жизни, как политика, наука, классовая ситуация в стране и т. п. Фактически дискурс-анализ, разработанный З. Хэррисом для описания именно лингвистических структур, оказался подмененным совершенно другим «дискурс-анализом», который анализирует вовсе не дискурс, а различные аспекты и сферы социального взаимодействия, используя дискурс не в качестве предмета, а в качестве инструмента описания [см. Макаров, 2003]. По сути, в работах по «дискурс-анализу» описывается единственная коммуникативно-регулятивная модель дискурса в ее различных вариантах — политическом, юридическом, педагогическом, рекламном и т. д., в основе которых предполагаются различные прагматические стратегии [Миронова, 1997, 14–15]. В самой лингвистике при этом не рождается методологически ценных нововведений и обобщений. У представителей семиотики по-прежнему господствует традиционный конвенционалистский взгляд на язык только как на знаковую систему, в силу чего комплексные языковые структуры фактически приравниваются к словесному знаку; они тоже рассматриваются как единство означающего и означаемого, связь между которыми, по определению, произвольна.

Это положение справедливо критиковалось Христо Тодоровым: «сверхфразовый смысл (то есть смысл текста) мотивирован подфразовым смыслом (смыслом отдельных слов): смысл слов порождает смысл текста, не вызывая потребности в новой, дополнительной конвенции между людьми... По каким точно закономерностям осуществляется языковая мотивированность смысла в тексте, это вопрос языкознания, который, бесспорно, интересен и литературоведов, но для правильной его постановки и разрешения структурная лингвистика средств не имеет» [Х. Тодоров, 1975, 383].

Общая направленность, характерная для семиотических исследований, — от наших знаний о языке через метаязык к внеязыковой реальности. Но для лингвистики все-таки важнее использовать другую возможность, противоположную по направленности, — идти от наших знаний об организации реального мира к языку, формирование которого, вероятнее всего, определяется в конечном счете принципами организации реального мира в их взаимодействии с принципами деятельности человеческого сознания.

§ 2. Категории семантико-синтаксического описания дискурса

В концептуальных представлениях текста связной речи среди многих понятий выделяются такие, как цельность и связность текста [А. А. Леонтьев, 1975], разрывность текста [Жинкин, 1982], смысловая полнота (автосемантизм) [Леонтьева, 1969], интеграция и завершенность [Гальперин, 1980], цельнооформленность [Звегинцев, 1980] и т. д. Все эти понятия, так или иначе, связаны друг с другом, обобщаясь в категориях непрерывности/дискретности [Гаусенблас, 1978] и полноты/неполноты дискурса, рассматриваемых с учетом взаимной дополнительности планов выражения и содержания.

Непрерывность дискурса — понятие относительное. Формально говоря, всякий дискурс дискретен, так как состоит из выражений, производимых отдельными порциями, квантами в ходе речевой деятельности. О континуальности здесь можно говорить лишь условно, учитывая, например, преемственность тех или иных параметров в развертывании дискурса или определенные регулярности в их чередовании. Говоря о связности текста, обычно имеют в виду эту преемственность как согласование между частями целого в формальном (морфо-синтаксическом) и семантическом планах.

Выявление и систематизация средств семантической связи между высказываниями текста привело к констатации повторяемости семантических компонентов во всяком связном тексте [Севбо, 1969; Гак, 1979] и к гипотезе о собственных структурных закономерностях в формировании сверхфразовых единств (абзацев, сложных целых).

Дальнейшие исследования в этом направлении показали, что такие закономерности действительно существуют. О них свидетельствует характер действия средств семантического повтора, то есть повторяющихся (нередко в разном формальном выражении) смысловых элементов в дискурсе (повторение слова, местоименная анафора, синонимия, гиперонимия, метонимия и т. д.).

Анафорические свойства местоимений как средств межфразовой связи были открыты Люсьеном Теньером, согласно которому местоименные слова «являются семантически пустыми в словаре и становятся полными, как только входят в тексте в анафорическую связь с другим словом — antecedентом или семантическим источником, которое им сообщает свое значение: *j'ai vu Alfred, il va bien*. Анафорическое слово может устанавливать семантическую связь между двумя конструкциями, не находящимися в непосредственной синтаксической связи: *j'ai vu Alfred; il allait bien*» [Tessière, 1959, 88]. Именно Теньер впервые показал то, как личные местоимения участвуют в создании связного дискурса на примере целого текста — басни Лафонтена («La Cigale et la Fourmi»). Заметим, что как раз этот фрагмент был опущен в русском переводе книги Л. Теньера «Основы структурного синтаксиса» [Теньер, 1988].

Разные средства семантического повтора обладают различной силой и дальностью действия и служат не только как сигналы соединения, но и как сигналы смыслового разъединения высказываний, т. е. сопутствуют членению дискурса на иерархически упорядоченные единства [см. Борботько, 1981]. Семантический повтор обычно сопутствует логической связности текста, но также может наблюдаться и во фразах логически не связанных между собой.

Идея о логико-коммуникативной связности текста нашла свое достаточно важное обобщение в плане так называемого актуального членения высказывания на «тему» и «рему». Это направление получило интенсивное развитие в работах представителей Пражской лингвистической школы как теория «функциональной перспективы предложения» [см. Хэллдей, 1978], и во многих других работах по синтаксису текста [см.: Dijk, 1977; Inoue, 1982; Золотова, 1979].

В тексте определяются тематические и рематические компоненты каждого предложения, затем — характер связи между ними, создающий тематическую прогрессию; элементами последней являются три вида простейших цепочек: тематическая (тема — тема), рематическая (рема — рема) и смешанная (тема — рема). Комбинации таких цепочек образуют различные конфигурации тематической прогрессии, в том числе параллельную и последовательную связь высказываний, которая организует предложения в более крупные единицы: абзацы, главы, целый текст [Daneš, 1970]. Попытка установить «вертикальную» иерархию в актуальном членении текста делалась, в частности, Л. А. Черняховской [1983], которая использовала для целого текста термины «гипертема» и «гиперрема», определяя отношения между ними как отношения типа логического вывода или следования.

Для работ по «актуальному членению» характерно то, что они, будучи эмпирически корректными в определении темы и ремы, слабо дифференцируют некоторые существенные семантические моменты, в частности, смешивается «новое» выявленное из ситуации с «новым», привнесенным говорящим. Среди различных интерпретаций актуального членения выделяют: а) логико-семантическая интерпретация, указывающая на связь между исходным семантическим основанием (темой) и целью высказывания, или его актуальным предикатом (ремой), который интонационно выделяется говорящим; б) коммуникативная интерпретация, указывающая на связь, которую говорящий устанавливает между «данным» (известным) и «новым» для слушающего [см. А. А. Леонтьев, 1981].

Разнообразные логико-семантические отношения между высказываниями естественного языка остаются мало исследованными в применении к конкретным дискурсам. Семантические и логические метаязыки, создаваемые в работах семиотиков, имеют ограниченную сферу применения по отношению к материалу естественного языка, что и отмечается некоторыми авторами [Galmich, 1977, 9]. Законы логических рассуждений не охватывают

всех законов построения обычной речи, и исследователю не остается ничего другого, как отнести последние к таинственной «глубинной» структуре [Anscombre, Ducrot, 1979]. Семиотические построения в области модальной логики [Greimas, 1979] продолжают пребывать в состоянии конструкторов. Стремление связать категории пресуппозиции с семантической имплицитностью языка-объекта встречает, как отмечают сами авторы, «упорное сопротивление языкового материала» [Adam, 1976, 204].

Лингвистика текста, исследуя проявления семантической связи высказываний в повторениях слов и местоименной анафоре, уделяет гораздо меньше внимания функциям союзных операторов, о которых принято упоминать лишь как о «сигналах синтаксического сцепления», носящих в значительной мере факультативный характер.

Это мнение является достаточно широко распространенным, вероятно, в связи с тем, что опущение союзов в ряде случаев не изменяет, на первый взгляд, существа логико-семантической связи между высказываниями; хотя более пристальное сравнение союзной связи и бессоюзия показывает, что это далеко не так. Известны работы, специально посвященные функциям синтаксических союзов и союзных выражений в организации текста, авторы которых наряду с союзами исследуют и семантику частиц, модальных слов и некоторых наречий как показателей внутритекстовой связи [Пфютце, 1978; Дресслер, 1978; Николаева, 1982].

Стремление подвести семантику союзов только под общеизвестные логические отношения не способствует значительным успехам. Есть и другая возможность: учитывая достижения логики, идти от самого языка, постигая его собственную логику. Определенным шагом вперед в этом плане явилась работа Патрика Шародо, который, исследуя механизм межфразовой связи посредством союзов и сопоставляя их с логическими коннекторами, приходит к выводу об их существенном несовпадении [Charodeau, 1978, 279–357].

С категорией связности текста обычно сопоставляется категория цельности, иногда называемая «когерентностью» [Трошина, 1982]. Но, если следовать принципу дихотомии, то очевидно, что связность должна быть противопоставлена прежде всего несвязности, разорванности дискурса, и уже на базе этого противопоставления правомерно говорить о цельности, которая может быть определена только на связанном тексте и, в свою очередь, участвует в оппозиции цельность/дробность. Степень цельности текста зависит от того, насколько содержание каждого из его компонентов зависит от содержания других. Чем меньше глубина этой взаимозависимости, тем выше степень дробности текста. К предельному случаю дробности можно отнести такие тексты, в которых при сохранении связности за счет сцепления смежных высказываний не существует общего семантического стержня, например, цепочечный или мозаичный тексты, по А. А. Смирнову [1948]. Заметим, что членение дискурса имеет определенный психофизиологический

фундамент. Исследования показывают, что дискурс естественно сегментируется на подструктуры, объем которых в единицах восприятия, как правило, не превышает объема оперативной памяти человека. Приблизительно на уровне последовательности из 7–9 элементарных (монопредикатных) высказываний практически всякий дискурс членится на относительно автономные комплексные компоненты в составе более объемного смыслового целого [см. Бурвикова (Зарубина), 1981; Борботько, 1981].

Цельный текст может далее рассматриваться в плане его структурной полноты/неполноты. Говоря о структурности, или структурированности, дискурса, мы тем самым подразумеваем его единство, иерархическую упорядоченность всех содержащихся в нем подструктур. На уровне структуры возможен также учет степени плотности (компактности) и расчлененности целого: один и тот же смысл может быть выражен и минимумом средств — компактно, сжато, и расчлененно, развернуто, что позволяет сравнивать языковые конструкции по степени их содержательной емкости. Из двух синонимичных конструкций, очевидно, более емкой будет та, которая передает приблизительно то же содержание при меньшем объеме в плане выражения. Структурная неполнота не влияет на цельность дискурса: усеченная структура предполагает адекватную реконструкцию своих текстовых лакун [см. Марковина, 1984], варьирующую от неосознанной, автоматической в случае стереотипных структур до требующей известного умственного напряжения и элементов творческого воображения при осмыслении нетривиального, например, художественного текста.

§ 3. Прагматический и когнитивный подходы

Для зарубежной лингвистики 80-х годов характерен перенос центра внимания с формально-синтаксического и генеративно-семантического аспектов на прагматический аспект высказывания и дискурса [см. Арутюнова, Падучева, 1985]. Отметим, что теории с крайней прагматической направленностью, как, например, теория речевых актов в ее классическом варианте [Austin, 1962; Searl, 1979], довольно безразличны к внутренней организации дискурса. Неизбежный прагматический редукционизм при взгляде на язык только как на средство воздействия допускает приравнивание, например, поэтического произведения к тривиальной реплике бытового общения, если они сходным образом «влияют на поведение». Не меняют сути дела и попытки усовершенствования классической теории речевых актов путем добавления к фигурирующим в ней моментам интерлокутивного воздействия дополнительных аксиом. Так, С. Зегер к актам локутивному (произнесение), пропозициональному (приписывание значения), иллюкутивному (коммуникативное намерение) и перлокутивному (прагматический эффект) присоединил также акты коллокутивный, состоящий

в фиксации момента установления контакта, и коннексивный, отражающий моменты взаимодействия говорящих [Säger, 1980, 301].

Важность установления прагматических параметров ситуативно связанного дискурса несомненна, хотя смыслы, определяемые при этом, могут быть полностью ситуативно обусловленными, и их прямое выражение в лингвистической форме самого дискурса не будет строго обязательным; с другой стороны, дискурс может быть лишен явных прагматических форм (таких, как императив, вопрос, восклицание). Но ведь даже объявленное коммуникативное намерение может оказаться не соответствующим действительному намерению говорящего, не говоря уже о «приписывании значения» и т. д. Исследования, проводимые под девизом так называемой прагмалингвистики [см., например: Киселева, 1979] сводятся на практике лишь к констатации в тексте элементов, обладающих «прагматической силой», т. е. побуждений, эмоциональных оценок, контактивов и пр., но не объясняют их действительных системных функций, как и случаев полного отсутствия подобных элементов в дискурсе.

При обращении к собственным смыслам комплексных структур наблюдается другая крайность когнитивистского характера, которая происходит из допущения буквального отражения предметной (денотативной) ситуации в семантике высказывания [см. Новиков, 1983]. Вероятно, наиболее углубленные разработки когнитивно-семантического подхода связаны с теорией фреймов, основоположник которой Марвин Минский определяет фрейм как структуру данных, предназначенную для представления некоторой типовой ситуации. С каждым фреймом ассоциированы несколько видов информации, например, как пользоваться данным фреймом, чего ожидать в следующий момент, что сделать, если эти ожидания не подтвердятся [Минский, 1978, 250]. Фрейм — это своего рода собирательное множество, представляющее собой разбиение той или иной области человеческой деятельности на подобласти и входящие в них объекты, а объектов на элементы с нужной степенью детализации. Могут быть заданы фреймы бытовых ситуаций, математические, физические, ментальные, грамматические, фреймы фреймов, фреймы сценариев и т. д. Ценность фреймового описания является чисто прикладной, это один из способов задания гибкого тезауруса, предназначенного для работы с вычислительной машиной.

В работе Т. Балмера [Ballmer, 1980] предлагается описание контекстных структур путем их расслоения на лингвистические фреймы (морфосинтаксические, семантико-прагматические, метатеоретические); такой концептуальный аппарат позволяет внести определенный порядок в процесс выяснения того, какие моменты реальности отображаются в исследуемом тексте, но не дает ничего принципиально нового в осмыслении механизма этого отображения.

Характерная черта когнитивистов — это явное пренебрежение особенностями отражения мира в языковом сознании человека. В. З. Панфилов

вполне справедливо писал в этой связи, что то направление, «представители которого пытаются прямолинейно свести структуру предложения к структуре ситуации, по поводу которой оно высказывается, в конечном счете базируется на понимании познавательного процесса как зеркального, мертвого отражения, а в его крайних формах — по существу на бихевиористском понимании языка и речевой деятельности по схеме «стимул — реакция», не оставляющей места для мысли и языкового значения как чего-то относительно самостоятельного по отношению к действительности и материальным языковым формам» [Панфилов, 1982, 131].

В отечественных работах периода «лингвистики текста» внимание уделяется не только ситуативно-денотативному аспекту содержания, но и многим моментам, связанным с речевой деятельностью, среди которых интеллектуально-логические, эмоционально-оценочные, индивидуально-личностные, социально-психологические моменты и др. При этом, как правило, подчеркивается коммуникативность текста.

Текст как продукт речевой деятельности образует единый коммуникативно ориентированный блок, внутри которого могут быть выявлены относительно законченные по смыслу части, которые в стилистических работах приравниваются к абзацам. «Являясь составной частью стилистики речи, стилистика текста рассматривает, — по определению В. В. Одинова [1980, 34–35], — сложные (объединяющие несколько абзацев) словесно-стилистические структуры, используемые в процессе коммуникации для выражения определенного содержания».

В психолингвистических работах, которые отличает наиболее выраженный коммуникативный подход, задача состоит в описании не единиц сверхфразового уровня в тексте, а самой текстовой деятельности в общественной практике. «Обслуживая другие виды человеческой деятельности, т. е. способствуя реализации целей как бы “высших” по отношению к ней (выступая в этом смысле как основа для общения сознаний), текстовая деятельность, — пишет Т. М. Дридзе, — все более кристаллизуется в самостоятельный вид деятельности с “внутренними”, реализуемыми в рамках общения целями коммуникативно-познавательного и эмоционального свойства. При таком подходе текст уже не может рассматриваться как единица в одном ряду с такими категориями, как предложение и/или сверхфразовое единство. Текст (сообщение) рассматривается здесь как единица общения, иерархически соотносимая с категориями высказывания и семантико-смыслового (коммуникативного) блока, или предикации» [Дридзе, 1980, 20].

Если последовательно придерживаться понимания текста как сообщения, то, в силу того, что целое сообщение принадлежит всегда одному коммуниканту (отправителю), диалогическое общение автоматически оказывается за рамками исследования; то есть, диалог состоит из текстов (единиц общения, реплик), но сам текстом не является. Такая установка реализована в работе Н. Д. Бурвиковой-Зарубиной [1981, 7], которая считает текстом

только «письменное по форме речевое произведение, принадлежащее одному участнику коммуникации, законченное и правильно оформленное», от-
казывая таким образом в статусе текста речевому произведению, принадле-
жащему двум или более участникам коммуникации, — диалогу.

Вместе с тем диалогическое речевое общение вполне допустимо
представить как дискурс, порождаемый *коллективным* говорящим субъек-
том, и тогда проблема дискурсивного статуса диалога, вызывающая боль-
шие сомнения в лингвистике текста, оказывается разрешимой.

Однако Т. А. ван Дейк, например, не решается приписать диалогу
статус дискурса, сомневаясь в возможности определить типовой глубин-
ный конструкт для любого диалога: «невозможно рассмотрение дискурса-
диалога, то есть последовательности высказываний, порожденной различ-
ными говорящими, хотя можно предположить, что такая последователь-
ность также может иметь текстуальную структуру, подобную структуре
дискурса (-монолога)» [Dijk, 1977, 3].

Ван Дейк стремится создать строгую теоретическую основу для пре-
одоления односторонности как денотатно-референтного, так и коммуни-
кативно-прагматического подходов, предлагая использовать конструкт, на-
зываемый «макроструктурой» дискурса. Макроструктура может быть се-
мантической, обобщающей в себе основную тему текста, представленную
в виде иерархии семантических пропозиций, и прагматической, задающей
прагматическую направленность речи (макроутверждение, макропросьба,
макроосуждение и т. п.), и тем самым объединяющей дискурс как после-
довательность речевых актов в единое целое [Dijk, 1981, 246].

Опыт объединения речевых форм всех уровней в едином концепту-
альном аппарате принадлежит К. Пайку [Pike, 1967]. Сопоставив акты
высказывания с актами социального взаимодействия индивидов, К. Пайк
обобщил вербальное и невербальное поведение человека в категории би-
хевииоремы — единицы поведения, частным случаем которой является
высказывание. Он сконструировал дистрибутивно-таксономическую мо-
дель речевого поведения, в которой каждая единица заполняет определен-
ную ячейку в контексте единицы вышележащего уровня. Эта модель ие-
рархически включает в себя единицы, начиная с фоном и кончая ком-
плексными речевыми структурами, превышающими предложение, в том
числе вопросно-ответные единства, монолог и «разговор» [Pike, 1967,
517]. Достоинством этой метаязыковой модели является ее всеохватность,
хотя в ней наиболее подробной оказывается таксономия единиц морфо-
синтаксического уровня при слабой содержательной спецификации ком-
понентов уровня речевого взаимодействия. Теория К. Пайка, представ-
ляющая собой попытку строгой систематической формализации речевого
поведения с позиций американского дескриптивизма, обнаружила недо-
статочную глубину наших знаний о принципах речевой деятельности и
о языке как орудии создания дискурса.

Как денотативно-референтное описание, так и прагматическая модель
речевого акта не дают адекватного представления о собственной структуре
речевого действия, дискурса, освещаая факты внешние по отношению к язы-
ку — предметную действительность и социальное взаимодействие. И в том,
и в другом случае собственная форма высказывания оказывается несущест-
венной в силу абсолютизации исходного тезиса о произвольности языкового
знака. Отсюда повышенное внимание к функции единицы — денотативно-
семантической или регулятивно-прагматической — при забвении той фор-
мы, которая является носителем данной функции.

«Подлинное преодоление традиционных представлений о языке и
таящейся в них имплицитной семиотики становится возможным, — как
считает Я. Келемен [1977, 106], — в свете признания того факта, что язык
может быть понят в категориях поведения и действия, то есть не как ви-
тающая вне действительности, призрачная сфера передачи информации, а
как реальный элемент воздействия самой действительности. Язык — не
только средство приобретения и передачи знаний, но и опредмечивание
знаний, происходящее в его своеобразной структуре, а сверх того — и оп-
ределенная жизненная форма. Кто умеет пользоваться языком, тот поль-
зуется определенной стратегией ориентации в мире, определенной интер-
претацией человеческой среды, определенной схемой поведения».

Можно предположить, что, владея языком, человек владеет одновре-
менно и особым — дискурсивным — способом формирования своих
взаимоотношений с действительностью. Те принципы, которые обеспечи-
вают такую способность, и должны стать объектом самого пристального
внимания лингвистов, хотя они и скрыты от непосредственного наблюде-
ния. Вероятнее всего, что область их наиболее отчетливого проявления —
это синтаксис дискурса, связывающий языковую семантику (отражение
действительности) с языковой прагматикой (регуляцией отношений чело-
века со средой).

§ 4. О соотношении планов выражения и содержания

Методологическое разграничение планов выражения и содержания в
языке основано на допущении обособленного изучения этих планов, по-
скольку одно и то же выражение может обладать различным содержанием,
а приблизительно одно и то же содержание может быть представлено раз-
ными выразительными средствами. Получается, что категории выражения
и содержания оказываются противопоставленными и едва ли не незави-
симыми друг от друга, что дает основание подразделять и категории тек-
ста на структурные и содержательные [Тураева, 1982, 3]. Однако задача
лингвиста, в конечном счете, состоит все-таки не в последовательном раз-
делении планов выражения и содержания, а в их синтезе.

Разрыв этих двух планов приводит к двум крайностям. С одной стороны, при игнорировании плана выражения, имеет место уход от самого языка-объекта в область моделирования внеязыковой реальности при посредстве семантических языков с их придуманной формой; с другой стороны, при абстрагировании от плана содержания, неизбежно обедняется описание языка, что обуславливается, в частности, игнорированием смысловой ориентированности и неравноценности языковых единиц по отношению к той деятельности, в контексте которой они употребляются; в итоге получается описание по большей части того, что уже хорошо известно.

Одним из оснований для синтетического изучения планов выражения и содержания может служить категория *значимости языковой единицы*. Понятие значимости было введено в описание языковых явлений в XVIII в. французским языковедом Габриелем Жираном, который в своем труде «Истинные принципы французского языка или речь, приведенная к законам употребления» (1747) определял значимость (*valeur*) как зависящий от социального установления эффект воздействия слова, вызывающего в уме определенную идею. Согласно Г. Жирану, в языке не существует абсолютных синонимов, каждое слово в нем обладает собственной значимостью, которая может приобретать модификации при употреблении данного слова, в силу ограниченности языковых средств по сравнению с множеством выражаемых идей [см. Swiggers, 1981].

Ф. де Соссюр придавал категории значимости (ценности) исключительную важность для научного осмысления природы языковых единиц: «связь между двумя употреблениями одного и того же слова основана не на материальном тождестве, не на точном подобии смысла, а на каких-то иных элементах, которые нам надо найти и которые помогут нам вплотную подойти к истинной природе языковых единиц» [Соссюр, 1977, 141]. В шахматной игре фигура может быть заменена любым другим предметом, «если только ему будет придана та же значимость. Мы видим, таким образом, что в семиологических системах, как, например, в языке, где все элементы связаны друг с другом, образуя равновесие согласно определенным правилам, понятие тождества сливается с понятием значимости и наоборот. Вот почему понятие значимости в конечном счете покрывает и понятие единицы, и понятие конкретной языковой сущности, и понятие языковой реальности» [Соссюр, 1977, 143].

Значимость языковой формы, или область ее приложимости, определяется теми ограничениями, которые созданы существованием других форм в системе, каждая из которых обладает собственной значимостью и этим самым противопоставлена любой другой. Отсюда и общая дифференциальная характеристика значимостей: «быть тем, чем не являются другие» [Соссюр, 1977, 149].

Правоммерно исследовать значимость не только морфем или слов, но и всякой языковой формы, функционирующей в системе, в том числе и тех

форм упорядоченности, которые лежат в основе комплексных (дискурсивных) структур. Возможно, что как предложению, так и сверхфразовому единству соответствует определенная структурная значимость. Согласно Г. А. Смирнову [1983, 111], в иерархической структуре текста «значимость выступает как способ организации текста, его матрица». Эта абстрактная структурная матрица заполняется в ходе своего дискурсивного развертывания конкретными словами и высказываниями.

Языковая значимость социально обусловлена: «для установления значимостей необходим коллектив» [Соссюр, 1977, 146]. По мнению многих лингвистов, та основа, которая объединяет всех носителей языка и обуславливает их взаимопонимание лежит в области межсубъектных отношений; причем, как пишет О. Дюкро, «межсубъектные отношения не сводятся к коммуникации в узком смысле, то есть, к обмену знаниями: в них воплощается огромное разнообразие отношений между людьми» [Ducrot, 1968, 4]. Язык с этой точки зрения являет собой прежде всего вместилище социальных отношений, и объективная действительность отражается в нем через призму социального человека. Но сама «субстанция языка — социальная действительность — лишь отраженно и в значительной степени искаженно представлена в сознании носителя языка, и поэтому, — как считает А. А. Леонтьев [1976, 306], — задача языковеда — сделать то, чего не может сделать “рядовой” носитель языка — проникнуть за эту видимость, вскрыть то, что лежит в основе субъективного представления о языке — его субстанциональные характеристики».

Важно не упускать из виду двойственный характер «носителя языка», который существует как в лице отдельного, индивидуального субъекта, так и в лице всего социума — социального субъекта. «Носителем целостной, замкнутой структуры коммуникативного акта является групповой субъект, а субъект индивидуальный является носителем лишь части коммуникативного акта» [Веккер, 1981, 288].

Роли индивидуального и коллективного субъектов по отношению к языку имеют определенное различие: социум играет скорее *консервативную* роль, он устанавливает языковые значимости и следит за соблюдением правил их использования. *Творческий* же момент исходит от индивида, от особенностей его языкового употребления. Этот, казалось бы, общеизвестный и мало примечательный сам по себе факт имеет достаточно влиятельные последствия для динамического аспекта языка. Уже у Соссюра всячески подчеркивались социальность языка и индивидуальность речи. Множество языковых форм и значений порождаются говорящими индивидами. Социум производит их санкционирование как в плане отбора (одни формы отвергаются, другие закрепляются), так и в плане детерминации сферы их приложения — в установлении значимостей. Так из *особенных* языковых единиц творятся обобществленные шаблоны, носители значимостей. Социум обеспечивает их преемственность от поколения к поколению,

что создает относительную устойчивость языка в пространственно-временном плане — основу взаимопонимания между личностями, разделенными как пространством, так и временем. Но инновационный процесс сотворения особенностей, «на острие» которого находится индивидуальный носитель языка, не прекращается.

Вполне логично выдвинуть предположение, что языковая форма обладает двойственным статусом: с одной стороны, ей присуще общественное и общее свойство значимости, с другой стороны, она обладает индивидуальным и уникальным свойством *особенности*, или *сингулярности*.

Можно было бы, конечно, не заострять внимания на свойстве сингулярности языковых единиц, определяя уникальность их употребления только как «контекстуально связанные значения окказионализмов» в противоположность общепризнанным значениям, входящим в совокупную значимость выражения. Но есть основания подозревать, что сам принцип формирования особенностей заложен в языковой системе и действует помимо всяких общественных установлений и социального отбора.

Если принять для комплексных дискурсивных структур наличие матриц-значимостей, или санкционированных матриц, то возможно принять также и наличие матриц-особенностей, или сингулярных матриц, сохраняющих в себе уникальные структурные характеристики и порождающих действительно нетривиальные смыслы, а не обычные «сообщения о положении дел», как стандартные матрицы. Такой подход может в определенной мере конкретизировать то, что Р. Якобсон [1975, 202] называл поэтической функцией языка, направленной, в отличие от других функций, на форму высказывания.

В отечественной поэтике имеется определенный опыт выявления матричных структур текста. Еще в конце прошлого века в описании фольклорных сюжетов А. Н. Веселовский пользовался понятием мотива — простейшей неразложимой смысловой единицы повествования. Сюжет — это всегда комплекс взаимосвязанных мотивов. Мотиву присущ однообразный схематизм. Мотив, по Веселовскому, «может быть выражен формулой $a + b$: злая старуха не любит красавицу — и задает ей опасную для жизни задачу» [Веселовский, 1989, 301].

В. Я. Проппом [1969] создана методика структурного описания сказки по функциям действующих лиц. Выяснилось, что все многообразие сказок может быть описано на основе ограниченного количества типовых (матричных) сюжетов [см. также: Мелетинский, 1973]. Идеи Проппа привлекли внимание французских структуралистов и нашли свое развитие в их работах [Леви-Стросс, 1983; Бремон, 1983].

Ц. Тодоров на примерах повествовательного текста усматривает в регулярностях матричного порядка их динамический характер: «Идеальный рассказ начинается с некоторого устойчивого положения, которое затем нарушается действием какой-то силы. Возникает состояние неравновесия;

благодаря действию некоторой противоположной силы равновесие восстанавливается; новое равновесие подобно исходному, но они никогда не тождественны. Таким образом, в состав рассказа входят эпизоды двух типов: описывающие состояние (равновесия или неравновесия) и описывающие переход от одного состояния к другому. Первый тип характеризуется относительной статичностью и, так сказать, итеративностью: однотипные действия могут повторяться бесконечно. Второй, напротив, динамичен и, в принципе, однократен» [Ц. Тодоров, 1978, 453–454]. Эти два типа эпизодов автор связывает с двумя типами предикатов — предикатами состояния и предикатами перехода от одного состояния к другому.

§ 5. Синтаксическая организация дискурса и моделирование смысла

Ко второй половине XX в. многие лингвисты пришли к мнению о неразрывной связи явлений синтаксиса и семантики: семантика синтаксична, а синтаксис семантичен. Поэтому и описание структуры текста проводится главным образом в семантико-синтаксических категориях, что само по себе отражает положительную тенденцию по сравнению с совершенно изолированным изучением семантического и формально-синтаксического планов. Известно высказывание Э. Бенвениста о том, что все попытки дескриптивной лингвистики избавиться от значения не увенчались успехом. Но и другая крайность — уход от формы, подмена ее чисто семантическим описанием столь же искусственна и непродуктивна.

И. Р. Гальперин, говоря о различных видах текстовой информации, обращает внимание на то, какую значительную роль в любой коммуникации играет форма. Он различает, с одной стороны, нейтральную форму информативных текстов, predeterminedенную системой языка, а с другой стороны — стилистически маркированную, «супралинейную» форму художественных текстов. «Это свойство формы, — пишет И. Р. Гальперин [1981, 30], — по-особому проявляемое в ее разновидностях, можно признать органическим, онтологическим». Именно форма организации дискурса, а не что другое, позволяет распознать не только фактуальную и концептуальную информацию, но также и подтекстовую. Последняя, по И. Р. Гальперину [1981, 28], представляет собой скрытую информацию, извлекаемую из текста благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и коннотативные значения, а также благодаря способности предложений как единиц текста приращивать смыслы.

В наблюдениях И. Р. Гальперина очень точно схвачена способность единиц — слов и предложений — порождать смыслы, находясь в составе дискурса. При этом именно форма единиц, вступающих в синтаксическое взаимодействие, позволяет нам установить и характер этого взаимодействия, и те смыслы, которыми оно результируется. Можно утверждать без особой

погрешности, что именно синтаксическая форма является генератором семантики. Это справедливо и по отношению к синтаксису предложения, и по отношению к сверхфразовому синтаксису, где смыслопорождение опирается уже не на структуру предложения, а на композицию дискурса.

Вполне нормально то, что при смысловом восприятии дискурса реципиент стремится распознать в нем, в первую очередь, некоторую типовую композицию. Таковы, например, двухчастная (открытая) структура абзаца, состоящая из вводной экспозиции и комментирующей части, и трехчастная (закрытая) структура, состоящая из экспозиции (зачина и «ключевой фразы»), комментирующей части и заключения [Москальская, 1983, 85]. В дискурсе начальное высказывание перспективно связано с последующими, а всякое последующее высказывание ретроспективно опирается на предыдущие. При этом роль синтаксиса вовсе не сводится только к согласованию высказываний между собой — к созданию семантической связности за счет разного рода повторов (местоименных, синонимических, структурных, модально-временных и т. д.). Повторы по сути являются моментами текстовой избыточности и, вообще говоря, не являются строго обязательными для образования связного текста. Главная особенность дискурсивного синтаксиса — это способность порождать нетривиальную семантику, уникальные смыслы, которые либо получают разовую фиксацию в дискурсивной форме, либо остаются в распоряжении говорящих на более длительный срок, если эта форма импортируется в систему и закрепляется ней как носитель значимости.

Значимость языковой единицы любого уровня неотделима от ее формы. Изменение формы всегда чревато изменением значимости. Изменение значимости единицы неотвратимо влечет изменение ее формы. При этом форму следует понимать широко — и как собственную форму единицы, и как форму ее сочетаемости с другими единицами, т. е. несобственную, «внешнюю» форму. А это уже выход на контекст, на дискурсивные характеристики языковых единиц.

Именно находясь в составе синтаксической композиции дискурса, слова испытывают семантическую дивергенцию, которая затем получает отражение и в их собственном морфо-лексическом плане, закрепляясь в узусе и, в конечном итоге, — в языковой системе, что отмечалось еще Германом Паулем [1960, 305] на примерах из немецкого языка: *Knabe* 'мальчик' и *Knarre* 'оруженосец', *Reiter* 'всадник' и *Ritter* 'рыцарь'; *das Band* 'лента, связка', *der Band* 'книжный том'; *der See* 'озеро' и *die See* 'море', и т. п. Ср. лексические дивергенции во французском языке: *la mémoire* 'память' и *le mémoire* 'научное сочинение', *panser* 'связывать' и *penser* 'думать', а также аналогичные явления в русском: *языковой* и *языковой*, *объять* и *обнять*, *обязывать* и *обязывать*, *слушать* и *слышать* и т. п. Можно утверждать, что причина их появления одна и та же — расхождение в дискурсивном употреблении, с которым корреспондирует закрепление за единицей разных позиций в синтактико-семантической организации дискурса.

Так называемые полисемичные слова находятся на пути к формальной дивергенции, а пока их семантическое своеобразие, порожденное дискурсом, поддерживается исключительно за счет «внешней» формы — их синтаксической позиции, то есть того же дискурсивного контекста.

В дискурсе смысловому расщеплению могут подвергаться и высказывания, например, фр. *Les enfants vont à l'école*, в зависимости от контекста может означать 'дети ходят в школу' и 'дети идут в школу'. Дискурсивный контекст обуславливает и модификацию формы высказывания; именно контекст требует, в частности, согласования глагольного предиката с временным планом дискурса, например: *Les enfants allaient à l'école*; *Les enfants iront à l'école*, и т. д.

Семантическая дивергенция возникает в силу того, что одна и та же единица попадает в разные дистрибутивные классы, образующие алловарианты этой единицы.

Создатель дистрибутивного анализа дискурса Зеллиг Хэррис особое внимание уделял, как это видно из его работ, поиску классов дискурсивных эквивалентностей, то есть не семантической дивергенции, а семантической конвергенции единиц, которая наблюдается при так называемой контрастной дистрибуции, когда разные единицы попадают в одно и то же контекстное окружение. По Хэррису, морфемы или слова, соседствующие с эквивалентными употреблениями какого-нибудь другого слова (в том числе и повторяющегося в его местоименных и синонимичных вариантах), относятся к одному и тому же классу эквивалентностей. Повторяющееся слово представляет собой всегда один и тот же член одного класса, а соседствующие с ним нетождественные друг другу слова образуют другой класс эквивалентностей. Сегментация текста производится так, чтобы каждый сегмент был сравним с другим сегментом этого текста хотя бы по одному классу эквивалентностей:

- (1) *Ici les feuilles tombent vers le milieu de l'automne.*
- (2) *Ici les feuilles tombent vers la fin du mois d'octobre.*
- (3) *Les premiers froids arrivent après le milieu de l'automne.*
- (4) *Nous commençons à chauffer après la fin du mois d'octobre.*

Для этого текста у Хэрриса получаются следующие классы эквивалентностей:

- T₁ — *Ici les feuilles tombent*
- E₁ — *le milieu de l'automne*
- E₂ — *la fin du mois d'octobre*
- T₂ — *les premiers froids arrivent après*
- T₃ — *nous commençons à chauffer après.*

Здесь T₁, T₂ и T₃ — члены класса эквивалентностей T, а E₁ и E₂ — члены класса эквивалентностей E, которые становятся эквивариантами

благодаря своему употреблению в одном и том же контексте T_1 . В свою очередь, T_2 и T_3 попадают в общий класс эквивалентностей благодаря соседству с эквивалентностями класса E [Harris, 1969].

В более поздних работах З. Хэррис подвергал рассмотрению характер действия дискурсивных операторов, в особенности глагольных и образующих синтаксическое подчинение, а также различные процессы свертывания синтаксических структур с участием разнообразных лексических замен [Harris, 1976].

Как семантическая конвергенция, ведущая к образованию контекстных синонимов, так и семантическая дивергенция, связанная с дополнительной дистрибуцией единиц, являются, в конечном счете, эффектами действия синтаксической матрицы дискурса, организация которой подлежит самому пристальному исследованию. Следует уточнить то, какие элементы являются существенными для создания матрицы дискурса, обладающей той или иной языковой значимостью, и определяют типовой или же особенный характер дискурсивных моделей.

Предполагается, что исследование синтаксической организации дискурса может пролить свет на вопросы семантической модуляции компонентов дискурса, а также на процессы моделирования смысла посредством дискурсивных структур.

§ 6. Дискурс как высшая единица языка

В речевой деятельности дискурс выглядит как единица, принадлежащая к высшему уровню языка, состоящая из связанных по смыслу предложений. Все синтактико-семантические процессы, характерные для уровней слова и предложения, обусловлены структурой целого дискурса как относительно самостоятельной языковой единицы высшего порядка. Дискурс, однако, отличается от низших единиц языка тем, что он, как правило, не воспроизводится подобно фонемам и морфемам, но создается в речи. Однако то же можно сказать и о единицах уровня предложения, и о словах, производимых в речи.

Вместе с тем, эмпирически очевидны и факты самостоятельности дискурса как языковой единицы: языковое сознание оперирует достаточно обширным набором целых дискурсов, в том числе произведений фольклора, которые обладают свойством регулярной воспроизводимости в речи (полной или частичной) — свойством, общим для всех языковых единиц. При этом можно полагать, что дискурс способен иметь, как и прочие единицы языковой системы, собственные варианты и алловарианты, а, следовательно, и обладать определенной структурной и системной значимостью, хотя собственный смысл дискурса может отличаться от последней.

Дискурс имеет и свою этноязыковую специфику, подобно специфике других единиц (фонем и морфем, слов и предложений). Этот факт в значительной мере осознан в работах по теории перевода, где истинной единицей перевода оказывается целый текст, а не слово и даже не предложение. Дискурс должен переводиться как единое целое. Лишь в тривиальных случаях дискурс допускает пословный и пофразовый перевод, что является исключением из общей закономерности. В построении дискурса регулярно участвуют этноспецифические элементы, всегда осложняющие процедуру перевода, не имеющие эквивалентов или аналогов в языке перевода, в том числе в грамматическом, лексическом и стилистическом плане. Кроме того, дискурсы разных языков, как правило, различаются в плане своей несобственной, «внешней» формы — не могут быть переведены без учета их лингвокультурного контекста.

Итак, среди свойств, позволяющих говорить о дискурсе как о специфической единице языка высшего уровня, можно указать следующие.

1. Дискурс по своей структуре отличается от всех других единиц данного языка, из которых он строится.
2. Дискурс обладает способностью функционировать как целое, регулярной воспроизводимостью (полной или частичной) в данном языке.
3. Дискурс одного языка переводится на другой язык как целая единица. При этом возможны не только лакуны лексического порядка, но и стилистические лакуны, то есть отсутствие соответствующего стиля в языке перевода, что требует прибегнуть к стилистической транспозиции.
4. Дискурс обладает языковой и этноязыковой спецификой в поэтическом аспекте, которая заключается не только в ритмике и метрике стихотворных произведений и их рифмованной организации. Сюда относятся лингвостилистические и лингвокультурные моменты, проявляющиеся на уровне дискурса, а также специфические жанровые характеристики и разная употребительность дискурсивных моделей в разных лингвистических культурах.
5. Дискурс обладает структурной спецификой в данном языке как модель некоторой ситуации и, следовательно, в системе ему может соответствовать некая языковая «стемма» с комплексной структурой, обладающая матричной системной значимостью.

Все указанные моменты требуют развернутого описания. Особый интерес в представлении структуры дискурса, конечно же, представляют параметры его внутренней (собственной) формы — то, из каких носителей смысла он непосредственно строится, и как целый дискурс влияет на свои компоненты в семантическом отношении, создавая специфические смысловые модуляции, которые закрепляются затем в виде значений его лексических и фразовых элементов.

Выводы по главе I:

1. Следует отличать понятие дискурса как процесса речемыслительной деятельности от понятия текста как ее результата, зафиксированного в письменной форме. Текст традиционно служит языковым материалом для лингвиста. Он может быть построен и по законам не языка, а некоторой другой деятельности человека.
2. Моменты дискретности и непрерывности в построении дискурса конкретизируются в понятиях структурной цельности, полноты, связности и др. Существующие описания дискурса в терминах лексико-синтаксической и логической связности не дают полного представления о принципах формирования дискурсивных структур.
3. Традиционные описания дискурса в семиотике, как чисто прагматическое, приравнивающее смысл высказывания к его ситуативному употреблению, так и чисто семантическое, подменяющее языковые явления моделью внеязыковой реальности, можно охарактеризовать как неполные, отрывающие смысловую сторону дискурса от языковой формы.
4. Задача лингвиста состоит не в последовательном разграничении планов выражения и содержания, а в их синтезе, в интегральном описании с опорой на форму дискурса, которая является носителем смысла. Можно полагать, что различные дискурсивные структуры обладают собственной матричной значимостью.
5. Синтаксическая форма дискурса обладает смыслопорождающей способностью. Явления смысловой дивергенции и конвергенции языковых единиц — слов и высказываний — оказываются эффектами действия синтаксической (контекстной) матрицы дискурса. Описание этих явлений впервые было намечено в дистрибутивном анализе дискурса, разработанном З. Хэррисом.
6. Дискурс как высшая по уровню единица языка, являясь языковой моделью некоторой ситуации, обладает структурной спецификой, а также, подобно всем другим языковым единицам, и этноязыковой спецификой. В системе дискурсу может соответствовать некая языковая «стемма», обладающая матричной значимостью.

ГЛАВА II

Дискурс и контекст речевой деятельности

§ 1. Дискурс полисубъектный и моносубъектный

Речевая деятельность может осуществляться либо в форме монолога, если говорящий один, либо в форме диалога — при наличии двух (или более) говорящих между собой индивидов. Л. В. Щерба считал, что «монолог является в значительной степени искусственной языковой формой» и что «подлинное свое бытие язык обнаруживает в диалоге»; он полагал, что диалог первичен по отношению к монологу: «все изменения языка, которые потом проявляются и в монологической речи, куются и накапливаются в кузнице разговорной речи» [Щерба, 1957, 116].

Во многих работах с диалогом связывается прежде всего «представление о коммуникации, взаимодействии, контакте» [Валюсинская, 1979, 313]. В частности, М. Н. Кожина [1981, 207], исходя из посылки о коммуникативной природе языка, считает, что «коммуникативность обнаруживает себя во всех формах речи, поэтому в сущности всякая речь диалогична».

Факты говорят нам, однако, что не всякое общение является диалогом (например, монологическое сообщение) и что не всякая диалогичность является коммуникативной (взять хотя бы диалог говорящего с самим собой).

Диалог по Л. П. Якубинскому [1923, 117] — это перемежающаяся форма взаимодействия индивидов, а монолог — длительная форма взаимодействия при общении, т. е. в обоих случаях мы имеем коммуникативную деятельность, где диалог двунаправлен, а монолог однонаправлен. Однако и монолог может быть диалогически расщепленным: «это свойство однонаправленной речи, — писал А. А. Холодович [1979, 273], — даже можно назвать ее катехезисностью».

Развивая свою концепцию внутренней диалогичности текстов художественной литературы, М. М. Бахтин выделял в деятельности общения момент речевого взаимодействия индивидов как основополагающий, противопоставляя его однонаправленному и, следовательно, одностороннему сообщению о ситуации, изучаемому традиционной лингвистикой: «Язык живет только в диалогическом общении пользующихся им. Диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка... Лингвистика изучает сам «язык» с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих

же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается» [Бахтин, 1979, 211–212].

По-видимому, внутренняя диалогичность монологической литературной речи, открытая М. М. Бахтиным, представляет собой явление более сложное, чем обычное диалогизирование, обмен репликами в диалоге. Необходимо вдуматься в те соображения, которые излагал сам автор концепции.

«Диалогические отношения не сводимы и к отношениям логическим и предметно-смысловым, которые сами по себе лишены диалогического момента. Они должны облечься в слово, стать высказываниями, стать выраженными в слове *позициями* разных субъектов [здесь и далее выделено нами. — В. Б.], чтобы между ними могли возникнуть диалогические отношения; ... диалогические отношения могут проникать внутрь высказывания, даже внутрь отдельного слова, если в нем диалогически сталкиваются два голоса ... С другой стороны, диалогические отношения возможны и между языковыми стилями, социальными диалектами и т. п., если только они воспринимаются как некие смысловые позиции, как своего рода языковые *мировоззрения* ... Наконец, диалогические отношения возможны и к своему собственному высказыванию в целом, к отдельным его частям и к отдельному слову в нем, если мы как-то *отделяем* себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы *ограничиваем* или *раздваиваем* свое авторство» [Бахтин, 1979, 212–214].

Диалогичность состоит не только в сталкивании отраженных в тексте позиций разных субъектов, как и в саморасщеплении и самоотстранении авторского субъекта, но и в преломленном использовании языковых средств других авторов: «Далеко не при всякой исторической ситуации последняя смысловая инстанция творящего может выразить себя непосредственно в прямом, непреломленном, безусловном авторском слове. Когда нет своего собственного “последнего” слова, всякий творческий замысел, всякая мысль, чувство, переживание должны *преломляться* сквозь среду чужого слова, чужого стиля, чужой манеры, с которыми нельзя непосредственно слиться без оговорки, без дистанции, без преломления» [Бахтин, 1979, 235].

Неверным было бы утверждение, что М. М. Бахтин, исследуя структуру литературного текста, не отдавал себе отчета в том, что имеет дело именно с монологом, хотя и получившим высокую степень развития и усложнения: «В научной статье, где приводятся чужие высказывания по данному вопросу различных авторов, ... перед нами случай диалогического взаимодействия между непосредственно значимыми словами в пределах *одного* контекста. Отношения согласия — несогласия, утверждения — дополнения, вопроса — ответа и т. п. — чисто диалогические отношения ... между целыми высказываниями. В драматическом диалоге или в драматизированном диалоге, введенном в авторский контекст, эти отношения связывают изо-

браженные объектные высказывания и потому сами объектны. Это не столкновение двух последних смысловых инстанций, а *объектное (сюжетное) столкновение двух изображенных позиций, всецело подчиненное высшей, последней инстанции автора. Монологический контекст при этом не размывается и не ослабляется*» [Бахтин, 1979, 218–219].

Во время подготовки к последнему изданию своей книги о поэтике Ф. М. Достоевского М. М. Бахтин приходит к мысли о непрерывности, преемственности дискурсивного процесса: «Текст живет, только соприкасаясь с другими текстами (контекстом); ... этот контекст есть диалогический контакт между текстами (высказываниями), а не механический контакт “оппозиций”, возможный только в пределах одного текста ... и необходимый только на первом этапе понимания (понимания значения, а не смысла). За этим контактом *контакт личностей* [курсив автора], а не вещей (в пределе)» [Бахтин, 1979, 364].

Можно сделать вывод, что диалогичность у Бахтина — это не прямолинейно понимаемая «коммуникативность» и не безусловный внутренний атрибут всякого текста, но прежде всего *метод* проникновения в тайны смыслового построения дискурса и глубже — в тайны механизма рефлексии.

Этот метод позволяет диалогически осмыслить и внутреннюю организацию монологического литературного дискурса не как простое одностороннее говорение его «последней инстанции». Этой последней инстанцией — авторскому субъекту — могут быть подчинены другие инстанции, в том числе и различные «ипостаси», или «лики» самого автора [см. также: Одинцов, 1982, 85], которые занимают в дискурсе, как и взаимоотношения между ними, объектные позиции по отношению к авторскому субъекту.

Таким образом, идея М. М. Бахтина отнюдь не заключается в утверждении фиктивности монолога в пользу вседиалогичности и коммуникативности языка, как об этом справедливо пишет А. П. Чудаков [1981, 18], подчеркивая общеполитический характер бахтинского противопоставления «монологического» и «диалогического», его методологическую значимость.

В противоположность монологу, который может «сталкивать» между собою высказывания, диалог есть *обмен высказываниями*, как устными, так и письменными (текстами). Монолог же только может отражать этот обмен, но сам не является таким обменом, хотя он может представлять одностороннюю «передачу» диалога или «диалог с самим собой» в виде «акции» и «реакции» в терминах Л. П. Якубинского, заметившего, что «диалог, являясь несомненным явлением “культуры”, в то же время в большей мере явление “природы”, чем монолог» [Якубинский, 1923, 139].

Вывод о вторичности и большей сложности монолога был сделан Л. С. Выготским [1934, 295, 299]: в историческом смысле монолог — это интериоризованный (переведенный во внутренний план) и свернутый диалог, который затем в процессе объективации (экстериоризации) из диалога «для себя» превращается в монолог «для других», в «дискурсивное говорение».

ситуация (обстановка) для диалога очень важна! Наш курс — междисциплинарный.

Сходную позицию по этому вопросу занимал и А. Р. Лурия [1963, 29]: «функция, которая сначала была разделена между двумя людьми и носила характер общения между ними, постепенно свертывается и становится способом организации психической жизни самого человека». К такому же заключению приходит и психолог Л. М. Веккер: «Исходным носителем целостной структуры речевого акта в отличие от всех других психических процессов не является индивидуальный субъект. Последний становится носителем речи как одного из психических процессов только вторично, когда межиндивидуальная, интерпсихическая функция ... становится внутрииндивидуальной или интрапсихической; ... по своей исходной структуре и исходным закономерностям организации речевого акт есть акт коммуникации и только в частном случае и на высших уровнях его проникновения в интраиндивидуальную психику он становится, так сказать, актом автокоммуникации субъекта с самим собой. Монологическая речь производна от речи диалогической или, точнее, полилогической» [Веккер, 1981, 287].

Но, как отмечал другой психолог — К. К. Платонов [1972, 47], «высшее всегда включает низшее, хотя и не сводится к нему». Поэтому мнение о производности монолога от диалога не представляется абсолютно убедительным. О какой именно *производности* идет речь? Очевидно, что стол произведен не от дерева (материала), а от своей предшествующей, вероятно более примитивной, но функционально определенной формы. Чем же является диалог по отношению к монологу, организующим *принципом* последнего или же его материалом?

По поводу диалога В. В. Виноградов писал [1963, 19]: «В диалоге остро выступает быстрая смена интонаций, пестрое чередование разных форм мелодического движения речи, широко развернутая цепь средств мимической и жестикуляционно-пластической сигнализации, непосредственный перевод в звучание социально-привычных речевых формул. Словом, тут ярче всего проявляется синкретическая природа речи и притом в тесной функциональной связи с формами бытового «контекста», с обстановкой».

Указывая на ситуативную обусловленность диалога и на присущую ему синкретичность выражений, В. В. Виноградов обращал внимание и на то, что не только диалог является «кузницей» языковых изменений, что именно диалог тяготеет к выходу за пределы социально-нивелированных форм семантики и синтагматики; монологическая речь, по выражению В. В. Виноградова [1963, 19], это ворота, «через которые входят в язык вызванные потребностью экспрессивного воздействия новые слова — слова иных языков, диалектов и жаргонов, новые выражения и речевые построения», диалог «выковывает фразеологию, определяет стилистические функции разных синтаксических схем ... Свободное владение формами монологической речи — искусство, хотя, как и всякое искусство, у отдельных субъектов оно может обращаться в трафарет. Конечно, и из диалога должно делать искусство, но для этого нужна особая направлен-

Виноградов — диалог — искусство

диалогич. сд. рече. ... первая речевая ...

ность речи и подобранность собеседников. Для монолога же необходима лишь творческая сила индивидуального своеобразия и соответствующая традиция общественно бытовых форм речи».

Итак, диалог, с одной стороны, более древняя, чем монолог, форма речевой деятельности, но с другой стороны — более непосредственно связанная с ситуацией общения, в силу чего диалог возможен и при значительно редуцированном собственно языковом компоненте, когда, например, вступают в действие паралингвистические средства коммуникации. Ситуативно-связанная диалогическая форма характеризуется стереотипностью; вообще расчлененность диалогической речи — это в большей мере ее распределенность между партнерами по общению, чем расчлененность самих реплик-высказываний. Поэтому было бы заблуждением считать, что монолог — это лишь некая имитация «истинного» речепорождающего процесса в диалоге. Монолог как моносубъектный дискурс не только вообрал в себя свойства диалога, но и обогатил, в свою очередь, возможности диалогического общения, снимая изначально присущую ему ситуативную связанность и синкретичность выражений. Какие же моменты диалога могли послужить организующим принципом для монолога?

§ 2. Структурные компоненты диалогического дискурса

В диалогическом дискурсе базовой единицей является диалогическое единство [см. Валюсинская, 1979], или диалогическая синтагма, которая обычно описывается в терминах двух реплик: иницирующей и ответной, или реплики-стимула и реплики-реакции. Такое определение основано на чисто психологическом, поведенческом критерии и не подходит для структурного описания диалога. Термин «реакция» принадлежит к области химических и биологических процессов и не отражает момента взаимной подстройки коммуникантов во время речевого взаимодействия, поэтому некоторые исследователи [Акофф, Эмери, 1974] предпочитают работать с другой парой терминов: «стимул — отклик». Что касается слова «реплика», то оно по своей семантике восходит к латинскому глаголу *replicare*, который выражает действие, повторяющее форму некоторого объекта, отражение формы одного объекта в форме другого. Отсюда такое значение слова *replique* во французском языке, как «копия» — отраженное воспроизведение. Копия статуи, например, называется по-французски именно репликой — *replique*, в силу обратного соответствия между статуей и литейной формой.

Симметрия как соразмерность двух сущностей проявляет себя со всей очевидностью в двух наиболее общих случаях: а) при полном их равенстве, совпадении; б) при их идеальном схождении, стыковке друг с другом.

Здесь как нельзя лучше подошло бы русское слово «сходство», но, к сожалению, эта категория, стихийно подмеченная носителями русского

языка, претерпела десемантизацию, и о сходстве стали говорить лишь как о единообразии, подобии (*similitudo*), аналогичности. Сходство в смысле, указанном выше, предполагает не соразмерность совершенно одинаковых объектов, но симметрию их взаимного схождения как идеально *дополняющих* друг друга. Такого рода симметрия совпадения, или **симптосимметрия**, — это, в пространственном отношении, хорошо известная смежность, единство границы. Размывание категории симметрии по дополнительности ведет, в частности, к потере понимания границы как принадлежащей одновременно двум сущностям, которые она одновременно разделяет и объединяет в единое целое. Именно такое сходство — симптосимметрию типа литейной формы и принявшей эту форму бронзовой фигуры, сходство «преформы» и реплики к ней в некотором пластичном материале — можно считать исходным при определении соразмерности объектов, дополняющих друг друга.

Таким образом, реплика в геометрическом смысле слова — это объект, находящийся в отношении дополнительной симметрии (симптосимметрии) с другим объектом, являющимся для него преформой.

В структурном отношении диалогическое единство содержит два компонента, первый из которых — высказывание в позиции **преформы**, а второй — высказывание в позиции **реплики**.

Преформа, открывающая диалог (обычно называемая «инициирующей репликой»), задает своего рода контекстную матрицу для реплики, которая, в идеале, должна «заполнить» преформу требуемым «материалом» — информацией, выраженной в соответствующей форме. Далее реплика может обратиться в преформу для последующей реплики, что создает диалогическую цепочку. Структурные компоненты диалогического единства могут состоять в разнообразных смысловых отношениях. Мы обозначим среди них наиболее общие.

Основные преформы в диалоге: вызов, побуждение, вопрос и отмена.

Два важнейших типа вызовов: вызов собеседника, *апеллятив* (в том числе — вокатив, который может быть совмещен с приветствием или замещен последним) и *констатив* — вызов предмета речи, которому в аутодиалоге соответствует некоторый *вводной* элемент, смысл которого — «есть А».

Побуждение — это обычно предписание, *императивная* преформа, точно выражающая действие, которое необходимо выполнить в действительной реплике. Последнее часто бывает неречевым. Наряду со своей категоричной императивной формой, предписанием, побуждение может иметь и инспиративную форму, не навязывающую действие, а вдохновляющую на него. Поэтому в диалогическом воздействии можно выделить два типа:

а) *интенционное* воздействие — побуждение через прямые и трансформированные предписания (Ср. *Сделайте это!* и *Неплохо бы сделать это; Надо, чтобы вы сделали это*, и т. д.);

б) *потенционное* воздействие — побуждение к действию без выраженной интенции говорящего, косвенным путем, через высказывание,

констативное по форме; например, вместо предписания *Бегите на поезд!* — констатация: *Поезд уже пришел*. Побуждения такого рода являются потенционными, так как они осуществляются через потенциал ситуации, представляемой в высказывании.

Отмена — это речевое торможение активности. Отмена может относиться:

- а) к самому общению, как сигнал окончания или прерывания диалога;
- б) к вызову, если он был ошибочным;
- в) к неточно данному предписанию,
- г) к деятельности партнера, как *запрет*, который может выражаться в виде отрицательного предписания или в менее категоричной форме негативной оценки, неодобрения.

В диалоге, очевидно, не всякая реплика окажется совершенно адекватной своей преформе, что не разрушает структуру диалогического единства, а лишь вносит в нее некоторые отклонения от симметрии дополненности. Реплики имеют следующие основные разновидности:

- а) *подтверждение* вызова, которое реализуется либо в виде утвердительного сигнала, либо в эхалалической (дублирующей вызов) форме, как в случае ответа на приветствие; эхалалическая реплика является одновременно и копией своей преформы;
- б) *реплика-исполнение* предписания, которая может быть либо развернутым речевым исполнением (ответом на предписание: *Скажи!*), либо сигналом о его неречевом исполнении (*Готово!*, *Есть!*);
- в) *контрреплика*, которая может быть выражением прития/непрития предписания (согласия или отказа), встречным (уточняющим) вопросом или же эхалалическим «передразниванием»;
- г) *реплика-ответ* на вопрос;
- д) *реплика-уклонение* от ответа или другого исполнения; это относится к случаям намеренного переключения диалога на другую тему; реплика-уклонение блокирует ту ориентацию, которая задается преформой;
- е) *нулевая* реплика; если назначение сигнала отмены — блокировать дальнейшее речевое взаимодействие, то ему должна соответствовать нулевая реплика, молчание;
- ж) *реплика-реакция* на внешний стимул в форме импульсивного восклицания; реактивная реплика может быть откликом и на речевую преформу и на вызвавший ее неречевой стимул.

В зависимости от характера преформы и реплики диалогические единства образуют разные структурные типы. До настоящего времени в наибольшей степени разработано описание вопросно-ответных диалогических единств.

Представители так называемой эротетической логики (логики вопросов) различают «нексус-вопросы» (ли-вопросы) и «wh-вопросы» (интерrogативы с вопросительным словом) [Хинтикка, 1974; Белнап, Стил, 1981], т. е. это традиционные «общие» вопросы, требующие подтверждения или отрицания и «частные» вопросы, требующие подставить на место неизвестной величины известную слушающему. Среди признаков вопросительного высказывания авторы отмечают наличие в его пресуппозиции альтернативного (дизъюнктивного) суждения, а также то сходство, которое имеет частный вопрос с алгебраическим уравнением с одним неизвестным (X).

Заметим, однако, что «ли-вопрос» может быть не только нексусным (ср.: Пришел ли Павел? = Павел либо пришел, либо не пришел), но и частным (Павел ли пришел? = Пришел либо Павел, либо не Павел).

Преформа-вопрос действует как рамочный структурный оператор, локализуя фокус требуемого ответа. При общем вопросе фокальный смысл выражается либо в виде позитивной/негативной редупликации преформы: *N пришел?* — *Пришел/Не пришел*, либо свертывается, редуцируясь до операторов утверждения отрицания: *Да/Нет*. Общий вопрос имеет функцию установления соответствия между знаниями говорящего и слушающего.

Вопрос с вопросительным словом — это тоже преформа рамочного типа, содержащая в своем структурном фокусе неопределенную (неизвестную) величину, выраженную вопросительным местоимением: *Кто стучится в дверь?* — *Ветер*. Функция wh-вопроса (икс-вопроса) является экстрагирующей, то есть, состоит в извлечении информации, которая должна дополнить информацию, выраженную в преформе.

Другие структурные конфигурации диалога и смысловые эффекты, связанные с ними, изучены в меньшей степени. Так, французские лингвисты говорят о «когерентности» диалога в тех случаях, когда он развертывается согласно принципу логического предпочтения; поэтому более естественны, например, такие диалогические единства, как «*offre-acceptation*» и «*critique-contestation*», но не такие, как «*offre-refus*» и «*critique-admission*».

Шарль Балли [1961, 330], например, видел существо диалога не просто в «общении», но в борьбе противоположностей: «Всякий подлинный разговор — это схватка; это не борьба двух умов — соперниками являются две личности в целом: одно “я” стремится восторжествовать над другим». Очевидно, что диалог может обратиться в противоборство сторон, если воздействие каждого партнера будет направлено не на согласование совместной деятельности, а на ее торможение.

§ 3. Ключевой фактор дискурсивной деятельности

Язык как средство «коллективной координации поведения» [Выготский, 1982, 95], выполняет в обществе *регулятивную* функцию — функ-

цию согласования деятельности индивидов как по отношению их друг к другу, так и по отношению к окружению.

Отметим, что регуляция необходима там, где существует та или иная рассогласованность в деятельности, ее *несоответствие*, неадекватность по отношению к актуальной ситуации или к поставленной задаче. Именно ситуация несоответствия и сопряжена с интенсивным коммуникативным обменом: там, где все отрегулировано, согласовано, приведено к норме, потребность в дополнительной информации сводится к минимуму (достаточно лаконичных сигналов подтверждения) или вообще отпадает. Таким образом, регуляция всегда предполагает свой антипод — некоторое **противоречие**, которое ее и вызывает к действию. Там же, где регуляция не нужна, она сама может стать фактором противоречия по отношению к ситуации, что выглядит, по меньшей мере, нелепо.

Согласно Г. Гегелю, противоречие «есть корень всякого движения и жизни; лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, имеет побуждение и деятельность» [Гегель, 1971, 65].

Противоречие как форма схватывания сознанием противоположностей в объекте и/или расщепления объекта на противоположности является орудием диалектического познания. Остроумная рефлексия, по Гегелю, «состоит в схватывании и высказывании противоречия; ... *мыслящий* разум заостряет, так сказать, притупившееся различие разного, простое многообразие представления, до *существенного* различия, до *противоположности*. Лишь доведенные до крайней степени противоречия, многообразные [моменты] становятся деятельными и жизненными по отношению друг к другу и приобретают в нем ту отрицательность, которая есть имманентная пульсация самодвижения и жизненности» [Гегель, 1971, 78].

История языкознания свидетельствует о том, что наиболее глубокими и влиятельными оказываются именно те концепции, стержнем которых являются антиномии — формулировки разных аспектов языка-объекта в терминах противоречий. Антиномична лингвофилософская концепция В. Гумбольдта. Акцент, сделанный ее автором на энергетической стороне языка послужил, в частности, толчком к осмыслению динамических моментов дискурса, что не снимает, конечно, и важности рассмотрения языка как результата многовековой речемыслительной деятельности общества. Антиномичны знаменитые дихотомии Ф. де Соссюра, послужившие фундаментом для системно-структурных исследований не только в лингвистике, но и в сфере других гуманитарных наук. «Всегда противоречия, доведенные до остроты антиномий, обозначали точки роста науки, пункты прорыва мышления в еще не познанные сферы действительности» [Ильенков, 1979, 139].

В работах языковедов среди противоречий, движущих развитием языка, указываются, в частности, противоречия внешнего порядка — «между наличными средствами языка и растущими потребностями обмена мыслями» [Ломтев, 1972, 60], противоречия внутренние — между

социальным значением языковой единицы и контекстуальным [В. Павлов, 1970, 91], и др. «Необычайная сложность языка предполагает, — по мнению Д. А. Штеллинга [1983, 9, 14], — не только его системность, но и общий достаточно простой принцип его организации»: язык организован как система противоположностей, исследование которых — «не только метод познания, но и раскрытие сущности изучаемого объекта».

«Многие споры о сущности языка, о перспективности формальных методов в лингвистике, об относительной роли семантики бесплодны именно потому, что к диалектическим антиномиям применяется такой подход, как к ситуации выбора одной из допустимых альтернатив. Диалектический подход состоит не в выборе той или иной альтернативы, но в четкой экспликации обнаруживающегося противоречия (тезиса и антитезиса). Любое научное описание языка ведет к неизбежным потерям. Важно не потерять одно — представление о диалектической антиномичности, заключенной в самой природе языка» [Шрейдер, 1978, 250].

Разумеется, что одна лишь констатация противоположностей как набора застывших «оппозиций» еще ничего не дает. Исследователь психологии творчества Г. А. Голицын [1983, 224–225] пишет, что «творческую задачу можно определить как задачу, условия которой (признаки решения) выглядят противоречивыми, несовместимыми друг с другом... Эти противоречия разрешались всякий раз, когда человеческому уму удавалось выйти за пределы узкого круга рутинных представлений».

Рассмотрим основные сферы применения языка, в которых момент противоречия может оказаться важным для формирования дискурса. Во-первых, это сфера межсубъектных отношений, или *субъектно-субъектная* сфера. Во-вторых, это сфера отношений субъекта и его окружения, или *субъектно-объектная* сфера. Можно выделить и третью сферу — сферу регуляции деятельности индивидов по отношению к ценностям создаваемой ими культуры — *субъектно-ценностную* сферу.

Во всех этих трех сферах присутствует момент регуляции, а значит, есть и его антипод — рассогласование, противоречие. Общие положения о месте момента противоречия при речевой регуляции в каждой из указанных сфер могут быть определены следующим образом:

- при регуляции в субъектно-субъектной сфере роль дискурса заключается в *предупреждении* противоречия в предстоящей практической деятельности;
- при регуляции в субъектно-объектной сфере дискурс направлен на *разрешение* противоречия как следствия неполноты знаний в когнитивной картине мира субъекта;
- при регуляции в субъектно-ценностной сфере дискурс ориентирован на выделение и *заострение* противоречия как несоответствия между общественно санкционированными ценностями и заявляющими о се-

бе новыми ценностями личностного порядка, или, в более общем случае, между системами культурных ценностей разных субъектов.

Порождаемый во всех этих сферах дискурс может быть как ситуативно-связанным, так и свободным от ситуации, самодостаточным в смысловом отношении. Можно предположить, что при минимуме ситуативной связанности дискурс содержит свой ключевой смыслообразующий момент (противоречие) внутри себя. Напротив, при максимуме ситуативной связанности ключевое противоречие, вызывающее речевую регуляцию, смещено за пределы самого дискурса, становится фактором внешнего порядка.

§ 4. Параметры ситуативно-связанного дискурса

Последовательное рассмотрение ситуативно-связанных дискурсов в субъектно-субъектной, субъектно-объектной и субъектно-ценностной сферах позволяет установить ряд различий в параметрах этих дискурсов.

Так, в системе «субъект — субъект» ситуативно-связанный дискурс — это диалог, встроенный в практическую деятельность и направленный на предупреждение противоречия во взаимодействии коммуникантов при достижении поставленной цели.

При этом «полюсами» противоречия являются, с одной стороны, та наличная, исходная ситуация, которая подлежит преобразованию и, следовательно, *отрицанию*, а с другой стороны — та еще не существующая конечная ситуация (цель деятельности), которая должна быть создана, *утверждена*. Диалог же локализован между этими двумя полюсами и способствует их связыванию во времени, сопровождая конкретную деятельность, выступая в качестве симпрактического дополнения к этой внешней для него деятельности, звенья которой (фазы преобразования реальности) он соединяет. Дискурс, встроенный в неречевую деятельность, выглядит, если воспользоваться выражением Н. А. Бернштейна [1990, 438], «как своего рода *интерполяция* между наличной ситуацией и тем, какой она должна стать».

Симпрактический диалог будет, очевидно, в большей мере отвечать своему назначению, если он обходится минимумом языковых средств. Основные энергетические затраты идут здесь не на общение, а на выполнение работы, поэтому ему свойствен лаконизм, стереотипность подаваемых реплик — команд и отзывов, так как именно специально выработанные и санкционированные договором выражения наиболее легко распознаются и вызывают наиболее точную и быструю реакцию. Поэтому при выполнении некоторых родов работ создаются специальные системы речевой сигнализации. Сказанное справедливо, с несущественными оговорками, и в отношении любого бытового диалога, или, в формулировке В. В. Виноградова, для диалога, тесно связанного с «обстановкой».

Очевидно, что ситуативно-связанный субъектно-субъектный дискурс представляет собой, как правило, лишь фрагментные дополнения к внешней хронологически упорядоченной структуре деятельности, связывающей две ситуации, находящиеся в отношении противоречия — исходную R_1 (реальность-1) и конечную R_2 (реальность-2), в промежутке между которыми и располагается *интерполирующий* языковой компонент L , детерминированный этими полюсами:

$$R_1 | \rightarrow L \leftarrow | R_2$$

Заметим, что целью взаимодействия индивидов по существу является отрицание одной реальности и замещение ее другой. В этом общем случае не существенно, какой характер носит деятельность, созидательный или разрушительный, будет ли это взаимодействие индивидов или их взаимодействие. Поэтому диалог как борьба, схватка, тоже является частным случаем использования языка в субъектно-субъектной сфере, когда задачей коммуникантов является отвержение неустраивающей их ситуации и замена ее другой. Это может быть и отвержение существующей субординации в распределении ролей, и отвержение самого способа достижения конечной цели и замена их другими, которые расцениваются как более приемлемые. Согласование может быть достигнуто не только путем координации, договора, но и путем субординации, диктата, навязывания мнения.

В системе «субъект — объект» ситуативно-связанный дискурс — это элемент познавательной деятельности, призванной к установлению соответствия между знаниями субъекта о реальности R_1 и наличной реальностью R_2 , которая противоречит первой. Столкновение субъекта с новой реальностью ставит его в озадаченное положение и вынуждает определить способ разрешения возникшего противоречия, что и вызывает дискурсивную деятельность, которая может протекать в формах внутренней и внешней речи — монолога-рассуждения, направленного на разрешение противоречия. Языковой компонент L — монолог — *результатирует* напряжение между образом известной ранее реальности в сознании субъекта и образом наличной ситуации, сопрягая эти противоречащие друг другу образы:

$$(R_1 || R_2) \rightarrow L$$

Речевой компонент в этом обобщенно представленном случае является тем дополнением к «расщепленной» в пространстве образов сознания реальности, которое и резюмирует только разницу, лауну, брешь между этими образами, но не воспроизводит самих образов реальности-1 и реальности-2, что и соответствует ситуативно-связанному характеру дискурса. Этот дискурс по-прежнему детерминирован ситуацией и носит такой же шаблонный, автоматизированный и разрывный характер, как и ситуативно-связанный субъектно-субъектный дискурс. Кроме того, он характе-

ризуется изменчивостью, выдвижением разного рода предложений, которые тут же отбрасываются, до тех пор пока субъектом не будет найдено приемлемое, на его взгляд, разрешение противоречия.

В системе «субъект — ценность» ситуативно-связанный дискурс направлен на заострение противоречия, схваченного в поле субъектных ценностей. При этом общепринятому образу реальности ставится в соответствие не некий другой, «эталонный», «нужный», образ, а личностно-преломленный, *деформированный* образ той же реальности, той же ситуации, в которой индивидом подмечена и резко выделена, подвергнута акцентированию или «передразниванию» (по принципу «кривого зеркала») некая *особенность*, которая для всех прочих индивидов остается незамеченной благодаря культурно-шаблонному восприятию. В результате реальность оказывается удвоенной, расщепленной на наличную (R) и измененную, которая и находит свое языковое выражение (L), вступая в обостренное противоречие с реальностью-прототипом, что выглядит как:

$$R \rightarrow || \leftarrow L$$

Порождаемый в субъектно-ценностной сфере ситуативно-связанный дискурс столь же лаконичен, как и предыдущие виды дискурса, но отличается от них своим «остроумным» характером, необычным, смещенным и деформированным употреблением речевых шаблонов и сотворением новых особенных выражений, которые тут же становятся именами, кличками или своего рода афоризмами и могут в короткий срок получить широкое распространение в социуме. Иногда это просто тонкий штрих, меняющий и остроумно переакцентирующий какое-нибудь широко известное изречение, сентенцию. В то же время этот вид дискурса остается трудным для осмысления в отрыве от породившей его культурной реальности.

Можно сделать вывод, что при максимуме ситуативной связанности дискурс фактически не существует как единое целое, а иногда и как связанный дискурс, представляя собой в лучшем случае лишь дополняющие друг друга фрагменты: «скрепы» ее фаз, или «швы» ее пластов, или же штрихи, наносимые на реальность-основу деятельности.

§ 5. Параметры ситуативно-свободного дискурса

Чтобы получить свободу от ситуации, дискурс должен стать самостоятельным как в смысловом, так и в структурном отношении. Его ценность из функциональной — связанной как «сверху», так и «снизу» в иерархической структуре деятельности — должна стать категориальной — свободной от всякой иной деятельности и в то же время обладающей особой потенцией, или валентностью — способностью оказывать влияние на любую другую деятельность.

Те компоненты, по отношению к которым ситуативно-связанный дискурс являлся лишь дополнением, получают свое «оязыковление» в ситуативно-свободном дискурсе, а сами бывшие дополнения (швы, скрепы, штрихи), носители регулятивных функций, становятся *внутренними* функциями дискурса, способами организации его собственной структуры. То, что было конситуацией для субъекта, становится контекстом для дискурсивных единиц. Момент противоречия из внешнего фактора становится внутренним принципом формирования дискурса.

В системе «субъект — субъект», в которой дискурс направлен на предупреждение противоречия во взаимодействии индивидов, ситуативно-свободный дискурс развивается в *программу* преобразования реальности-1 в реальность-2. В нем находят свое прямое языковое выражение: а) характеристика исходной ситуации, включающая распределение «ролей» среди участников деятельности L_{R1} ; б) характеристика целевой ситуации L_{R2} ; в) последовательность действий в языковой формулировке L , в том числе и вероятных вариантов действий, необходимых для осуществления преобразования; она может быть конкретизирована в виде фаз, или шагов, этапов, промежуточных образов превращения исходной реальности в конечную. Этот дискурс-программа, не обязательно воплощается в конкретную деятельность, а может быть отложен, существуя в виде плана, или отвергнут.

Дискурс-программа — это развернутое представление будущей деятельности на ее подготовительном этапе. Развернутое оязыковление может получить, если это необходимо, и любая промежуточная фаза деятельности, в том числе и как обсуждение сделанного, своего рода «ретрограмма», на основе которой может быть внесена коррекция в последующую программу.

Схема ситуативно-свободного дискурса в этой сфере приобретает вид:

$$L_{R1} | \leftarrow L \rightarrow | L_{R2}$$

В субъектно-субъектной сфере любой дискурс является, по определению, *коммуникативным*. Даже в текстовом виде он продолжает оставаться сообщением, в силу его коммуникативно-регулятивной установки.

В системе «субъект — объект», в которой дискурс предназначен для разрешения противоречия между двумя образами реальности L_{R1} , L_{R2} , существенным является языковой компонент L , результирующий это противоречие; оязыковлению подвергаются и оба сопрягаемых образа реальности:

$$(L_{R1} || L_{R2}) \rightarrow L$$

Эту общую схему, монологического рассуждения можно интерпретировать, в частности, как классическую триаду «тезис — антитезис — синтез», или же более подробно, как состоящую из посылок, вместе с их анализом и аргументациями, и вывода-заключения.

В субъектно-объектной сфере ситуативно-свободный дискурс можно охарактеризовать как *когнитивный*, в силу его познавательной установки. Поэтому даже в диалогической форме при сохранении той же субъектно-объектной направленности он продолжает оставаться когнитивным, лишь *статус* субъекта изменяется при этом. В когнитивном монологе рассуждает относительно объекта субъект-индивид, а в когнитивном диалоге рассуждает-полемизирует коллективный субъект.

В системе «субъект — ценность» ситуативно-свободный дискурс, приобретает структурную и смысловую самодостаточность. В силу этого языковое выделение противоречия между традиционным общественно-стереотипным и нетривиальным личностным восприятием, которое бывает лишь намечено в ситуативно-связанном варианте, приобретает, при свободе от ситуации, *развернутый* характер. Развернут может быть, наряду с измененным языковым образом реальности L , и образ исходной реальности, воплощенный в языковой форме L_R , что можно представить общей схемой:

$$L_R || L$$

К субъектно-ценностной сфере относится свободный от ситуации *эстетический* дискурс. Эстетическая функция языка традиционно отождествляется с поэтической, которая связана с «самоценностью» поэтического слова [Ларин, 1923, 84] и состоит, по Р. Якобсону, в сосредоточении внимания «на сообщении ради него самого». Р. Якобсон считал ее определяющей функцией словесного *искусства*, находя, что она проявляется не только в поэзии, но и в качестве элемента других видов речевой деятельности; поэзия же может использовать в различных жанрах и другие функции (денотативную, экспрессивную, апеллятивную и т. д.) [Якобсон, 1975, 202–203]. Используя, например, апеллятивную функцию, «поэзия второго лица», согласно Р. Якобсону, либо умоляет, либо поучает. Такая ориентированность поэзии является, на наш взгляд, прикладной, и имеет отношение к риторике и к субъектно-субъектной сфере деятельности, где стратегия речевой деятельности направлена на предупреждение противоречия, а не на выделение его в качестве ключевого момента.

Иное дело, когда происходит *деформация* любой другой функции, ее расщепление, удвоение, переакцентуировка, например, придание неожиданно возвышенного (или сниженного) характера той же «поэзии второго лица».

Деформации может быть подвергнут не только образ реальности в языке, но и сама языковая форма, «материя» языка; в поэзии даже «правильные грамматические связи могут быть нарушены во имя цельности образной системы» [Г. В. Степанов, 1980, 203]. Поэтическое изменение формы всегда сопряжено с созданием языковой *особенности*, локализующей ключевое противоречие, особенности, в силу которой поэтическое произведение невозможно пересказать другими словами, не уничтожив при этом самой его сути.

Эстетический дискурс, включающий, кроме языкового выражения образа реальности L_R и ее деформированного образа L , также и выражение зоны особенности $L_{||}$ — *дискурс с особенностью* — можно представить в виде следующей схемы:

$$L_R | L_{||} | L$$

Ситуативно-свободный дискурс, в силу наличия собственной развернутой структуры способен *подчинять* себе любой другой дискурс, включая его в себя в *контекстно-связанном* виде; для этого иногда достаточно, чтобы структура-контекст была хотя бы намечена в виде своего рода рамки или преамбулы для своего интекста.

В практике речевой деятельности дискурсы могут иметь двойную связанность: ситуационную и контекстную. Исходя из этого, можно объяснить то, как конкретная сфера использования языка приобретает не первичные для нее формы. В субъектно-субъектной сфере, в которой основной формой является диалог, а базовой функцией — коммуникативная, отдельная реплика может разрастись до монолога с преобладающим либо когнитивным компонентом (лекция), либо эстетическим (речь ратора). В субъектно-объектной сфере, где основной формой является монолог, а базовой функцией когнитивная, может быть использована коммуникативная (диалогическая) или же поэтическая формулировка, например, научного трактата. В субъектно-ценностной сфере могут быть использованы формы любой другой сферы, но не как принцип построения, а как *материал* для создания эстетического дискурса его автором, подвергаемый творческой переработке.

§ 6. Характеристики дискурсивных величин

Элементарное контекстное подчинение одного дискурса другому можно представить следующей формулой: *Я говорю*: «...». В кавычки заключен потенциальный дискурс, который будет уже связанным внутри дискурса «Я говорю». И тем самым он окажется потенциально свободным от ситуации. Источник речи как бы создает границу, отделяющую смысл сказанного от актуальной ситуации. Повернуть же этот смысл можно и в ситуативную, и в интекстовую сторону. В первом случае сам говорящий окажется ситуативно связанной сущностью, участником данной ситуации, ее актантом, вступающим во взаимодействие с другими такими же актантами, над которыми господствует реальная ситуация. Во втором случае он получает возможность создать дискурсивную квазиситуацию, обособленную от реальной. И здесь уже господствует не ситуация, а сам говорящий. Он волен ввести в эту сказываемую им ситуацию какие угодно величины. Всеми этими величинами он способен управлять. Таким образом, регулятивный момент в свободном дискурсе не исчезает совершенно. Он транс-

формируется из организации неречевой деятельности в организацию внутридискурсивного взаимодействия величин.

Говорящий может также построить еще один дискурс в своем базовом дискурсе, наделив своего актанта способностью говорить. Но обычно он довольствуется тем, что вводит предикаты — глаголы, которые и определяют характер взаимодействия всех дискурсивных величин, также вводимых говорящим. В целом характер этого взаимодействия обуславливается теми приоритетами, которыми говорящий наделяет те или иные величины.

Со сказанным вполне согласуется структурное представление высказывания, предложенное Л. Теньером [1959], где выделяются: а) глагольный оператор как распорядитель (*régissant*), управляющий актантами, б) предметные переменные в качестве актантов (*actants*) и в) заданные обстоятельства, или ситуанты (*circonstants*). В динамике синтаксического построения ранг ситуантов изменяется, и они могут стать актантами. Точно так же может изменяться и статус актантов. Но и сами глаголы тоже способны снижать свою синтаксическую приоритетность и переходить в ранги актантов и обратно, что описывается как их «трансляция» (переходы из одной структурной позиции в другую). Кроме того, как известно, и целые высказывания способны изменять свои структурные ранги, свертываясь в подчиненные предложения и далее в словосочетания и в актанты-имена.

В ходе построения высказывания говорящий нисколько не задумывается над тем, какие классы величин он при этом использует. В области величин, которыми стихийно оперирует мышление, возможны следующие разграничения.

Во-первых, это традиционно различаемые в научном аппарате *постоянные* и *переменные* величины. Из самих названий следует, что постоянные величины — *константы* — очевидно, не могут быть изменены в ранге своего приоритета, а переменные — напротив, испытывают постоянные варьирования. В логических системах операторы исчисления высказываний — это константы, а операнды, участвующие в построении высказываний — переменные величины. В естественном языке союзные операторы тоже являются константами, тогда как все переменные величины, в основном — лексические единицы, легко меняют приоритет, переходя из одной семантической категории в другую.

Во-вторых, переменные величины могут выступать как *свободные* и *связанные*. Связанная переменная — это константа, действующая в рамках определенного контекста, т. е. локальная константа.

Имя обычно действует как связанная переменная, для чего необходимо выполнение условия его денотативного тождества; часто это тождество по умолчанию, до тех пор пока не произойдет отмена данного значения. Ср. денотативное тождество в следующем примере: *На повороте стоял дом. В этом доме никто не жил*; и его отсутствие во фразах: *На повороте стоял дом. На берегу реки тоже стоял дом*. В последнем случае

У ия проявляет свойство свободной переменной, изменив свое денотативное тождество.

В-третьих, связанные переменные величины могут быть *зависимыми* и *влиятельными* (доминантами), а свободные — *действительными* и *мнимыми*.

Так, в определенных контекстах появляются пары влиятельных и зависимых глаголов: *давать* — *иметь*, *показывать* — *видеть*, *поднимать* — *подниматься*, *опрокидывать* — *перевернуться*.

Действительные глаголы представляют процесс, не находящийся в зависимости от другого, происходящий сам по себе, как самодействие: *стоять*, *идти*, *происходить* ('осуществляться'), *спать*, *держат*, *быть*, *становиться*, *гремить*. Сюда же относятся глаголы восприятия соответствующих процессов: *слышать*, *видеть*, *чувствовать*. В некоторых контекстах действительные глаголы могут обращаться в зависимые и влиятельные.

Мнимые величины выражаются при посредстве глаголов с семантикой несуществующего, кажущегося: *казаться*, *представляться*, *мочь* (*может быть*), *верить* и пр. Эти глаголы обладают практически неограниченной свободой сочетаемости с другими глагольными предикатами.

Некоторые величины обладают фундаментальным приоритетом. Они являются *базовыми* для построения всех прочих *производных* величин. В определенных условиях производная величина способна оказаться базовой величиной второго порядка для формирования производной нового порядка. Так, если принять за базовую величину корень *ход*, то можно установить, например, что слово *ходить* — производная первого порядка, а *приходить* — второго порядка, и т. д. Можно полагать, что глагол по отношению к имени обладает более весомым фундаментальным приоритетом.

В дискурсе находит также свое выражение ранжирование объектов по степени их энергетической важности в реальной жизни. Ранг приоритета может определяться, в частности: а) по потенциалу объекта, например, человека: что он может сделать; б) по ориентации объекта как инструмента: что можно сделать при его посредстве; в) по пригодности объекта в качестве материала: что из него можно сделать; г) по свойствам объекта как субстанции: что с ним можно сделать.

Ранжированы по приоритетам могут быть такие динамические свойства величин, как их *потенции* относительно совершения действий и оказания влияния на ситуацию, а также *тенденции* (интенции) той или иной величины.

Очевидно, что субъект может либо воспользоваться свойствами реального объекта как данными, и тогда соответствующая величина будет *натуральной* величиной, либо представить объект с придуманными свойствами, то есть, как *артефактную* величину (конструкт).

В дискурсе величины могут иметь особый приоритет: вне зависимости от своей категории они могут быть *заданными* (введенными в дискурс как

данное) и *сопряженными* — индуцированными сочетанием исходных компонентов дискурса, как правило, без намерения со стороны говорящего.

Заданные величины могут быть даны как *известная*, уже определенная величина, и как *неизвестная*, неопределенная, которую только предстоит определить. В этом отношении конструкция с вопросительным словом является аналогом уравнения с неизвестной величиной в алгебре

Понятия базовой и производной величин близки по содержанию к понятиям *исходной* и *результатирующей* величин, хотя и не тождественны им. Результатирующая величина получается путем применения к исходной некоторой *операторной* константы. Вообще говоря, с результатом мы имеем дело при любом преобразовании. Результат в деятельности — это итог преобразования некоторой исходной реальности в конечную.

С исходной величиной может быть также сопоставлены: *обратная* величина (*отдать* — *взять*), *противоположная* (*хранить* — *терять*) и *сопряженная* величина (*двигать* — *идти*, *проходить* — *пропускать*). Сопряженные величины появляются и в результате игры слов. Двусмысленности, возникающие помимо воли говорящего, а также другие явления, создающие неожиданные смысловые эффекты, обусловленные как случайной, так и неслучайной комбинаторикой языковых единиц, можно относить к сопряженным (побочным) эффектам речетворчества.

Все эти величины по-разному проявляют себя в построении дискурса. От характера величин зависит и характер высказывания. Не только слово, но и само высказывание может оказаться носителем практически любой семантики: действительной и мнимой, генерализованной (константной) и переменной (амбивалентной), заданной и сопряженной, исходной и результирующей, и т. д.

§ 7. Дискурс как процесс ориентировочного отражения мира

Идея об ориентировочном отражении мира принадлежит знаменитому физиологу И. П. Павлову, выявившему в деятельности живого организма ориентировочный рефлекс «что такое?» [И. Павлов, 1951, 162–163]. Она получила дальнейшее развитие в трудах психолога П. Я. Гальперина как концепция специфической *ориентировочной деятельности*, имеющей, в качестве «заданного результата», в отличие от деятельности целеполагающей, «не достижение какого-нибудь определенного объекта или положения, а только выяснение нового объекта или положения и ознакомление с ним» [П. Гальперин, 1976, 78].

В технике для создания ориентирующих устройств используются устойчиво действующие природные силы: сила гравитации, магнитное силовое поле, гироскопический эффект, определенная скорость протекания процесса и т. д. Человек заимствует свои реперы у природы, создавая объективные точки отсчета.

Субъект деятельности ориентируется в среде за счет своего собственного нейрофизиологического механизма, центральная «инстанция» которого, обладая принципиальной устойчивостью, перерабатывает информацию и о «внутренних состояниях» индивида, и об окружающем его мире, осуществляя затем на основе результатов этой переработки практическую деятельность [П. Гальперин, 1976, 63]. Согласно П. К. Анохину [1978, 241], поступающая информация отбирается и как бы взвешивается на «весах» доминирующего мотивационного состояния организма, своеобразного внутреннего репера ориентировочной деятельности.

Ориентировочная деятельность носит в целом *подготовительный* характер: в ходе нее субъект определяется относительно последующего практического (исполнительного) этапа — отбирает и оценивает то, что ему может впоследствии пригодиться. Она предполагает, наряду с той инстанцией, которая ее осуществляет (субъектом ориентирования), некоторый эталон (репер), на базе которого она осуществляется, и объект, относительно которого она совершается.

В деятельности *социального субъекта* язык оказывается важнейшим фактором ориентировки в социально-культурной действительности и за ее пределами. Все многообразие мира приводится к единому для всех индивидов образу, выражаемому языковыми формами.

Одним из существенных свойств языка как ориентирующего фактора является его относительная *устойчивость*, которая является необходимым условием взаимопонимания членов языкового коллектива и одновременно условием фиксации состояний и процессов непрерывно изменяющегося мира. Можно предположить, что в основе всякой языковой системы лежит некоторая постоянная величина, системообразующая **константа**, наличие которой обеспечивает и установление адекватной межсубъектной связи, и установление соответствия между социумом и внешним миром.

В каждом случае установление требуемых соответствий осуществляется за счет порождаемых системообразующей базовой константой ее производных, дериватов. С этой точки зрения, язык мыслится как иерархия, в которой фундаментальная константа стоит во главе разветвленной системы своих дериватов, образующей внутри себя различные подсистемы — подязыки (диалекты, социолекты или же индивидуальные подязыки — идиолекты). В конкретных ситуациях общения система дериватов от общей константы выступает в качестве опорной величины для выражения в высказывании той позиции, которую говорящий занимает по отношению к ситуации.

В качестве переменных величин для языковой константы и ее дериватов могут выступать различные сущности, как имеющие свой аналог в реальности, так и чисто идеальные. Таким образом, язык выступает как своеобразная естественная система исчисления для любых объектов человеческого универсума, имеющая специальные средства для выделения объектов и для вовлечения их в речемыслительную деятельность.

Глубокую аналогию между естественным языком и алгебраическим исчислением усматривал Н. А. Бернштейн: «Высокоразвитая речевая система человека аналогична математической алгебре (может быть, это и создало возможность ее дальнейшей формализации до логической алгебры Буля и др.). Эта аналогия не бросается в глаза, по-видимому, только вследствие нашей привычки пользоваться речью. Для математической алгебры характерно наличие условных знаков-символов (такими обычно служат буквы) и операторов-символов, обозначающих функциональные отношения между первыми и те действия, которые надлежит над ними произвести.

Это же наблюдается и в структурной речи, свойственной человеку, где, наряду со словами-номинаторами, имеет место богатая лексика слов-операторов или этимологических характеристик, создающих между первыми смысловые функциональные отношения и превращающих речь-словник в речевое орудие познания мира и действия в нем» [Бернштейн, 1990, 435–436].

Очевидно, что аналогия языка с исчислением, проведенная Н. А. Бернштейном, относится в первую очередь к языку как орудию познания мира. Тогда как в роли орудия действия в мире язык будет уже не системой исчисления, а скорее средством управления. Общим для этих двух моментов будет приведение реальной ситуации к некоторой определенности. В контексте деятельности этап исчисления-познания выступает как подготовительный для собственно исполнительного этапа (управления-действия) и заключается он в определении (измерении, оценке и т. п.) именно существенных, важных, ценных для этой деятельности энергетических моментов.

Но тогда и для самой деятельности познания-исчисления можно предположить подготовительные этапы в виде некоторого первичного ознакомления с действительностью, распознавания объектов, которое, в свою очередь, требует подготовленности субъекта, требует, чтобы он располагал определенными *устойчивыми* величинами, эталонами, способными служить для измерения этой первичной ситуации. Язык оказывается уникальным измерительным средством, так как он позволяет представить сообщение о реальности, не воспринимаемой непосредственно органами чувств.

В работе польского психолога К. Обуховского [1971, 80] ориентировочная деятельность рассматривается в связи с «реагированием на предметы и явления, составляющие среду, в соответствии с той ценностью, которую они представляют для субъекта».

Ориентируясь в окружающем мире, человек определяет для себя жизненную важность его составных частей. Природные объекты, будучи вовлеченными в деятельность людей, всегда приобретают в ней то или иное ценностное содержание, наделяются определенным достоинством и благодаря этому занимают свое место в системе ценностей социального или индивидуального субъекта.

В наши дни уже стал общепринятым факт аксиологичности человеческого сознания, его «ориентация на выработанные обществом и принятые субъектом сознания ценности» [ФЭС, 1983, 622]. Среди ценностей человеческого опыта — природного и культурного — фигурируют ценности познавательные, утилитарные, этические, эстетические и т. д., а также ценности самой языковой системы — лингвистические. Язык в контексте деятельности выступает одним из эффективных средств ее оптимизации и, следовательно, тоже представляет собой одну из важнейших культурных ценностей, выработанных обществом. При посредстве языка говорящий субъект и сам ориентируется в мире своих ценностей, и ориентирует других субъектов, оказывая регулирующее влияние на их последующие действия.

Процесс ценностной фильтрации мира — установление ценностных соответствий между его сущностями в соответствии с запросами субъекта — сопряжен с интенсивной деятельностью языкового сознания, которая в этом контексте уже выглядит не как логическое исчисление, устанавливающее только факты соответствия/несоответствия реальности и знаний о ней. В универсуме человеческих ценностей языковое исчисление приобретает *эвалюативный*, ценностно-сопоставительный характер.

Еще в 20-е годы момент «ценностного акцента» в речи был выделен школой М. М. Бахтина: «Всякое слово обладает оценкой», а «каждое высказывание есть прежде всего *оценивающая ориентация*», причем «изменение значения есть *переоценка*: перемещение слова из одного ценностного контекста в другой» [Волошинов, 1993, 114–117].

Французский лингвист Жан Пейтар связывает с этой идеей Бахтина свою концепцию «социальной эвалюации», осуществляемой человеком в процессе дискурса, где всякое произносимое высказывание несет в себе оценку по отношению к другим высказываниям, известным говорящему и слушающему. «Социальная эвалюация возникает из необходимости ситуировать одни высказывания относительно других и мысленно наблюдать их соотносительную игру... Эвалюация — это операция, лежащая в основе любого процесса высказывания» [Peytard, 1990, 21]; при этом оценка (*appréciation*) одного высказывания через другое оказывается лишь частным случаем их ценностного сопоставления (*évaluation*).

Оценочными высказываниями непосредственно занимается логика оценок, в которой под оценкой понимается установление субъектом позитивной или негативной ценности предмета, или же, при исключении его из сферы интересов субъекта, его нулевой ценности. Соответствующие оценки типа «хорошо/плохо/безразлично» относятся к аксиологическим модальностям, которые, в отличие от экзистенциальных (*существует/не существует*) и алетических (*возможно/необходимо*), не имеют истинностных значений [Ивин, 1970, 13, 16].

Аксиология как раздел философии изучает ценностные высказывания морально-этического порядка в связи с понятиями «добра» и «зла»

[см. Шишкин, 1979], оценки утилитарно-прагматического характера (*полезно/вредно*) и другие виды оценок, относящиеся к сфере социальных ценностей. Эвалюация, как установление ценностного соответствия, шире по своему содержанию, чем оценивание. Ценностное отношение к объекту, как это отмечает И. П. Шитов [1981, 13], возникает не только как мнение о хороших или плохих, полезных или вредных его свойствах с точки зрения практики, морали или эстетики. Сама по себе фиксация данного объекта уже предполагает некоторую значимость его для субъекта и влечет за собой его определение по отношению к другим сущностям ценностного универсума, а, следовательно, и определяет выбор субъекта. Как это было отмечено Н. Д. Арутюновой [1988, 50], «все функции оценочных предикатов объединены понятием выбора».

Дискурс можно рассматривать как отображение процесса ориентирования человека в универсуме своих ценностей, в ходе которого на основе системы языковых эталонов, или специфических *языковых мер*, осуществляется ценностное разбиение реальности и соотносительное взвешивание ее частей — установление эвалюативных соответствий — с учетом собственных предпочтений, потребностей и возможностей говорящего.

Обладание ценностными реперами, точками отсчета, сообразно с которыми может быть направлена деятельность, позволяет субъекту предупредить вероятные противоречия в ходе этой деятельности, оказывая предпочтение одним объектам и исключая другие, т. е. осуществляя выбор при движении к некоторому конечному ориентиру — цели, представляющей собой частный случай ценности. Цель — это ценность, которая иерархически доминирует над остальной совокупностью позитивных ценностей, превращая их в средства ее достижения для субъекта [Магун, 1983, 12]. На подготовительном этапе деятельности эти средства подвергаются сравнительному взвешиванию (эвалюации) относительно их эффективности в плане достижения конечного ориентира.

Эвалюативные соответствия реализуются в высказывании с участием разного рода языковых средств, для которых характерно то, что они не имеют очевидных аналогов вне речемыслительной сферы человека. Сюда относятся достаточно подробно изученные средства и приемы языкового шкалирования (градуирования) действительности [Сепир, 1985], а также эвалюативные процедуры логического порядка — оценки, сравнения, противопоставления, логические обоснования и умозаключения.

Известно однако, что в целом отношения между высказываниями дискурса не поддаются описанию в терминах классической (детерминистской) логики. Если в научном дискурсе логические законы построения более или менее соблюдаются, то тексты художественной литературы не знают этих ограничений.

Логике, на которой строится дискурс естественного языка, не чужды парадоксы и элементы абсурда, что характерно для произведений художест-

венной литературы и фольклора. Поэтому для описания внутренней организации дискурса можно предположить некоторую расширенную логику, которая включала бы в себя, как частные и крайние случаи, с одной стороны, детерминированную логику, а с другой — паралогические условия абсурда. В такой расширенной квазилогике должны равноправно действовать и законы логики, и противоположные им условия абсурда [Поршнева, 1974, 471], согласно которым возможно нарушение логических законов тождества, противоречия и исключенного третьего. Примером «среднего» случая в ней может служить обычное, нестрогое, не силлогистическое рассуждение, которым руководствуется человек в своей повседневной деятельности.

В меньшей степени поддаются определению эвалюативные категории психологического характера, связанные с понятиями эмоций, чувств, мотива, установки и другими моментами психологии деятельности. Трудности фиксации психологически релевантных моментов дискурса связаны с недостаточной разработанностью энергетической концепции языка. Ведь все ключевые психологические понятия группируются вокруг деятельности субъекта, состоящей в процессе обмена энергией (а также информацией и веществом) между субъектом и окружающим миром. Крайне затруднительно провести формальное разграничение между моментами собственной речевой деятельности говорящего и моментами отражаемой (изображаемой) в дискурсе неречевой деятельности. Модальная логика, сосредоточенная на модальных операторах [см. Петров, 1982], здесь бессильна помочь, так как авторская мотивация содержит разнообразные компоненты (волевые, эмоциональные и др.), которые не могут быть локализованы только в модальных операторах; они разлиты по всему дискурсу от морфем до самого синтаксического построения да вдобавок еще и переплетены с мотивацией изображаемых в нем лиц, не говоря уже о выраженности мотивационной сферы личности самого автора и его отношения к возможному адресату.

Далеко не всегда легко провести границу между языковой эвалюацией и другими явлениями, которые невозможно подвести под рубрику установления ценностных соответствий посредством мыслительной операции или под рубрику коммуникации. В частности, особого рассмотрения заслуживают креативные моменты в языке, деформирующие и разрушающие эвалюативные шаблоны.

Мерой эвалюации может послужить любой общепризнанный эталон и любой общеизвестный предмет, с которым сопоставляется объект эвалюации. Два объекта могут стать вместе мерой для некоторого третьего. При эвалюации-сопоставлении и объект, и основание эвалюации являются сущностями одного порядка. При оценочной эвалюации производится соотношение объекта с некоторой сущностью более общего порядка, дающей в результате абстрактную количественную или качественную оценку.

Сопоставительная эвалюация, связанная с так называемым семантическим переносом (метафорой), производится как выражение имени

одного объекта эвалюации через имя другого, взятого в качестве его меры, что приводит к так называемой вторичной номинации [Телия, 1981].

В. Г. Гак [1988, 17] писал, что «в структуре метафоры особенно ярко проявляется соотношение между всеобщим, общим и особенным в языке». Новая, свежая метафора — это особенное явление. Получив регулярное употребление, метафора закрепляется в узусе, а затем и в системе, становится всеобщей, утрачивая былую экспрессивность. Узуальные метафоры вырождаются в клише.

Для эвалюативных эталонов языка характерна стереотипность, клишированность форм. Многие оценочные шаблоны, используемые и в неофициальном общении, и в других сферах, где эвалюативные формы не являются нормативно-принудительными, довольно быстро «стареют» и сменяются новыми. Не все языковые эталоны обладают одинаковой устойчивостью. Устойчивость одних обусловлена системой, других — узуальными нормами употребления.

Язык как система средств эвалюации мира выковывается в дискурсе как коммуникативном фрагменте деятельности человека. Получаемый при этом образ реального мира строится на основе эвалюативных эталонов, которые включают, наряду с собственно оценочными выражениями, множество иных языковых мер времени, пространства, свойств и отношений различных объектов. Но те же языковые меры используются и в иной функции, отличной от собственно эвалюативной, при моделировании образов, прототипы которых не существуют в реальности.

Глубинные принципы организации дискурса, по-видимому, должны корреспондировать с принципами языка-объекта, причем для их установления может оказаться значимым сегмент дискурса любого объема — от сверхфразового блока до слова и морфемы в составе этого слова. Исследуя дискурс, мы продолжаем оставаться на почве языка, предполагая, что дискурс обязан своим формированием тем фундаментальным свойствам языка, которыми последний располагает, вероятно, с момента своего возникновения.

Выводы по главе II:

1. Внутренняя диалогичность моносубъектного литературного дискурса — явление не тождественное обычному диалогу как полисубъектному дискурсу, но в их основе лежит организующий принцип, общий и для диалога, и для монолога.
2. Отношения между компонентами диалогического единства представимы в виде соответствий между преформой и репликой, соразмерность между которыми определяется как симптосимметрическая.
3. Ключевым моментом в развитии дискурса является противоречие. Дискурс может быть направлен на предупреждение противоречия

(в сфере субъект/субъект), на его разрешение (в сфере субъект/объект), на заострение (в сфере субъект/ценность).

4. Ситуативно-связанный дискурс существует в виде речевых фрагментов, являющихся связующими звеньями для внешней ситуации. Речевую выраженность находит либо регулятивный компонент, либо смысловое приращение как разница между прежней и новой реальностью, либо компонент, деформирующий отражение реальности.
5. Ситуативно-свободный дискурс является самодостаточным в структурном и смысловом отношении. В указанных сферах он формируется как коммуникативный, когнитивный или эстетически значимый дискурс.
6. Те величины, которые фигурируют в дискурсе, различны по приоритетам и образуют ряд категорий: константа/переменная, связанная/свободная, влиятельная/зависимая, действительная/мнимая, базовая/производная, заданная/сопряженная; исходная/результатирующая, и т. д.
7. Язык — важнейший фактор ориентировки человека в мире своих ценностей, производимой в дискурсе через установление ценностных соответствий — эвалюацию, средства которой являются общеизвестными, составляя системно упорядоченный набор языковых эталонов, или мер, для представления всякого рода реальных сущностей. Те же языковые меры используются и в моделирующей функции при создании дискурсивных образов, прототипы которых не существуют в реальности.

ГЛАВА III

Игровое начало в деятельности языкового сознания

§ 1. Языковое сознание как образ мира

Сознание в современной психологии — это «устойчивое и пластичное отражение реального мира в психике человека, основой которого является сенсорно-модальный образ мира, служащий материалом для дальнейшей рефлексии, носящей абстрактный (амодальный) характер» [А. Н. Леонтьев, 1983, 261].

«Сознание — не просто образ, а идеальная форма деятельности, ориентированная на отражение и преобразование действительности» [Спиркин, 1972, 80]. Сознанию присуще, наряду с образным запечатлением явлений действительности, их осознание посредством включения в систему прежних образов и узнавание при повторении, а также преобразование и сотворение образов, связанное, с целенаправленным, ценностно ориентированным характером деятельности сознания [ФЭС, 1983, 622].

Сознание человека обладает определенной архитектурой, включая множество ментальных образных пространств, формирование которых обусловлено многообразием природного мира и человеческой культуры и, вероятно, в значительной мере реализуется лингвокультурным компонентом сознания [см. Петренко, 1988].

Этот компонент принято назвать также языковым сознанием, или «языковым образом мира», который существует как в своем социально-культурном инварианте, так и в индивидуально-личностных вариантах [А. А. Леонтьев, 1988, 105]. Естественно, что в разных языках образы мира различны.

Деятельность сознания как мышление, оперирующее образами, возможна как в языковой форме (дискурс, речь), так и в неязыковой, которая может быть и предметно-образной и абстрактно-символической (математическое мышление).

При восприятии внешнего мира с участием органов чувств некоторому фрагменту мира (прообразу) ставится в соответствие его сенсорно-модальный, перцептивный образ в сознании. Чтобы получить точный перцептивный образ внешнего мира, каждой детали прообраза должна соответствовать адекватная реплика анализатора. Прообраз, принадлежащий действительности, континуален, а его анализ производится в терминах

дискретных операторов. Это дает право говорить об анализе как о расчленении целого.

Уровень расчлененности отображения зависит от масштабной специализации распознающих операторов, которые могут быть, в частности, глобальными или локальными. «Глобальные операторы, — как пишет об этом специалист в области распознавания образов М. Иден [1970, 268], — “рассматривают” не деревья, а лес в целом; они, возможно, способны отличить лиственный лес от хвойного, однако они не смогут обнаружить яблоню, затерявшуюся в березовой роще». Зато локальный оператор видит отдельные деревья, но не видит леса в целом.

Анализ, в более строгом значении этого слова, представляет собой не расчленение прообраза, а *извлечение* из него тех или иных составляющих в процессе отображения. Именно поэтому со степенью расчлененности представления мира в сознании непосредственно связан вопрос о полноте его отображения. Ответ на такой вопрос будет однозначным: мир в сознании отображается неполно. Сознание «видит» мир лишь частично, огрубленно, извлекая из него прежде всего жизненно важные параметры. Поэтому никакой перцептивный образ, даже построенный с одновременным участием всех сенсорно-модальных операторов, никогда не будет точной копией своего прообраза. Можно говорить лишь о степени полноты или неполноты этого отображения.

Языковое сознание — это *вторая* ступень отражения реальности, на которой перцептивные образы приобретают языковое представление. При дискурсивном отображении действительности лингвокультурный компонент сознания ставит в соответствие перцептивному образу, взятому в качестве прообраза, образ *языковой* с той или иной степенью детализации.

Можно вспомнить то, как описывал процесс языкового представления мысленного перцептивного образа Л. С. Выготский [1934, 313]: «Если я хочу передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вижу все это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова».

Сказанное ранее о неполноте отображения мира на уровне перцептивных образов еще в большей степени справедливо для языковых образов. По отношению к отражаемой действительности языковой образ является еще более схематичным, чем перцептивный. Так называемая адекватность (одно-однозначность) отображения мира в конкретном языке — это иллюзия, которая сразу же становится очевидной при сопоставлении картин мира, принадлежащим разным языкам. При сопоставлении дискурсов разных языков, в которых отображен один и тот же фрагмент действительности, немедленно заявляют о себе *лакуны* каждого из этих языков,

то есть, частичная аналитическая «слепота» соответствующих языковых сознаний даже при тождественном восприятии на уровне сознаний перцептивных. Сопоставление на уровне выражения модусов восприятия (зрительного, слухового и т. д.) [Рузин, 1994] обнаруживает их несовпадение в разных языках. Хорошо известно что, там, где русское языковое сознание «видит» синий и голубой цвета, французское «видит» только цвет *bleu*. С другой стороны, обозначение оранжевого цвета — явно недавнее приобретение русского языка, заимствованное из французского.

Сознание действует и в другом режиме, синтетическом. На уровне сенсорно-модального сознания речь идет о воображении, мысленном построении таких ситуаций, которые никогда не воспринимались субъектом; на уровне лингвокультурном этому процессу соответствует дискурсивное *моделирование* — синтаксическое порождение смысла посредством комбинаторики языковых средств.

При отражении ситуации — перцептивном и языковом — характер образа детерминирован его реальным прообразом. При воображении такой детерминации нет, построение смысла приобретает независимый характер, вступают в действие освобожденные от диктата среды механизмы спонтанной активности сознания, наряду с самопроизвольно всплывающими и исчезающими образами реальности в сознании возникают и фантастические видения.

Процесс говорения тоже носит в значительной мере самопроизвольный характер. Распространенное мнение о том, что всякий речевой акт определяется некой «коммуникативной интенцией», слишком категорично. Как писал Ф. де Соссюр [1990, 41], «из всех сопоставимых действий языковой акт, если его можно так назвать, имеет характер наименее осознанного, наименее обдуманного заранее действия и в то же время наиболее безличного из всех действий».

Необходимо учитывать и то, что дискурс как процесс деятельности языкового сознания может не получить устной звучащей формы или письменной текстовой фиксации, спонтанно реализуясь как внутренняя речь. Многое из того, что мы «имеем в виду» при говорении, остается «за кадром» сказанного, в том числе синкопированная внутренняя речь и опущенные — по умолчанию — «фоновые» знания, принадлежащие нашей общей культуре — лингвокультурному метатексту.

Разумеется, что наши суждения о спонтанном характере процессов, латентно протекающих в языковом сознании, мы можем выдвигать, лишь основываясь на том материале, который нам поставляет произносимый дискурс. Естественнo связать эти самопроизвольные процессы с игровыми (людскими) моментами в речевой деятельности, которые нередко идут вразрез с требованиями системы, нарушают общепринятые семантические и формальные правила в оперировании образами, выраженными в языковых формах.

§ 2. Игровой фактор в языке

В ряде лингвистических работ речь идет о «языковой игре» как о своеобразной реализации поэтической (эстетической) функции языка, что приводит в том числе и к комическим эффектам [Земская, 1983, 172]. Ю. И. Левин [1994, 146–147] считает, что об игровом использовании языка следует говорить «в тех случаях, когда “плетение словес”, самоцельное или подчиненное той или иной внеречевой задаче, является доминантой высказывания». Сюда он относит самоцельную игру слов (каламбуры, специфические приемы и жанры в поэзии) и использование языка как средства создания игровой ситуации: розыгрыши, игровой фольклор, литературную фантастику и т. п.

Э. М. Береговская [1996, 39], исследуя молодежный сленг, находит среди прочих характерных его черт и людическую направленность: игровой принцип реализуется в сленге как создание своего рода коллективной маски, как карнавализация.

С игровым моментом связан и процесс развития речи в онтогенезе. Л. С. Выготский [1984, 69] отмечал, что «игра есть основной путь культурного развития ребенка, и, в частности, развития его знаковой деятельности». Д. Б. Эльконин пришел к идее о связи формирования языковых знаков и момента ролевой рефлексии в игре детей: «Если верно мое предположение, что знак в своей генетически первичной форме обозначает другого человека, — писал Д. Б. Эльконин [1989, 518], — то роль в игре и есть первое знаковое образование. Оно становится возможным только благодаря отделению ребенка от взрослого при возникновении самостоятельных действий, в которых взрослый становится их внутренним образом».

У Л. Витгенштейна «языковой игрой» называется усвоение значений слов детьми в процессе словоупотребления, а также некое «целое, состоящее из языка и тех видов деятельности, с которыми он сплетен» [Витгенштейн, 1985, 82]. Говорение на языке — это всегда составная часть некоторой деятельности, некоторой «формы жизни». В качестве примеров «языковых игр» автором приводятся: приказание и исполнение приказов, описание и изготовление предметов по описанию, сочинение и чтение рассказа, притворство, отгадывание загадок, описание арифметических действий, перевод с одного языка на другой, и т. д.; фактически любые речевые действия Витгенштейн квалифицирует как игровые.

Знаменитый историк культуры Йохан Хейзинга считал игру формирующим началом для последней: «человеческая культура возникает и развивается в игре и как игра» [Хейзинга, 1992, 7]. Игровое начало, по Й. Хейзинга, противопоставит *принудительности* внешнего мира: «Только с вмешательством духа, снимающего эту всеобщую детерминированность, наличие игры делается возможным, мыслимым, постижимым. Бытие игры всякий час подтверждает, причем в самом высшем смысле, супралоги-

ский характер нашего положения во Вселенной. Животные могут играть, значит, они уже нечто большее, чем просто механизмы. Мы играем, и мы знаем, что мы играем, значит мы более, чем просто разумные существа, ибо игра есть занятие внеразумное» [Хейзинга, 1992, 13].

Если принять *внеразумность* как некое обобщенное свойство игры, то и детскую забаву, и резвление животных, и «игру» природных сил придется в равной мере считать игрой. У Гегеля написано: «Природа есть отчужденный от себя дух, который в ней лишь *резвится*; он в ней *накхический бог*, не обуздывающий и не постигающий самого себя» [Гегель, 1975, 26].

Согласно современным естественно-научным представлениям, над законами природы, управляющими физическими явлениями, господствуют, в свою очередь, принципы симметрии [Вигнер, 1971, 45]. Может быть, и природа, в конечном счете, есть игра принципов симметрии, которые так или иначе заявляют о себе на всех уровнях организации и физического и мыслимого мира.

Й. Хейзинга относит к отличительным признакам игры следующие: свободный характер, особый собственный смысл игры (самоценность), нередко возвышенный и священный; временную и пространственную ограниченность, обособленность от остального мира, таинственность для непосвященных (маскировка), собственные правила и особый порядок, связывающий игру со сферой эстетического [Хейзинга, 1992, 17–24]. Он указывает также на состязательную функцию игры, объединяя ее с функцией представления: «Игра “представляет” борьбу за что-то, либо является состязанием в том, кто лучше других что-то представит». Представление в этом смысле может быть и простым показом чего-либо, и «транспонированием» действительности в более высокий порядок, в том числе — священнодействием [Хейзинга, 1992, 25]. Любопытно, что в архаической культуре, по данным Й. Хейзинга [1992, 68], явные нарушители правил изгонялись из игры, но допускалась «игра в игре» — плутовство: плутующий игрок не портит игры, хотя и скрытно нарушает игровые правила.

Игра, по одному из определений, данным Й. Хейзинга [1992, 152], есть «действие, протекающее в определенных рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы или необходимости».

Внеутилитарность игры является ее принципиально важным признаком, противопоставляющим игру всякой иной несамоцельной, утилитарной деятельности. Кроме того, игровое противопоставляется «серьезному», неигровому. Впрочем, Хейзинга по этому поводу замечает [1992, 15]: «Смех тоже в известном смысле противопоставит серьезному, однако между ним и игрой нет необходимой связи».

Каким же предстает в игровой концепции Хейзинга непосредственно интересующий нас предмет?

«Возьмем язык, самый первый и самый высокий инструмент, созданный человеком для того, чтобы сообщать, учить, повелевать. Язык, с помощью которого он различает, определяет, констатирует, короче говоря, называет, то есть возвышает вещи до сферы духа. Дух, формирующий язык, всякий раз перепрыгивает *играючи* [здесь и далее курсив наш. — В. Б.] с уровня материального на уровень мысли. За каждым выражением абстрактного понятия прячется образ, метафора, а в каждой метафоре скрыта *игра слов*. Так человечество все снова и снова творит свое выражение бытия, рядом с миром природы свой второй, *измышленный мир*. Или возьмем миф, что также является претворением бытия, но только более *разработанным*, чем отдельное слово. С помощью мифа на ранней стадии пытаются объяснить все земное, найти первопричины человеческих деяний в божественном. В каждой из этих причудливых оболочек, в которые миф облакал все сущее, изобретательный дух *играет* на рубеже шуток и серьезности» [Хейзинга, 1992, 14].

Итак, под маской «серьезных» форм языка — инструмента прагматического и рационального действия — повсюду скрывается игровое начало, строящее рядом с реальным миром ирреальный, измышленный. Оно проявляет себя как в слове, так и в его комплексном аналоге — мифе. Какова же внутренняя логика мифа как дискурса?

Я. Э. Голосовкер выявил лежащую в основе мифа иррациональную логику чудесного, где все аксиомы логики здравого смысла отменены, но где «все стало аксиомой»; где абсурд уже не абсурд, где все нелепое — лепо, все ложное — истина; где достижимо все недостижимое, выполнимо все невыполнимое; где представлено непредставимое, а мнимое преподносится как реальное. Логика чудесного *играет* временем, пространством, свободой воли, в ней «воочию осуществляется великий закон метаморфозы, основоположный закон природы, ее самый таинственный закон: ... *любое может быть обращено в любое*» [Голосовкер, 1987, 45].

§ 3. Образ: предметность, ценность, синергия

Слово языка, традиционно представляемое как знак, имеет в качестве своего «означаемого» некий обобщенный аналог предмета или явления, некий застывший конструкт, который как бы замещает собой предмет речи. Понимание значения слова как «предметного» претерпело ряд модификаций с введением более специализированных терминов, таких как «понятие», «представление», «референт», «денотат» и др., что однако не приблизило «метаязыковое сознание» лингвиста к осмыслению родства категории значения с категорией деятельности. Впрочем, разрушать старую парадигму представлений о языковом знаке начал еще сам Ф. де Соссюр, создавший учение о языке как о системе ценностей (значимостей,

valeurs). Соссюр выделял два существенных свойства ценности: свойство соотносить элементы, образующие систему, и свойство соотносить предметы «обмена» [Соссюр, 1990, 193]. Тем самым языковая единица, взятая как ценность, получила, в силу своей способности *соотносить*, не только реляционную, как это принято считать, но и *операторную* характеристику.

Ценность — это потенциал важности, нужности, значимости для человека в его деятельности, который может определяться как для внеязыковой, так и для языковой сущности.

Языковая единица, будучи ценностью системы (обладающая системной значимостью), в то же время является носителем *образа* некоторой внешней по отношению к себе ценности. Это может быть образ и предмета, и действия, и отношения, и целой ситуации как фрагмента мира. Но ценность объекта, представленная в духе аксиологии, связывается по традиции в первую очередь с его полезностью/вредностью. Например, для указания на неблагоприятный результат деятельности вводится термин «антиценность» [Суходольский, 1988, 102]. Понятие ценности, взятое в аксиологической плоскости, не получает углубленной разработки; всякая деятельность при этом связывается с целеполаганием, из чего должно следовать, что и самоценная деятельность, например, эстетическая, разворачивается только в силу того, что субъект оценивает ее как «полезную».

Поиск выхода из предметно-аксиологического тупика в представлении образов деятельного сознания намечался в работах А. Н. Леонтьева [1983, 236–237]: «Если взглянуть на жизнь сознания, на его динамическое состояние, то, пожалуй, главное противоречие как раз и есть несовпадение того, что я называю *значением*, т. е. общественно-историческим опытом, опредмеченным в орудиях труда, социальных нормах и ценностях и понятиях языка (того, что усвоено), и того, что я называю “*значением для меня*”, *личностным смыслом* (означаемого или означенного) явления». Раскрытие личностного смысла — это, по А. Н. Леонтьеву [1983, 236], двоякая задача: «во-первых, задача на открытие “значений для меня” моего собственного действия, моего поведения, меня самого и, во-вторых, задача выражения открытого, найденного». Главную сферу раскрытия личностных смыслов психолог видел в эстетической деятельности, где они воплощаются в творческих образах.

В первооснове смыслового образа заложен не сам предмет как таковой, а действие личности по отношению к данному предмету. Это действие однако не может быть оторвано от свойств самого предмета: не только я как-то обращаюсь с предметом, но и предмет по своему «обращается» со мной, оказывает на меня влияние. Так, формирование сенсорного образа мира, согласно А. Н. Леонтьеву [1983, 258], имеет в своей основе именно *взаимодействие* субъекта и объекта.

Необходимо осмыслить этот не односторонний, но двусторонний характер отношения человека и мира, а не человека к миру.

Предвосхищая идеи современной синергетики, П. А. Флоренский писал в свое время [1990, 286]: «Связь бытий ... есть синергия, содеятельность бытий. ... Она не состоит в тождественном равенстве ни с одним из бытий, будучи *новым* в отношении каждого из них; но она *есть* каждая из них».

Размышляя над природой языка, философ пришел к убеждению: «Слово синэргетично» [Флоренский, 1990, 263]. «Слово *больше* себя самого. И притом, *больше* — двояко: будучи самим собою, оно вместе с тем есть и субъект познания и объект познания» [там же, 293]. «В слове уравниваются и приходят к единству две накопившиеся энергии. ... Оно не есть уже ни та, или другая энергия порознь, ни обе вместе, а новое двуединое энергетическое явление, новая реальность в мире. ... Но нельзя сказать: «оно само по себе». Без того или без другого из соединяемых им полюсов оно вовсе не есть» [там же, 292].

Слово, как синергетический феномен, есть *образ взаимодействия* субъекта и объекта.

Уравновешивая эти два сопряженных полюса, образ взаимодействия выступает по отношению к ним как *интерполент*, индуцированный их взаимным влиянием. Локализация образа-интерполента возможна как между двумя полюсами, так и в пределах одного из них. Так, при явлении резонанса, в интерпретации П. А. Флоренского [1990, 286], «в резонаторе колеблется не только *его* энергия, и не энергия только вибратора, а *синергия* того и другого». Эта «синергия» и есть динамический образ взаимодействия двух полюсов — вибратора и резонатора, причем сформировавшийся *внутри* резонатора. Так и слово порождается в пределах сознания субъекта, будучи интерполентом его взаимодействия с объектом.

Слово в его звуковой оболочке — это форма, дискретная сущность, схватывающая, фиксирующая зыбкий синергетический образ, индуцированный в сознании субъекта.

Возможно также и обратное направление индукции, проективное: сформированное слово способно индуцировать в сознании породившие его полюса. В этом случае слово будет уже *экстраполятором*, воссоздающим структуру исходной ситуации.

Если в зону взаимодействия сопрягаемых полюсов попадает слово, уже сформированное другими полюсами, то оно подвергается вторичной синергетической индукции и приобретает новый смысловой заряд, отличный от прежнего. Сопрягаемые полюса подстраивают к себе чуждое для них слово. Тем самым слово подвергается *транспозиции*, вызывающей в нем неожиданное изменение смысла, и созданный в итоге образ-интерполент обогащает собой сознание.

Сквозь образы взаимодействия и взаимодействие образов неизменно проглядывают глубинные принципы симметрии, которая «играет» своими полюсами в синергетическом поле сознания.

§ 4. Самоотражение говорящего субъекта в дискурсе

Выдающийся физиолог Н. А. Бернштейн одним из первых выдвинул понятие моделирующей деятельности сознания: «Мозг не запечатлевает поэлементно и пассивно вещественный инвентарь внешнего мира, ... но налагает на него те операторы, которые моделируют этот мир, отливая модель в последовательно уточняемые и углубляемые формы» [Бернштейн, 1990, 421]. Проводя аналогию между естественным языком и системами исчисления, он указывал на ведущую роль слов-операторов в языке по сравнению со словами-номинаторами, он считал, что «может быть, на заре человеческого разума именно эти операторы — слова и мысли — явились величайшим открытием, во всяком случае безмерно более значительным, нежели создание слов-номинаторов» [Бернштейн, 1990, 436].

Оператор в системах исчисления — это носитель определенного закона соответствия (композиции, преобразования), которое устанавливается между исходными объектами (термами, операндами), обычно при посредстве некоторого действия — операции. В зависимости от своей мощности (валентности) оператор способен реализовать себя не только в единственной конкретной операции, но и в целом ряде операций, различных по силе и направленности. Среди операторов системы может быть выделено некоторое множество базовых, по отношению к которым другие операторы являются производными. Базовые операторы, в свою очередь, могут быть подчинены главному — *форматору* системы — и выступать в качестве его операндов.

Для дискурса естественного языка таким главным моделирующим оператором является сознание говорящего субъекта. Когда в дискурсе встречается так называемое авторское «я», то это «я», даже относясь к личности говорящего, не совпадает с нею. Оно представляет собой одну из возможных позиций, «инстанций» говорящего, которую его сознание соотносит в качестве операнда с некоторым другим операндом, предметом речи. Существенно то, что сам главный оператор, или *рефлектирующая инстанция*, от которой исходит установление всякого рода соответствий, никогда не представлена в дискурсе отдельной формой, она всегда пребывает «за кадром», существуя только в своих производных величинах.

По мнению Г. П. Щедровицкого, для осуществления рефлексии субъект должен совершить так называемый «рефлексивный выход»: «Нам важно подчеркнуть, что во всех случаях, чтобы получить подробное описание уже произведенных деятельностей, рассматриваемый нами индивид ... должен выйти из своей прежней позиции деятеля и *перейти* в новую позицию, внешнюю как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отношению к будущей, проектируемой деятельности. Это и будет то, что мы называем *рефлексивным выходом*; новая позиция деятеля, характеризующаяся относительно его прежней позиции, будет называться *рефлексивной позицией*» [Щедровицкий, 1995, 274–275].

Если принять, что сознание является для себя одновременно и субъектом и объектом рефлексии, то возникает парадоксальная ситуация. Чтобы осуществить рефлексию, сознание должно сначала сделать «рефлексивный выход», то есть занять внешнюю позицию по отношению к себе. Однако, сознание не может выйти за пределы самого себя и, тем не менее, оно осуществляет рефлексию. В силу того, что процесс рефлексии является имманентным сознанию, по-видимому, не рефлектирующая инстанция «занимает внешнюю позицию» по отношению к рефлектируемой, а наоборот, дело обстоит так, что рефлектируемая инстанция *попадает во внутреннюю позицию* по отношению к рефлектирующей.

Рефлексия — это отражение сознанием самого себя, некое удвоение фрагмента в пространстве образов мира, в результате чего сознание приобретает способность оперировать своими собственными образами. В результате самоотражения сознание расщепляется на две инстанции — рефлектирующую, активную, выступающую в роли оператора рефлексии, и рефлектируемую, «пассивную», которая является объектом рефлексии и одновременно образом, «копией» ее субъекта.

Но самоотражение — это лишь первая ступень рефлексии. Далее полученный образ может подвергаться различного рода преобразованиям, вовлекаясь в творческую, моделирующую деятельность оператора рефлексии.

Эти моменты проявляются в ходе порождения ситуативно-свободного дискурса, форматор которого может произвести измененную «копию» самого себя. Так, например, ценностно ориентированная позиция субъекта, так называемое «Я» рассказчика, получает остранение от рефлектирующей инстанции и становится ее операндом — объектом управления, одновременно исполняя и функцию субформатора (дискурсивного представителя автора), как бы порождающего дискурс от своего лица. В дискурсе производными операторами являются не только разные авторские «я», но также и другие субъекты информации и действия, вводимые говорящим.

Посредники субъекта речи в дискурсе художественного произведения (авторское «я», рассказчик, наблюдатель или участник действия, «всезнающий автор» и т. д.), могут, в свою очередь, выдвигать новых посредников и далее вступать во взаимодействие с этими своими производными. Так создается «многоголосие» дискурса, переключки смыслов на разных уровнях — позиций автора, «сознаний», точек зрения, персонажей, отдельных высказываний, отмеченных видением какого-нибудь из авторских «посредников» и т. д. Отсюда и явление «рассказа в рассказе». Авторская же «закадровая» рефлектирующая инстанция — главный оператор дискурса — всех этих посредников, по известному выражению В. В. Виноградова [1971], «держит в лоне своем».

Отметим, что процесс порождения производных операторов носит *рекурсивный* (возвратно-поступательный) характер. Рекурсия обеспечивает развитие «сложного из простого» по следующему принципу: динамиче-

ская система создает аналоги своих базовых операторов (преобразователей), вступающих затем в рекурсивное взаимодействие с объектами преобразования и между собой [см. Анисимов, 1988, 6].

Объектами преобразования являются и образы представляемой реальности, попадающие в фокус рефлексии. Образом представляемой реальности у каждого говорящего будет его индивидуальная версия. Версии одного и того же прообраза у разных говорящих отличны друг от друга, но при их сопоставлении можно извлечь образ, который будет смысловым инвариантом. Смысловой инвариант — это то, что является общим для всех версий, он может быть уже известным как абстрактный аналог социально выработанного «значения» [см. А. А. Леонтьев, 1993, 19] и достаточно тривиальным. Новым же будет, очевидно, смысл, индуцированный на основе того, в чем версии друг другу противоречат. Этот новый смысл схватывается как образ-интерполент — посредством сопряжения языковых форм, подчиненного имманентным принципам творческой ступени рефлексии.

Можно отметить определенный параллелизм в ступенях усложнения игровых процессов и деятельности языкового сознания, связанной с рефлексией:

- а) игра в слитности ее процессов с процессами природного окружения — и этап формирования перцептивных образов и спонтанной нерелективной коммуникации;
- б) игра как «удвоение» мира — и этап примитивной рефлексии в языковом сознании, дублирующей образ мира параллельно с сенсорным образом;
- в) игра ролевая, где игрок управляет своей ролью, — и появление производных операторов в речи; главный оператор — аналог игрока-распорядителя;
- г) игра как соперничество (конфликт) — и рефлексия, сопрягающая несовместимые конфликтные образы;
- д) игра в игре — и метаязыковое сознание, где объект рефлексии — сам язык, дискурс;
- е) наконец, можно сопоставить деловое использование игры и языка, когда говорящий, заняв действительно *внешнюю* позицию по отношению к своей речи, пользуется ею как орудием для достижения поставленной цели.

§ 5. Деятельность деловая и игровая: стандартное и особенное

В реальности игровая и неигровая деятельность настолько переплетаются между собой, что часто к играм относят и несамоцельные виды активности. Например, у Эрика Берна [1988] игры — это транзакции,

в которых важна выгода, выигрыш. Й. Хейзинга писал, в частности, что в современном спорте «древний игровой фактор уже успел отмереть» — многие игры стали приносить доходы и превратились в «серьезные» занятия [Хейзинга, 1992, 223]. Если в качестве основополагающего признака игры выделить ее неутилитарность, то антиподом ее станет утилитарная, деловая активность, диктуемая целью и в этом смысле носящая принудительный характер, противоположный *непринужденности* игры.

В деловой активности каждый участник-деятель испытывает детерминированность со стороны распорядителя дела, цели и обстоятельств ее достижения. Детерминирующим фактором является и сама потребность удовлетворения насущных нужд, извлечения пользы.

Игровая активность неутилитарна, не имеет задачи, находящейся во внешнем, по отношению к игровому полю, мире. Распорядитель в игре, если он существует, олицетворяет собой порядок игры и ее имманентные правила, которые принимаются всеми игроками добровольно.

Деловая активность протекает в реальном мире, каждый ее участник выполняет свою функцию, оставаясь реальным индивидом, хотя при этом его достоинство определяется сообразно рангу выполняемой функции. Участник может не знать всех деталей и всей полноты задачи, исполняемой совместно с другими деятелями, и получать информацию о них в ходе самой деятельности, условия которой подвержены изменчивости, в том числе и в силу ее неособобленности от влияния внешних факторов.

Игра разворачивается в ирреальном плане, в измышленном мире, обособленном от внешнего. Ее участник является исполнителем роли, которая может сопровождаться маской, «переодеванием». Игрок как фигура ирреального игрового мира приобретает особое игровое достоинство, в чем он равноправен с другими игроками. Условия игры заданы предварительно и остаются неизменными на весь период ее протекания, хотя сами игровые ситуации носят вероятностный (виртуальный) характер.

В деловой активности индивиды обладают функциональными достоинствами, субординационно упорядоченными по отношению к главной функции распорядителя. В игре же все участники равноправны по достоинству; они могут играть «каждый за себя» или же объединяясь по координационному принципу: даже возможное лидерство не задано как функция, а является ролью, которая может переходить от одного игрока к другому, следуя складывающимся игровым ситуациям. Это не исключает наличия в игре своеобразных, не носящих принудительного характера, но связанных с игровой фантазией ранговых отношений.

В деловой активности ограничения на применение тех или иных действий или средств существуют в виде общих социальных установлений — законов, норм, инструкций по технике безопасности и т. п. В игре также существует свой кодекс правил, нарушители которых подвергаются наказанию в установленном порядке. В этом пункте можно усмотреть явное

сходство игры с неигрой. Но заметим, что правила игры являются не только добровольными, но и в известных пределах произвольными, определяемыми по соглашению между ее участниками, тогда как в деле они диктуются прежде всего целесообразностью. Правила в игре могут быть жесткими или ослабленными, сложными или упрощенными. Они могут быть «классическими» или измененными. Из состязательной, игра может быть обращена в игру «в поддавки».

Фактор борьбы, соперничества (агоническое начало) не представляется неперменным внутренним фактором ни для деловой, ни для игровой активности. В деловой активности успех определяется как раз взаимодействием участников в преодолении сопротивления внешней среды. Появление конкуренции и борьбы между участниками за достижение выгодной цели, перерастающее во вражду, может завершиться тем, что ни одна из сторон не получит выгоды. В игре состязательность становится принципом ее организации, и игровая конкуренция — личное или командное первенство в соревнованиях и пр. — не является бескомпромиссной борьбой. Состязательность ограничена строго определенными правилами.

Игра является удобным способом облагородить любую активность, сделать ее достоянием культуры. Может быть, и агоническое начало, схватка «не на жизнь, а на смерть» была окультурена именно игровым путем, превращением схватки в ритуальное действо, тем более что игра — это еще и тренировка в овладении приемами борьбы на случай встречи с действительным неприятелем. Игра в ее естественной, недеформированной форме представляет собой достаточно мудрое из поведений, соблюдающее высший принцип этики «не повреди».

Из определяющих свойств игровой деятельности мы особо выделим ее *имманентность*. Представляется, что настойчивое введение правил в большинство игр не столько сковывает их внутренне свободный характер, сколько служит средством отграничения от остального детерминированного мира и построения *уклоненного от господства принудительности, обособленного, особенного мира со своими собственными правилами*. Правило в игре может быть антиподом, отрицанием некоторого правила, действующего вне игры, оно может быть и абсурдным. Имманентность игры не исключает, а наоборот, предполагает существование игры, в которой правилом будет отсутствие каких бы то ни было предзаданных правил.

Внеразумность — другое определяющее свойство игры, которое выделил Й. Хейзинга. Но полностью внеразумная игра стихийна, спонтанна, а, следовательно, и независима от управляющего действия рефлексии, назначение которой — быть не *вне* разума, а *над* разумом, подобно критике, который подвергает достижения рациональной сферы сомнению, вступая с ней в диалог, исполненный остроумного скептицизма.

Внеразумна игра как стихийное движение образов, как произвольная игра «резвящегося духа». Игра, в которой спонтанные процессы нахо-

дятся под управляющим воздействием субъекта, — это игра-импровизация, носящая не вне-разумный, а над-разумный характер. В отличие от чисто спонтанной игры, которая «забывает» предшествующие ситуации и совершенно не предвидит последующих ходов, игра-импровизация, сохраняя свой непринужденный характер, вносит элементы произвольности, учитывая предыдущие ходы и прогнозируя последующие.

Итак, наряду со стихийной игрой и игрой регулярной (по правилам), можно рассматривать отдельно также игру-импровизацию, которая вышшеается над разумом человека как некая практически рефлектирующая инстанция.

В этой «надразумности» игры, по-видимому, заключается важное зерно рефлексии.

Игра может быть использована утилитарно, для достижения внешней по отношению к ней цели (выигрыша). Но и деловая с виду активность может оказаться самоцельной. «Деловая игра» как имитационная модель деловой ситуации остается игрой, поскольку ею управляют имманентные правила; характерно, что для анализа правил деловой игры авторами привлекаются эстетико-философские разработки, в частности, идеи М. М. Бахтина [см. Крюков, Крюкова, 1988]. Напротив, игровая с виду активность может оказаться на поверку «игровым делом», управляемым конкретной внешней целью, то есть это будет деловая активность, лишь использующая игровую форму.

Деловая игра — это практическая рефлексия над вероятной ситуацией. Игровое дело — это лишь оболочка игры, из которой изгнан дух всякой рефлексии и замещен сосредоточенностью на выигрыше, переходящей в страсть, которая «ослепляет» игрока.

Н. А. Бернштейн неоднократно обращался к аналогии моделирующей деятельности центральной нервной системы с игровой деятельностью. Подчеркивая то, что живой организм «не просто реагирует на ситуацию, а сталкивается с ситуацией», динамически переменчивой, а поэтому ставящей его перед необходимостью вероятностного прогноза, а затем и выбора, он писал: «Позволяя себе метафору, можно сказать, что организм все время ведет игру с окружающей его природой — игру, правила которой не определены, а ходы, «задуманные» противником, не известны» [Бернштейн, 1990, 439–440].

В виду неопределенности правил игры, субъект должен постоянно импровизировать свои ходы. Импровизация — это отнюдь не движения субъекта в некой пустоте, но взаимодействие его с объектом, не детерминированное правилами, заданными заранее.

Здесь мы обратим внимание на то, что субъект сталкивается с ситуацией, где господствует стихия — самопроизвольная, спонтанная игра природных сил, на которую субъект отвечает игрой-импровизацией. Игра-импровизация — это не стихийное поведение, а управляемая субъектом, произвольная активность.

Моделирование предстоящей ситуации отлично от целеполагания. При столкновении с нестандартной ситуацией модель носит вероятностный характер и возникает, в отличие от «представления о цели», во множестве вариантов, т. е. как своего рода поле информационной неустойчивости, на котором субъекту и предстоит далее сделать свой выбор. Но до момента выбора субъект должен совершить взвешивание всего спектра возможных последствий контакта с внешней системой. Наличие имманентного сознанию процесса вероятностного прогнозирования и позволяет, в частности, называть взаимодействие субъекта с неизвестной внешней системой игрой, не имеющей определенных правил.

Вероятностное прогнозирование — это многообразное отражение будущих действий субъекта в беспрецедентной для субъекта ситуации, относительно которой субъект самоопределяется сообразно оценке собственного достоинства.

Представляется, что при вхождении в неведомую область, субъект ощущает себя как бы *игрушкой* «в руках» тех незнакомых «правил игры», которые господствуют в нестандартной реальности. Лишь постепенное освоение этих правил может позволить ему повысить свое достоинство до ранга *игрока* или же распорядителя. В ранге игрушки субъект может только реагировать на стимулы внешней среды, но не взаимодействовать с нею, для чего надо стать игроком, способным предвосхищать внешние воздействия в освоенной реальности, а также способным к импровизации в нестандартной ситуации.

Степень контраста между стандартизированной, освоенной реальностью и реальностью нестандартной может быть разной: от нерезкого, незаметного, плавного перехода между ними, до радикального, скачкообразного, отмеченного некоторой границей или областью разрыва, излома, изгиба. Сама нестандартная реальность, как *особенность*, или *сингулярность*, предстает как некая область, контрастирующая со своим упорядоченным по уже известному принципу окружением.

В соответствующей литературе отмечается «эффект границы», который обладает притягательностью для всего живого. «Например, этологам хорошо известно, что опушка леса, берег моря, граница распаханного поля и вообще любая особенность на однообразной местности неудержимо притягивают к себе всякое живое — птиц, зверей, насекомых... Наши предки также предпочитали селиться не посередине однообразного — степного ли, лесного ли — массива, а вблизи какой-то особенности, будь то река, берег моря, граница леса и т. п. Наконец, если посмотреть, как вообще распределена жизнь на Земле, то мы увидим, что она кишит главным образом на границе трех сред — океана, суши и атмосферы» [Голицын, Петров, 1990, 71]. Авторы считают, что «эффект границы» связан с большей энтропией — большим разнообразием стимулов, максимальной информативностью области вблизи границы, чем вдали от нее.

Таинственные свойства сингулярностей не могут быть адекватно раскрыты в терминах деловой, утилитарной активности. Не только полезные, но и сопряженные с риском для жизни, даже губительные граничные особенности (вершина горы, дно моря, полярная область, кратер действующего вулкана и т. п.) обладают все той же таинственной притягательностью, внеутилитарный характер которой заставляет думать о ее сопряженности с неким игровым началом, скрытым в сингулярности.

Здесь со всей очевидностью заявляет о себе еще одно свойство игровой деятельности — *итеративность*. Субъект, вступив в игровое взаимодействие с объектом, может продолжать это взаимодействие неограниченно долго, например, до тех пор, пока, например, не истощатся его энергетические ресурсы. Взаимодействие в деловой активности может тоже повторяться, но лишь до тех пор, пока после череды попыток субъект не достигнет цели. В самоцельной деятельности смыслом является не достижение цели, а движение к ней. Поэтому добровольный путешественник, покидая горы или море, чувствует не удовлетворение, а сожаление. Что движет субъектом в игровом взаимодействии, когда эта игра еще не стала игрой регулярной (по правилам) и не приобрела формальной цели? Едва ли им руководит «принцип удовольствия», так как настоящая игра нередко требует большого напряжения физических и духовных сил. Многократное взаимодействие с природным многообразием способствует росту потенциала самого субъекта и, следовательно, его собственного *достоинства* как результата саморазвития: самопознания, происходящего параллельно с познанием ключевой особенности объекта, и самосовершенствования, происходящего параллельно с культурным освоением особенного пространства.

Вероятно, этот момент, момент саморазвития, который обычно не принимается во внимание, и оказывается главной движущей силой в самоценной активности, а вовсе не принцип удовольствия, который ничем не отличается по сути своей от принципа цели; к тому же для получения удовольствия вовсе не обязательно выходить за пределы стандартного окружения, что просто необходимо для саморазвития. Итеративность игровых действий оттачивает и *закрепляет* функции субъекта применительно к той особенности, с которой он взаимодействует, обогащает потенциал его способностей, а, значит, и степеней свободы в последующей импровизации: наработанные действия могут повторяться в несколько *измененном* виде и в иной среде, с вариациями.

На уровне социального взаимодействия момент итеративности проявляет себя и в ритуальных, и в тренировочных действиях, и в обучении, т. е. снова и снова в игровом плане. Повторение, рекурсивное действие, оказывается, во-первых, важнейшей основой для последующего созидания. Во-вторых, отдельные циклы деятельности закрепляются, посредством игрового повторения, моделирующего некоторую ситуацию, в статусе типовых, стандартных действий, правил, законов, формул, аксиом. Обще-

ственно закрепляются не любые сегменты деятельности, а те, которые содержат ключ к освоению действительности. При этом само ключевое действие не обязательно выделяется, осознается. Моделируется весь «магический» цикл, содержащий этот ключевой, особенный момент, который может быть схвачен и в ходе стихийного взаимодействия с объектом.

§ 6. Сопряженные явления в динамической среде

Обобщенно особенность может быть представлена как некоторая *деформация* монотонной среды, неоднородность, контрастирующая с нею, деформация, которая сама может разрастаться, принимая вид точки, штриха, границы, зоны и, наконец, среды, противоположной по своим характеристикам исходной среде.

Особенность монотонной среды может проявиться как впадина, депрессия, и как выпуклость на ней или пиковая точка. В динамической, движущейся среде особенностью может быть точка, или зона, структурной неустойчивости, контрастирующая с устойчивой окрестностью, или, напротив, точка устойчивости, контрастирующая с неустойчивой окрестностью. Между устойчивой и неустойчивой зоной может протекать граница, также являющаяся особенностью.

В описаниях физических систем некоторые из особенностей получили название *аттракторов*, благодаря их свойству служить организующим началом в хаотическом фазовом пространстве [Арнольд, 1990]. Некоторые из аттракторов, в силу непредсказуемости их появления, называются «странными аттракторами».

В языке как системном блоке сознания тоже действуют своеобразные аттракторы, например, в области лексики. Как это было установлено М. М. Маковским, в лексическом составе языка существуют определенные тенденции к избирательному взаимодействию между словами. При этом среди слов обнаруживаются: «1) элементы, притягивающие только определенные лексемы, но отталкивающие все остальные (положительная избирательность); 2) элементы, отталкивающие только определенные лексемы в данной системе, но притягивающие все остальные (отрицательная избирательность); 3) элементы, только отталкивающие все другие лексемы; 4) элементы, только притягивающие все другие элементы; и, наконец, 5) элементы, которые сами по себе не способны ни отталкивать, ни притягивать какие-либо другие элементы, входящие с ними в соприкосновение, но могут отталкиваться или притягиваться другими элементами» [Маковский, 1971, 127]. Среди указанных величин обнаруживаются четыре типа влиятельных и один тип зависимых. Влиятельные величины (элементы 1–4) — это различным образом действующие аттракторы. Зависимые величины (под номером 5) — это своего рода «актанты» для влияющих на них аттракторов.

Очевидно, что явление аттракции в этом смысле не означает буквального физического притяжения одних существ другими. Аттрактор, действуя в лексико-семантическом пространстве, задает ориентацию его элементам. Но элементы, получив новую ориентацию, могут оказать влияние на своих соседей, что создает непредсказуемые сопряженные эффекты.

Аналогичные процессы, очевидно, могут иметь место в любой человеческой деятельности. Если в деятельности результат задан заранее, то все разветвления ее ходов должны сходиться в фокусе результата. Но возможны и другие виды результата — неожиданный, индуцированный стечением обстоятельств, а также побочный результат, который, согласно наблюдениям Я. А. Пономарева [1976, 193], «возникает помимо сознательного намерения, складывается под влиянием тех свойств предметов и явлений, которые включены в действие, но не существенны с точки зрения поставленной цели».

В деловой активности заданный результат обладает первостепенным приоритетом, и все усилия направлены на то, чтобы избежать возможных расхождений с ним. В игре как в самоцельной активности дело обстоит иначе. Достоинство конечного заданного результата в ней не выше, чем достоинство разнообразных промежуточных эффектов, возникающих в процессе игры. Эти *сопряженные* результаты, в деловой активности часто остающиеся неосознанными, могут оказаться в конечном счете более важными, чем условленный, заданный результат. В этом, наверное, и заключается истинный успех в игре, который предсуществует самоцельной активности в статусе не цели, а некой смутной надежды или предвосхищения.

Смысл в дискурсе тоже может порождаться не только как заданный результат, тривиально вытекающий из применения соответствующих операторов. Гораздо интереснее неожиданное, незапланированное возникновение смысла, как явления индуцированного, сопряженного.

Сопряженные явления открываются человеку в самых разных сферах бытия, с которыми он вступает во взаимодействие. Природные силы, такие, например, как явление электромагнитной индукции, могут быть использованы человеком, но от этого они, конечно, *не становятся* операциями. Операции же, например, ввод проводника в магнитное поле и его перемещение, лишь подводят к сопряженному эффекту, но сами по себе не создают его. Человек творит, в данном случае, не посредством собственных действий, движений, операций, а посредством создания условий для комбинаторики внешних сил, которые он сводит вместе и, так сказать, подставляет действию друг друга. Это манипулирование природными силами, которые стихийно взаимодействуют между собой, а на долю человека остается лишь создать для этого подходящую ситуацию.

Каждый объект обладает некоторой ориентированностью по отношению к другим объектам, сообразно упорядочению мира. И обратно: упорядочение мира, силы, спонтанно действующие в нем, создают те или

иные объекты и одновременно определяют ориентацию объектов относительно их окружения. Миропорядок — это всегда тем или иным образом поляризованное пространство, определяющее оппозиции находящихся в нем объектов. Потенции и тенденции этих полярных противопоставлений в разных условиях заявляют о себе по-разному.

Исходное поляризованное пространство может быть снова подвергнуто поляризации посредством ввода некоего особенного объекта, что создает в исходном множестве вторичную поляризацию; в итоге наложения новой ориентации объектов на уже существующую получается гиперполяризация исходного пространства, а при отмене первичной ориентированности объектов — его реполяризация.

Действительно, если на лужайку бросить мяч, то находящиеся там и беседующие молодые люди легко превращаются в игроков, разбиваясь при этом на две команды. Мяч выступает как реполяризатор, или *катализатор*, ситуации.

В языке простейшим аналогом подобной реполяризации может служить употребление оператора отрицания *не*, который меняет смысл фразы на противоположный. Всякий элемент языка обладает своим семантическим зарядом, т. е. особым образом ориентирован, или *поляризован*, в языковой системе. Попадая в окружение других элементов, он подвергается гиперполяризации в силу семантического воздействия того или иного контекста.

Есть такие окружения, которые не вызывают изменения исходной поляризации элемента. В языковой сфере это нормативные, регулярные синтагматические контексты. Разнообразные изменения поляризации слов связаны с нарушением их типовой сочетаемости, приводящей, в частности, к образованию тропов. О возникающих при этом *каталитических* моментах пишет Б. М. Гаспаров [1996, 264]: «Выражения-тропы, рассчитанные на ярко и свежо ощущаемое наложение разных образов, играют, разумеется, огромную роль в поэтической речи. Немаловажно их присутствие и в обиходном языке, в качестве катализаторов всевозможных игровых, каламбурных, эмфатических эффектов».

Каталитический эффект становится особенно очевидным, когда смысл фразы, например, *И волки сыты и овцы целы*, искажен или вообще разрушен вводом в нее некоторого семантически неадекватного оператора или актанта, ср.: **Если волки сыты, то овцы целы; *И волки сыты, и охотники целы*.

Первую фразу можно считать семантически нормативной, хотя она логически и контрастирует с оригиналом. Вторая же — *И волки сыты, и охотники целы* — как бы пародирует оригинал; сохраняя логический шаблон, она деформирует исходную семантику, и смысловые отношения приобретают совершенно иную ориентацию, получается игровое переосмысление устойчивого выражения. Такое переосмысление является дискур-

сивной реализацией латентной процедуры в деятельности языкового сознания, состоящей в том, что в готовое стандартное высказывание вводится специальный оператор — катализатор. Процесс выбора такого оператора может быть серией повторяющихся попыток.

Можно сделать вывод, что игровое действие повторяется до тех пор, пока не будет открыт, схвачен и закреплён ключевой момент взаимодействия с объектом. Таким ключевым моментом может быть открытый субъектом особенный игровой ход, катализирующий ситуацию. После этого данный уровень игры становится скучным, неинтересным для субъекта, он оставляет ее, чтобы перейти к новому уровню.

Деловой путь освоения мира — это путь к установлению господства над ним посредством диктата и насилия, путь к эксплуатации и истощению ресурсов. Игровой путь освоения мира — это поиск «магического» ключа к взаимодействию с ним, путь, приводящий к открытию того катализатора, который обеспечит естественный и сбалансированный обмен энергии в диалоге человека и мира.

Глубинная суть игры заключается в поиске катализатора — ключа к взаимодействию с объектом — сначала в практическом плане, а затем в ментальном, через мысленное моделирование ситуаций.

Катализ как особый режим деятельности языкового сознания можно поставить в один ряд с привычными процедурами анализа и синтеза.

§ 7. Деятельность языкового сознания: регистры деловой и игровой

В дискурсе реальному миру может быть поставлен в соответствие как его буквальный — симметричный образ, так и деформированный образ, что соответствует двум известным типам симметрии; это собственно *симметрия*, или классическая симметрия, соразмеряющая взаимное соответствие объектов, и *диссимметрия* — деформирующая симметрия. Понятие диссимметрии восходит к трудам Пьера Кюри, сделавшего еще в 1894 г. вывод о том, что именно диссимметрия творит явления [см. Шафрановский, 1985, 59]. Принципы диссимметрии заявляют о себе на всех уровнях организации живых систем и в синергетических процессах обмена с окружающей средой [см. Кизель, 1985].

В соответствии с двумя указанными типами симметрии, в деятельности языкового сознания можно выделить два типа форматоров дискурса: форматор симметризирующего типа, ответственный за адекватное отображение действительности, и форматор диссимметризирующего типа, деформирующий отображение действительности. Каждый из них определяет собственный регистр дискурса.

Во-первых, это деловой, утилитарный, регистр дискурса, назначение которого — ориентировать человека в реальном мире; здесь важны цель и

истина для адекватного представления образа реальности и эффективного, полезного действия в ней. Это применение языка как средства эволюции и коммуникации в целях самоорганизации общества и защиты человека от случайных и внезадумных сил внешнего мира, действие которых подлежит познанию и ограничению.

Во-вторых, это *игровой* регистр дискурса, в котором реализует себя человек, освобожденный от детерминизма природы и себе подобных. Этому регистру присущи самоценность слова, создание необычных способов построения речи, речевое лицедейство самого говорящего. Игровая лингвистическая активность деформирует отражение реальности и правила самого языка, опрокидывая устоявшиеся стереотипы восприятия и поведения.

Д. С. Лихачев [1984, 39] пишет об измененном удвоении мира, свойственном поэзии и смеховой культуре: «рядом с реальностью строится мир нереальный, иллюзорный. Причем поэзия решает эту задачу в “высоком” ключе: ей присуще абстрагирование как возвышение мира, вскрытие его “вечных” основ, его духовной сущности, освобождение мира от материальности, от всего временного, единичного, конкретного. Это “дематериализация” мира..., это мир священный, окруженный благоговением».

Но «смеховой мир в еще большей мере, чем действительность, противостоит этому духовному миру, строящемуся путями абстрагирования. Смеховой мир — это мир “низовой”, мир материальный, мир, обнаруживающий за ширмой действительности ее бедность, наготу, глупость, механистичность, отсутствие смысла и значения, разрушающий всю “знаковую систему”, созданную традицией» [Лихачев, 1984, 39].

В каждом из дискурсов игрового регистра — и в поэтическом, и в смеховом — действует принцип диссимметрии. Поэзия создает диссимметрию между реальностью и ее образом, противопоставляя порядку мира свой порядок, пользуясь собственными симметричными формами, а смеховая культура — путем создания искаженного образа мира. «Если в [поэтическом] абстрагировании огромную роль играет стилистическая симметрия, то в смеховой конкретизации мира — его смеховое раздвоение. Раздвоение смехового мира — это смеховая аналогия стилистической симметрии» [Лихачев, 1984, 39].

Д. С. Лихачев относит к смеховому антимиру русской литературы средневековых разнообразных произведений: небылицы, «изнаночные» образы, неверную этимологизацию, смеховое переразложение с деформацией и формы, и смысла, но, с другой стороны, и изящность формы при отсутствии смысла (раешник, балагурство). В них коверкаются слова и целые тексты (пародирование), переворачивая и разрушая заложенные в них смыслы. В них изобилует оксюморон и метатеза. Рифма в них провоцирует сопоставление и оглушение, подобна «пританцовыванию» в речи. Им свойственна парадоксальность, неожиданные «тупики» и неожиданные выходы из них, хотя многое может остаться без разгадки; это марио-

неточное, «петрушечное» передразнивание, лицедейство, карикатурность изображения; это раздевание с обнажением до неприличной наготы; это игра в опасность, в правилах которой как бы заложена нарочитость: поскольку это игра, то можно в любой момент выйти из нее в реальность и перестать притворяться.

Смеховое обращение поэтического дискурса ведет, в пределе, к полному распаду его высокой симметрии, где в хаосе слов, утративших привязку к своему исходному контексту, происходит семантическое обрушение, слова испытывают «обнажение», им возвращается их первичный, буквальный и материально-бытовой смысл. Буквализируются метафоры и фразеологизмы. Не только имена собственные становятся «говорящими», но также имена нарицательные. В контексте бурлеска поэтическая «кобылица» обратится в банальную «кобылу», «отрок» в «пацана», а благородный рыцарь наденет вместо шлема тазик или суповую кастрюлю. Смешным выглядит и представление сакрального в низком стиле, и представление низменного в высоком стиле.

«Самым общим элементом для всех видов юмора, — как считает М. Минский [1988, 293–294], — является неожиданная смена фреймов: сначала сцена описывается с одной точки зрения, а затем неожиданно (для этого часто достаточно одного-единственного слова) предстает совершенно в ином ракурсе».

Очевидно, что для создания смехового эффекта в дискурс должно быть введено не любое, но некоторое «остроумное» выражение, выступающее в роли катализатора. Смеховое пародирование демонстрирует справедливость известного изречения «от великого до смешного только шаг».

«Остроумная» деформация дискурса, предполагает такой смысловой переход, который можно связать с эффектами типа *границной* особенности, вызывающими некоторое *неравновесное* состояние сознания у воспринимającego субъекта, состояние, при котором озадаченность может быть сопряжена с неприятием и с удивлением, с восторженностью и принужденностью.

«Остроумный» элемент в поэзии или в смеховой культуре и сопутствующие ему эффекты удивленности или комизма связаны, вероятно, с направлением *пересечения* граничной особенности.

Пересечение ее по направлению «депрессия — пик», от состояния приземленности, приниженности к возвышенному состоянию вызывает удивление, восторженность, при этом и сама личность, переживая неожиданное открытие, испытывает чувство повышения собственного достоинства; энергетическая интенсивность этого состояния может найти разрядку в смехе.

При обратном направлении пересечения — при переходе от высокого состояния к низкому, к приземленности и дальнейшему «развенчиванию», раздеванию-обнажению — и возникает смеховой эффект, сначала комиче-

ский, а затем и эффект осмеяния объекта; если же при этом смеховой элемент касается присутствующей личности (она может и не быть объектом насмешки), то *личность* переживает чувство униженного достоинства.

Безобидные игровые аналоги этих двух видов смеха мы наблюдаем в детских играх: смех «удовольствия» при соскальзывании со снежной горки — пересечение зоны особенности между двумя поверхностями сверху вниз; смех «восторга» при взлете на качелях — пересечение зоны особенности между двумя уровнями снизу вверх. И в том и в другом случае участник такой игры ощущает себя как бы *игрушкой* в руках природных сил.

Примечательно то, что русским языковым сознанием схвачены и сохранены две особые точки граничного состояния субъекта, и с позитивным вектором, и с негативным. Они выражены соответствующими глагольными корнями: *восторженность* (от *восторгнуть* 'вознести') и *униженность* (от *унизить*). В западноевропейских языках такой четкой оппозиции не наблюдается.

В позитивном ключе граничной особенности действует «заумный язык» поэтов-футуристов, сотворяющий выражения, не существующие в языке, индуцирующие смутные, «мерцающие» смыслы: собственно «заумный» язык, «птичий» язык, «безумный» язык и др. В этом же ключе действуют и другие поэтические «языки», включающие в себя приемы народной поэтической культуры: словотворчество, перевертень, разложение слова, вывихи слова, косой перезвон речи, поединок слов, волшебная речь (заумный язык в народном слове), опечатка, корявый слог и др., общий список которых, составленный В. П. Григорьевым — исследователем идиостилия В. Хлебникова — насчитывает более 50 названий [Григорьев, 1983, 84–94].

Оппозиция *серьезное/смеховое* столь же реально существует внутри игрового регистра, как внутри делового регистра существует оппозиция *истинное/ложное*.

Деловой дискурс может быть реализован в истинном или в ложном ключе. Дискурсивный образ может либо соответствовать, либо не соответствовать действительности. Часто это происходит в силу неполноты наших знаний о реальности. А поскольку сообщаемое не всегда может быть подвергнуто проверке, то часто можно судить об истинности сообщения лишь как о его достоверности, то есть с известной долей вероятности. Значительная доля информации при этом может остаться неопределенной. Если нужно получить более адекватное представление о ситуации, то стараются раздобыть дополнительные сведения о ней из разных источников, чтобы затем вывести из них искомый инвариант и тем самым ослабить или *изгнать* зону неустойчивости. Вероятно, поэтому в деловом регистре неадекватное, но переданное уверенным тоном, сообщение может быть воспринято с гораздо меньшей долей беспокойства, чем сообщение достоверное, но не совсем определенное, порождающее двусмысленное толкование и зону неустойчивости в образе реальности, строящемся у реципиента.

Преднамеренная, заведомая ложь может быть органичной составляющей коммуникативно заданного образа. Дискурсивный образ при этом остается адекватным той цели, которую преследует лжец для своего эффективного действия. Задача лжи — помешать слушающему в его деятельности. Ложь, как и правда, — орудие регуляции поведения. Ложь во имя спасения строится по аналогичной схеме, но для предупреждения нежелательной ситуации.

Средства игрового регистра постоянно подпитывают деловой дискурс, нарушая его рациональную монотонность. Но фантазия в утилитарном регистре превращается в заведомую ложь, а речевые «перевоплощения» говорящего — в притворство. В этой связи интересно привести цитату из работы Х. Вайнриха «Лингвистика лжи» [1987, 86]: «Лжецы тоже узнали, что могут заставить поэзию служить своим лживым целям. Поэзия на службе у лжи есть ложь. Однако с тех же пор всякая поэзия, уклоняющаяся от служения лжи, является правдой».

Роль средств игрового регистра становится значительно более заметной при переходе от слов к более крупным единицам, структурно оформленным как высказывания и дискурсы. Речь идет прежде всего о паремических единицах языка, имеющих стабильно воспроизводимую форму [см. Пермяков, 1970]. К паремическим единицам в широком смысле слова относятся не только пословицы и поговорки, но также загадки, небылицы, анекдоты, притчи, сказки, мифы, и т. д. Наряду с чисто «деловыми», то есть нормирующими и предписывающими паремиями (пословицы, приметы, нравоучения), паремический корпус включает множество остроумных и парадоксальных изречений, «метких» выражений, веселых и страшных рассказов, «чудесных» сказок, передаваемых из поколения в поколение носителями языка.

В паремических пластах, по-видимому, сосредоточена базовая аксиоматика национального языкового сознания.

§ 8. Рефлексия как компонент бессознательного

Согласно принципиальным положениям Гумбольдта [1984, 69, 301], для познания языка следует не абсолютизировать язык как средство общения и обозначения предметов, но сосредоточиться на его происхождении и развитии в связи со становлением рефлексии.

Животные играют. Это значит, что и у животных психика имеет сложное строение, включая, по меньшей мере, образ мира и образ поведения в обычной для них среде, который не только заложен генетически, но и продолжает вырабатываться в процессе адаптивного опыта, в том числе и в игре, отлагающейся, в частности, в ритуальном поведении. Поведение их далеко не исчерпывается принципом «стимул — реакция» и домини-

рующей мотивацией. Высшим животным присуща высоко развитая ориентировочная активность, а, следовательно, и способность фокусировать свою психику на том или ином объекте, им присуще и чувство собственного достоинства, и соответствующее место в их общественной иерархии, что заставляет предполагать у них элементы самосознания.

У человека есть тоже образ мира и образ поведения в нем, санкционированный социально. Этот образ поведения и представляет собой первую ступеньку само-осознания индивида как члена общества. Со ступени образа поведения индивид осознает свое собственное «Я» как часть мира, которая подчинена общим правилам. Почему надо поступать именно так? — Потому что так поступают все. Из этого не следует, что социальное «над-Я» полностью подавляет индивида, полностью подчиняет его общественно утвержденным правилам и не оставляет места для импровизации.

А если это так, то и в деятельности рефлексии можно выделить две ступени. Первая из них, ближайшая к образу мира, обобщает социальный опыт и является своего рода рациональным *над-сознанием*, определяющим общую «игру по правилам», игру регулярную, которая представляется единственно разумной. Вторая же ступень рефлексии возвышается над первой как *сверх-сознание*, как отрицание первой, предоставляющее возможность для «игры-импровизации», которая имеет статус надразумной.

Если рефлексия первой ступени — это диалог с образом мира, то рефлексия второй ступени — это диалог и с образом мира и образом общепринятого поведения в нем. В этом диалоге проявляется стремление представить образ мира по-иному и тенденция к преодолению личностью социального «над-Я», с которым она вступает в противоречие. Противоречие может разрешиться либо отвержением тех инноваций, сингулярностей, которые появились в результате личностной импровизации, либо их принятием, социальной регуляризацией. И тогда они пополняют собой коллективный образ поведения в мире, но не сразу, а в итоге многочисленных итераций — повторений членами языкового коллектива.

Пост-инновации отшлифовываются в практике социальной коммуникации, окончательно закрепляются посредством тысяч повторений и затем служат уже «узаконенным» фундаментом для дальнейшей индивидуально-личностной рефлексии.

Рефлексия — это диалог сознания с самим собой и, следовательно, по своей архитектонике сознание представляет собой расщепленную структуру.

Сознание как отражение мира не есть некая статичная картина, это *поток образов*, в разной степени диффузных и в разной степени определенных, спонтанно наплывающих друг на друга, сходящихся и расходящихся, сходных и противоречивых, образов, которые перетекают друг в друга, группируются вокруг самопроизвольно возникающих образов-аттракторов, выстраиваются в сменяющие друг друга сенсорно-модальные ряды, формируются и распадаются.

Все эти образы, по определению, представляют собой материал для рефлексии, которая, действуя как *катализатор* образного поля сознания, вносит в стихийную игру образов поляризующий момент и создает их относительно устойчивое упорядочение. Первичная рефлексия возникла, вероятно, как ментальное действие, пытающееся соединить противоречащие друг другу зыбкие образы мира, что и привело, в результате множества импровизаций, к созданию специального инструмента, обеспечивающего опору для рефлексии — языка.

В философской интерпретации Э. Кассирера [2002, 25], становление языкового сознания и его дальнейшее саморазвитие как символической функции психики человека «выражается в том, что из потока сознания сначала извлекаются конкретные устойчивые основные формы, наполовину понятийной, наполовину чувственно-созерцательной природы — и в текущем потоке содержания образуется островок замкнутого на себя формального единства».

В итоге наработки корпуса языковых средств в сознании образуется зона особенности — пласт сознания языкового, параллельного доязыковому сенсорно-модальному образу мира. В нем фиксируются первичные дискурсивные структуры, служащие основой для дальнейшего саморазвития в результате импровизационной деятельности рефлексии. Эта зона особенности обладает, как и зона перцептивных образов, динамизмом, способностью автоматической перенастройки, что в свою очередь, обеспечивает речевые автоматизмы при ассоциировании и воспроизведении типовых единиц, избавляя рефлексия от повторного их построения.

Существование автоматизмов ассоциативного мышления позволяет говорить об уровне языкового *подсознания*, где элементы языковой системы продолжают взаимодействовать самопроизвольно.

Подсознание хранит ассоциативно организованный продукт деятельности сознания. Ему принадлежит ассоциативная база дискурсивного мышления, которая обеспечивает выбор единиц при построении дискурса. Вся подразумеваемая при общении лингвокогнитивная база, включающая знания о мире, прошедшие через фильтр языкового сознания, представляет собой дискурсы, свернутые и опущенные на уровень подсознания.

В то же время, следует учитывать то, что подсознание — это *не отсутствие сознания*, а по сути своей — глубинный пласт сознания, содержащий ту часть образов, которая находится за пределами фокуса рефлексии. Подсознание организовано по принципу стихийной игры, в которой каждый образ может быть какое-то время аттрактором для других и сам может подвергаться аттракции.

Получается, что в сознании есть осознаваемый и неосознаваемый компоненты, которые обмениваются образами. Одни из образов всплывают из подсознания в зону осознаваемого, другие, осознанные, опускаются в зону неосознаваемого.

Фокусировка сознания на объекте внешнего порядка происходит в ходе ориентировочной деятельности. В таких случаях говорят о внимании. Фокусировка сознания на самом себе есть акт рефлексии. Поэтому рефлексия можно также интерпретировать как ориентировочную деятельность субъекта, протекающую внутри сознания.

Попадая в фокус рефлексии языкового сознания, образы приобретают дискурсивную организацию. Ассоциативное мышление преобразуется в дискурсивное.

В фокус рефлексии попадают только рефлектируемые образы, сама же рефлектирующая инстанция является принципиально неосознаваемой индивидом, до тех пор, пока он не переходит на более высокий уровень рефлексии. Так, язык в процессе рассуждения о внеязыковых фактах совершенно естественно не осознается, используется бессознательно. Говорящий думает не о языке, а о предмете речи. Язык осознается тогда, когда он сам попадает в фокус рефлексии, что может быть спровоцировано затруднениями, возникающими в подборе средств выражения. Сюда относится самоконтроль говорящего в процессе речи. Рассуждая о языке, говорящий использует тот же язык, но уже в качестве метаязыка как инструмента рефлексии.

Размышляя о внеположенности, трансгредентности сознания автора по отношению к своему произведению и к сознанию его литературного героя, М. М. Бахтин подчеркивал, что «нужно понять не технический аппарат, а *имманентную логику творчества*». Творческое сознание автора-художника никогда не совпадает с языковым сознанием, «языковое сознание только момент, *материал*, сплошь управляемый художественным заданием» [Бахтин, 1986, 178].

Именно на уровне *сверхсознания* языковая личность проявляет себя в творческом плане, создавая дискурсивные инновации и тем самым оказываясь над санкционированным обществом грамматическими и прагматическими нормами и правилами. Логика правила уступает место расширенной логике импровизации.

Одна из трудностей в представлении архитектоники сознания — трудность терминологическая: с одной стороны, сознанию мы противопоставляем над-сознание и под-сознание как некие компоненты бессознательного, с другой стороны, эти же величины являются компонентами сознания. Мы не испытываем, однако, особых затруднений, когда противопоставляем понятия языка и метаязыка, поскольку отдаем себе отчет в том, что метаязык — это функциональная специализация того же языка при его саморасщеплении и самоотражении.

Трудности лингвистического порядка могут быть преодолены и в описании архитектоники сознания, если учитывать, что указанные понятия соответствуют разным уровням высших психических функций сложно организованного сознания человека, которое по отношению к самому

себе способно занимать различные рефлектирующие позиции и действовать как бы за пределами самого себя, что соответствует разным уровням мышления.

Выводы по главе III:

1. Языковое сознание — лингвокультурный компонент сознания, противостоящий сенсорно-модальному образу мира. Его деятельность может протекать автоматически, независимо от воли говорящего. В языке можно предположить наличие глубинной системообразующей константы, формирующей относительно устойчивую систему множества своих производных, что придает языку сходство с системой исчисления.
2. В деятельности языкового сознания, наряду с логико-когнитивным, присутствует игровое начало. Корни игры как неутилитарной, непринужденной деятельности уходят в спонтанную игру природных процессов, свойственных самоорганизующимся системам. В основе смыслового содержания языковой единицы лежит образ взаимодействия субъекта и объекта.
3. Главный оператор, формирующий дискурс — это рефлектирующая инстанция сознания говорящего, которая всегда остается «за кадром» дискурса, проявляясь в дискурсивных операторах и операциях. Главный оператор формирует через посредство своих производных операторов языковые копии и версии образов мира. Рефлексия носит рекурсивный характер, что проявляется в имманентной логике дискурса. Существует определенное сходство в ступенях усложнения игры и развития рефлексии.
4. Утилитарная активность отличается неимманентностью своих правил. Игровая активность, в том числе и «деловая» по форме, часто ведется не по заданным правилам, а в спонтанном режиме или в режиме импровизации. Моделирование как вероятностное прогнозирование сопряжено со столкновением стандартной и нестандартной реальности. Линия перехода между последними является «зоной особенности», контрастирующей с остальной средой. Особенности как природные, так и культурного происхождения, образуют поле спонтанной игры.
5. Смысл в дискурсе может быть произведен как заданный результат или как сопряженный. Смысловой эффект зависит от свойств элементов, сопрягаемых в дискурсе. Синтагматическое сочетание единиц языка влечет их взаимную поляризацию и соответствующую смысловую ориентированность всего выражения. При вводе в нормативную фразу некоторого семантически неадекватного оператора наблюдает-

ся каталитический эффект, состоящий в смысловой реполяризации — деформации исходного смысла фразы.

6. Опираясь на противопоставление классической симметрии и диссимметрии, можно выделить два регистра в деятельности языкового сознания — *деловой* и *игровой*, производящие, соответствующие формы дискурса. В деловом регистре дискурс формируется как структура, симметричная реальности, смысл которой может быть, сообразно коммуникативному заданию, истинным или ложным; в игровом регистре дискурс диссимметричен реальности и представляет смысл в поэтическом или в смеховом ключе.
7. Психика человека включает различные функции, действующие за пределами «светлого поля» сознания. К подсознанию, в сфере которого доминирует спонтанная игра, относятся речевые автоматизмы и ассоциативные группировки языковых единиц. Рефлексия действует на уровне надсознания — как игра по правилам, прошедшим социальное санкционирование, и на уровне сверхсознания — как игра-импровизация, воплощение творческой активности языковой личности.

ГЛАВА IV

Дискурс: от формы к смыслу

§ 1. Реляционное и операционное представление дискурса

Дискурс можно рассматривать как в статическом (реляционном), так и в динамическом (операционном) планах. Их последовательное разграничение представляется столь же важным, как и постоянный учет взаимовлияния между ними, что, однако, не должно приводить к смешению этих двух планов.

Если дискурс рассматривается как единое целое, то возможно его статическое представление в виде реляционной структуры. Если же следовать процессу его развертывания, то получится динамическое представление в виде линейно следующих друг за другом речевых действий, образующих языковые выражения разных уровней — от слова до фразы и группы фраз. Всякое высказывание может быть представлено и как действие, и как результат действия. В обоих случаях выделяемы структурные элементы разной степени сложности и разные по своим функциям. Если в статике мы говорим об отношении между компонентами, то в динамике — об их соотношении, которое осуществляется говорящим, или о преобразовании. В динамике речь идет о некоем операторе, связывающем речевые сегменты, в статике он уже выглядит как некий релятор, будь то предикат, союз и т. п. Оба плана тесно слиты в сознании при восприятии дискурса.

Операция как преобразование — это соотношение некоторого исходного состояния компонентов с конечным. Операция «вмешивается» в исходное отношение и оказывает не него свое влияние, либо изменяя его, либо оставляя неизменным. Поэтому, если, например, взять симметричность как характеристику отношения, то соответствующая операция будет операцией симметризации, а оператор, осуществляющий ее — симметризатором. На практике различение терминов не носит четкого характера, и они оказываются амбивалентными; например, термины «включение», «импликация», «пересечение» и др. могут обозначать и операции и соответствующие им отношения, а кроме этого и сами структуры, получившиеся в результате применения операции.

Дискурс в реляционном плане — это конечная совокупность высказываний, объединенная общим отношением порядка как предшествования/следования. Кроме того, можно отметить смежность, соседство, или от-

ношение близости высказываний, а также отношение совместности, когда, например, одно высказывание оказывается «вводным», вложенным в другое. Далее, в силу совпадения некоторых высказываний в плане лексики или синтаксической формы, можно констатировать отношения сходства и различия между ними. Если абстрагироваться от лексической формы, то можно говорить о структурном тождестве высказываний; верно и обратное: возможно структурное различие высказываний при их лексическом тождестве.

От формальных отношений можно перейти к семантическим, устанавливая, например, смысловую эквивалентность выражений, если они находятся в отношении замещаемости для определенных контекстов, а также смысловую связанность высказываний, которая проявляется в наличии повторяющихся элементов, в том числе прямых повторений слова, анафорических местоимений, синонимов и т. д. Хотя наличие семантических повторов еще не означает само по себе связи высказываний по смыслу. Смысловое согласование высказываний должно получить опору в той или иной дискурсивной операции, соотносящей их между собой.

В дискурсе одно из самых общих отношений — это отношение порядка, реализуемое как следование высказываний друг за другом, которое определяется линейностью развертывания дискурса во времени. Невозможно произнести одновременно два высказывания или два слова в силу принудительного характера фундаментальной линейности речевого канала. Этот линейный порядок первичен по отношению к операции упорядочения языковых выражений, создающей *собственный* порядок компонентов, который может совпадать с линейным, быть «прямым» например, а, b, c, d, e..., но может и не совпадать, быть «обратным»: ...e, d, c, b, a, или же «хаотическим»: c, e, b, a, d... Таким образом, не следует отождествлять первичный порядок, навязанный речевым каналом, и вторичный порядок дискурса, заданный дискурсивными операциями. Речь противостоит линейности речевого канала, нарушает, нейтрализует ее, но речь и использует линейность естественного порядка как базу для собственного, вторичного упорядочения. Вероятно поэтому последовательность а, b, c, d, e..., собственный порядок которой совпадает с линейностью речевого канала, мы воспринимаем как некую норму.

Дискурсивная последовательность имеет свое естественное членение: паузы между высказываниями и внутри них, отмечаемые на письме пробелами и знаками препинания, отделяющими одно выражение от другого. Пауза — интервал молчания — это тоже один из элементов последовательности. Молчание предшествует высказыванию и завершает его, создавая таким его несобственную рамку.

Другое отношение самого общего характера, важное для построения дискурса, базируется не на следовании высказываний друг за другом, а на их структурном параллелизме. В этом плане отношения между высказываниями варьируют, в зависимости от их лексического наполнения, в ши-

роком диапазоне: от тождества и подобия до противоположности и смысловой несовместимости. В контексте дискурса даже высказывания, совпадающие по форме и лексическому составу, могут приобрести разные смыслы. В целом это отношение можно характеризовать как отношение **полярности**, а соответствующая ему операция будет операцией поляризации языковых выражений.

Структурное совпадение высказываний может служить основой межфразовой связи, что давно зафиксировано риторикой в терминах «синтаксический параллелизм» и «хиазм». Синтаксическому параллелизму конструкций обычно сопутствуют различные оттенки сопоставительности: *Большая река течет спокойно, умный человек никогда не повышает голоса*. Хотя этим же способом могут быть связаны и сравнительно нейтральные по смыслу высказывания: *Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу* (А. Пушкин). Хиазм, или «зеркальный», обратный параллелизм как риторический прием тяготеет к антитезе: *Богатые люди любят шум и веселье; молчаливой природой наслаждаются богатые души*. Ср. также: *Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu* (буквально: Король пел внизу, наверху умирал Бог) (V. Hugo).

Структурное совпадение высказываний может быть полным или частичным. Во всех подобных случаях в организации дискурса заявляет о себе **симметрия**, характер действия которой представляется уместным уточнить.

Категория симметрии в современной науке, объединяет в себе, наряду с классическим понятием симметрии как соразмерности, довольно разнообразные виды, или модусы, симметрии, такие, как диссимметрия, антисимметрия, изометрия и др. [Шафрановский, 1985; Шубников, 2004]. Среди преобразований симметрии особенно важными и интересными в применении к языку являются операции симметризации несимметричных объектов и диссимметризации симметричных. Мы попытаемся показать некоторые из модусов симметрии на простых примерах, оставаясь на формально-синтаксическом уровне.

1. При тождестве синтаксической структуры и лексики двух языковых выражений мы говорим об их **изометрии**: *Весна идет! — Весна идет!* Изометрия — вырожденный случай симметрии, симметрия повторения, воспроизведения.
2. При инверсии исходного выражения мы получаем обратное, зеркальное соответствие: *Весна идет! — Идет весна!* Это обратная симметрия, или **анасимметрия**.
3. При деформации исходного выражения получается соотношение **диссимметрии**: *Весна идет, природа пробуждается. — Приход весны пробуждает природу*. Многие трансформы — результаты диссимметризации исходного выражения.

4. При безальтернативном отрицании исходного выражения мы получаем **антисимметрию**: *Весна идет. — Весна не идет (Стоит зима)*.
5. При альтернативном (неполном) отрицании исходного выражения мы получаем соотношение **аллосимметрии**: *Весна идет? — Не весна идет*. Альтернативность отрицания означает, что отрицаемый компонент участвует в многополюсной оппозиции, т. е. для нашего примера наиболее вероятными остаются алловарианты: *Зима (осень, лето) идет*, но в зависимости от контекста возможны и другие, например, *Не весна идет (= Девушка идет)*.
6. При соразмерности высказываний по дополнительности имеет место их **симптосимметрия**, ср.: *Художник рисует. — Картину*; или *Он езжает. — В Москву*.

Симптосимметрия в общем смысле — это отношение между двумя частями единого целого, отношение взаимной дополнительной, которое нередко сохраняется и тогда, когда эти две части по какой-либо причине представлены изолированно друг от друга благодаря тому, что каждая из этих частей сохраняет конфигурацию, в точности подходящую к конфигурации другой части.

7. Среди случаев симптосимметрии можно выделить такой, когда одно высказывание становится одновременно дополнением для двух смежных с ним, например: *Художник нарисовал картину. Картину отвезли на выставку. Выставка привлекла много посетителей*. Очевидно, что здесь мы имеем дело с высказыванием-интерполяцией, которое содержит элементы каждого из соединяемых им высказываний, обеспечивая их смысловую соразмерность, и тем самым реализует двойственную (левую и правую) симметрию, которую мы обозначим как **амфисимметрию**.

Амфисимметричность промежуточного высказывания определяется в контексте, когда оно реализует межфразовую синтаксическую связь. Если интерполирующий компонент изъять из дискурса, то и связь между высказываниями ослабеет или вовсе исчезнет, ср.: **Художник нарисовал картину. Выставка привлекла много посетителей*.

Таким образом, об амфисимметрии можно говорить тогда, когда два несимметричных объекта соединяются при посредстве третьего, промежуточного, который является для них симметризатором. Амфисимметрия, как специфический случай симптосимметрии, проявляет себя в линейном развертывании дискурса, в его порядковой размерности.

Исходя из проведенных выше разграничений, в дискурсе можно выделить две структурные размерности — **порядковую**, в основе которой асимметричные отношения следования, и **полярную**, в основе которой лежат разного рода симметричные отношения единиц.

§ 2. Операции порядковой размерности

Самая элементарная операция порядковой размерности — это **ввод** выражения в дискурс. Однажды введенное выражение не может быть устарено из дискурса. Но его смысл может быть подвергнут тем или иным ограничениям посредством применения других дискурсивных операций, в частности, он может быть отменен посредством отрицания. В результате последовательного ввода (присоединения) все новых и новых выражений реализуется базовая, или «фоновая», операция этой размерности — **ординация**, дающая линейное упорядочение компонентов дискурса.

К наиболее простым операциям порядковой размерности относится линейное **повторение**, или повторный ввод компонента, что дает последовательность вида *A, A, A*. Дискурс, конечно, не может состоять только из повторения одного и того же выражения. Повторение, однако, играет важную роль в установлении междумфразовых связей.

В линейном развитии дискурса повторение проявляется как регулярное воспроизведение фразовых структур и как частичное повторение их лексического состава: *На дворе трава, на траве дрова*. В этом примере повторяется предметное слово, создающее семантическую связь высказываний, а также предлог, создающий структурную связь. В нем можно заметить также рифму (*трава — дрова*), которая тоже является линейным (формальным) повторением, придающим дискурсу стихотворную форму.

Повторение может создавать сопряженный эффект усиления смысла, ср.: *большой-большой, далеко-далеко, шел-шел*; в коммуникативном дискурсе повторение усиливает суггестию, придает предписанию настоятельный характер: *Скорее, скорее! Иди, иди!* На подобные эффекты повторения обращал внимание Э. Сепир [1993, 82], отмечая, что оно обычно выражает множественность, повторность, увеличение в объеме, повышенную интенсивность, длительность и т. п.

Линейное упорядочение дискурсивных величин одного порядка может быть дано в форме свободного **перечисления**, например, *В парке росли клены, каштаны, липы*.

Перечисление может быть осложнено использованием родо-видового отношения. Тогда оно примет вид операции **разложения**: *Были посажены деревья: клены, каштаны, липы*.

Если же используется некоторый суммирующий оператор, то мы получим обратную разложению операцию **сложения**: *Липы, тополя, березы — все деревья пожелтели*.

Другим примером осложненного перечисления может служить операция **ранжирования** — упорядочения объектов по степени проявления в них того или иного признака; это может быть, в частности, упорядочение по размеру, старшинству или по степени достоинства, по предпочтению от

наиболее существенного к менее существенному — в порядке убывания признака, или, наоборот, в порядке его возрастания; например: *Для участия в церемонии прибыли президент, премьер министр, мэр столицы и сопровождающие их лица*.

При ранжировании могут применяться специальные дискурсивные операторы, формально указывающие на приоритет соответствующих величин или выражаемых идей: *во-первых, во-вторых, прежде всего, в первую очередь, наконец*, и т. п.

Синтаксические союзы иногда рассматриваются в качестве простых заполнителей пауз, лишь уточняющих отношения между предикатами высказывания. Однако союзные операторы не только заполняют паузы, но и придают порядку компонентов дополнительную смысловую ориентированность, они существенно уточняют и во многом определяют смысл высказываний. Известно, что семантика союзов в естественном языке многозначна по сравнению с семантикой логических коннекторов и не совпадает с ней.

Факт несовпадения семантики французского союза *et* ('и') и логического оператора конъюнкции « \wedge » отмечался Патриком Шародо [Chagodeau, 1978, 281]. В естественном языке союз *et* преимущественно выражает сложение, прибавление (addition), тогда как в логике конъюнкция — это логическое умножение, дающее последовательную связь высказываний, значение которых определяется только с точки зрения их истинности или ложности [см. Кондаков, 1975, 264].

В качестве сигнала сложения союз *и* нередко выступает в завершающей позиции, употребляясь однократно: *Пришли соседи, друзья и знакомые*. Это явление отмечено академической «Русской грамматикой» [1982, 168–169] как формирование открытых и закрытых рядов с участием соединительных союзов.

С участием союза *и* образуются также конструкции типа: *Там были и A, и B, и C*. Соответствующую операцию следует считать операцией **объединения**. Она является коммутативной, то есть перестановка слагаемых при объединении не меняет смысла: *Там были и A, и B = Там были и B, и A*.

Заметим, что языковое сложение далеко не всегда коммутативно, поскольку оно, в отличие от операции объединения, не нейтрализует фактор базового упорядочения, неизменно индуцирующий даже в перечислении величин отношение приоритета. Поэтому *Пришли отец и сын* отлично по смыслу от *Пришли сын и отец*. Ср. нейтрализующее действие операции объединения: *Пришел и сын, и отец; Пришел и отец, и сын*.

Операции типа сложения, разложения и объединения входят в группу **аддитивных** операций. Противоположными аддитивным являются **субтрактивные** операции, представляющие собой разные виды вычитания.

Можно выделить несколько типов конструкций для этой группы.

В практическом вычитании предполагается, что уменьшаемое больше вычитаемого, которое ставится на второе место, и получаемая разность больше нуля, т. е., при $A > B$, имеем $A - B = C$, где $C > 0$.

Языковое вычитание может быть выражено такими операторами, как *кроме, только не, без*, при условии, что разность $(A - B)$ больше нуля: *Пришли все, кроме А; Все пришли, только А не пришел; Они пришли без А.*

Предельным и самым кратким случаем вычитания является операция **исключения** с операторами *не* и *нет*: *Дождь не идет. Нет дождя.*

Отметим, что операция **отрицания** является более общей по содержанию, она не обязательно обладает исключаяющим свойством, например: *В этот раз он не приехал (а пришел пешком).* В этом заключается основное различие между операциями отрицания и исключения.

Вычитание имеет обратную себе операцию, когда первый ее член является отрицательной величиной или приравнивается говорящим к нулю, а второй вводится как некоторый противостоящий ему «избыток», что можно записать как: $(-A) + B$. В этой операции, которую мы назовем **субтракцией**, могут участвовать союзы *только, лишь, кроме*: *Никого, только ветер шумит; Никто не пришел кроме него; Письма не приходят, лишь одни газеты.*

В логике операция **импликации** $A \rightarrow B$ читается как «А влечет В», или «из А следует В» и выражает закон логического следования с учетом только истинностного значения связываемых компонентов — антецедента и консеквента. В языке она имеет различные смысловые варианты, выражая причинно-следственную связь (каузальность), условную связь, отношения выводного характера и др. Типичные языковые операторы, сигнализирующие о ней — выражения *если — то, поэтому, в силу этого*, ср.: *Если выпадет много снега, то движение транспорта может быть парализовано; Выпал снег, поэтому движение остановилось.*

Если в формуле $A \rightarrow B$, изменить направление стрелки, то мы получим операцию, обратную импликации $A \leftarrow B$, которую можно назвать **экспликацией**, так как она создает выражение разного рода объяснений и мотивировок: *потому что, из-за того что, в силу того что*: *Движение остановилось, потому что выпал глубокий снег.*

Существенно отметить то, что конструкции импликативного типа вообще не обязательно выглядят как сложные предложения. В речи не менее распространенными являются бессоюзные конструкции. Ср.: *Выпал глубокий снег. Движение остановилось.*

Операция импликации оказывается родственной операции сложения. Факт их близости подтверждается семантикой союза *и*, который может выступать не только как аддитивный, но и как импликативный оператор, ср.: *Выпал снег и движение остановилось.* Вместе с тем, отметим, что хотя оператор сложения (*и*) может достаточно свободно замещать собой оператор импликации (*потому*), но обратное не верно. Ср.:

Он обиделся и ушел = *Он обиделся, поэтому ушел*, но высказывание *Он встал и ушел* не может быть представлено в импликативной форме (**Он встал, поэтому ушел*). Можно сделать вывод, что операция сложения является более общей по сравнению с более специализированной операцией импликации.

Родство операций сложения и импликации находит свое подтверждение еще в одном аспекте. Известно, что вычитание противоположно сложению. В логике вычитание также противоположно импликации, является ее логическим дополнением, то есть отрицание вычитания равно импликации, а отрицание импликации равно вычитанию:

$$\text{не } (A - B) = A \rightarrow B; \text{ не } (A \rightarrow B) = A - B.$$

Вычитание, как антипод импликации, можно называть **антиимпликацией**. Обычное для антиимпликации выражение в языке имеет форму «А, но не В»: *Ударил мороз, но река не замерзла; Дети выполнили задание, но не ушли.*

Видимо, можно определить и **антиэкспликацию** как антипод экспликации, которая будет иметь форму: «Не-А вопреки В», или «Не-А, хотя В»: *Дети не ушли, хотя выполнили задание; Река не замерзла вопреки тому, что ударил мороз.* Антиэкспликация сходна с субтракцией $(-A + B)$: ее первый член подвергается отрицанию (Не-А), а второй сохраняет свою действительность: $A \leftarrow B$.

Дискурсивное выражение интенции, которая может относиться к сфере намерений и самого говорящего, и актантов дискурса, осуществляется посредством специальных операторов: *чтобы, для того чтобы, для этого, ради этого*. Происходит выделение того, к чему стремится субъект, что обладает притягательностью, ценностью в данной ситуации и определяет ориентацию его деятельности. Поэтому можно говорить об особой операции импликативного типа — **аксиализации**. Ее общая формула: «Надо А, чтобы В»: *Ему надо поехать в город, чтобы посмотреть выставку.*

Аксиальный момент может быть сконцентрирован только в одном союзном операторе: *Он едет в город, чтобы посмотреть выставку.* Но он может быть эксплицирован и модальным глагольным оператором, который вообще снимает необходимость использования специального оператора *чтобы*: *Он едет в город. Хочет посмотреть выставку.*

По своему содержанию аксиализация является не логико-семантической, а психосемантической операцией, тесно связанной с энергетическими смысловыми параметрами. В ней присутствуют моменты мотивации субъекта, которая может быть выражена на разных этапах своего развития — от наличия состояния устремленности у субъекта — непринужденной (*хочу, желаю*) или вынужденной (*мне надо, я должен*) — до ее развертывания в действии, которое тоже может быть относительно непринужден-

ным (*хватаю*) или вынужденным (*защищаюсь*). С завершением действия исчерпывается его мотив. Ср. *Он хочет посмотреть выставку* (мотивация в стадии определения) — *Он смотрит* (мотивация в развитии) — *Он по-смотрел* (мотивация исчерпана).

Аксиализацию недостаточно интерпретировать только как целеустремленность субъекта, хотя именно этому аспекту обычно больше всего уделяется внимания исследователями. Не только человек стремится к чему-то, но и это «что-то» его привлекает к себе. Эта онтологическая двойственность устремленности отражена в языковых операторах глагольного уровня: русским «субъективным» операторам *хотеть*, *желать* соответствуют «объективные» *привлекать*, *манить*, *соблазнять/хотеть*; аналогично французским *vouloir*, *désirer* соответствуют *attirer*, *allécher*, *séduire*. Примечательно, что смысл глагола *vouloir* интерпретируется в толковых словарях, как *être porté vers* — «быть влекомым к чему-либо».

Аттрактивность объекта может вызвать торможение собственной текущей деятельности субъекта, ср. известное нам из басни Крылова: *...На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил*. Далее следует изменение мотивации: *Лисица видит сыр*, — *Лисицу сыр пленил*, а затем и ориентации активности субъекта: *Плутовка к дереву на цыпочках подходит...*

Соотношение между элементами ситуации всегда устанавливается действием некоторого влиятельного фактора, задающего то или иное разбиение действительности, находящее свое отражение в дискурсе посредством операции **факторизации**: *Есть А, есть В, есть С*, и т. д. Любая мыслимая область — пространство, время, движение, деятельность и т. д. — может быть подвергнута факторизации, разбиению на подобласти, вплоть до нужного — терминального — уровня разбиения. Количество и характер получаемых термов зависит от того, как задан принцип разбиения. Так, поверхность земной суши получает разную факторизацию в зависимости от того, какой фактор избран для разбиения, «материк» или «часть света».

Факторизация обобщает в себе низшие по отношению к ней операции перечисления, сложения, импликации и др., придавая вводимым компонентам ту или иную соотносительную ориентацию, заданную тем фактором, который положен в основу разбиения. Если этим фактором является отношение строгого порядка — *Всегда: А, потом В, потом С*, или отношение совместности: *Всегда: А вместе с В, вместе с С*, то это позволяет субъекту делать простейшие умозаключения, выводы: *Раз есть А и есть В, значит, есть (было, будет) С*.

В последнем случае можно говорить о **фокализации** смысла, попадающего в фокус исчисления. Говорящий осуществляет реконструкцию той факторизации фрагмента универсума, которая была задана в аксиоме (Всегда А сопряжено с В). Ср.: *Свет в окне горит, значит, хозяин дома; Вода замерзла, значит, был мороз*.

Фокальный оператор **значит** участвует в связывании языковых выражений на основе социальных конвенций, принявших форму аксиом: *Всегда, если А говорят «А», значит, имеют в виду А; Если в ситуации А говорят «В», то имеют в виду В*. Во многих случаях конструкции с оператором **значит** действуют по умолчанию, определяя так называемые логические или же коммуникативные пресуппозиции: *Есть А (значит, есть и В)*. Произносимая часть высказывания подразумевает невысказанное дополнение к ней, в котором содержится существенная информация. Поэтому для общения совершенно естественными являются высказывания, коммуникативный фокус которых попадает в зону умолчания, а произнесенная часть вызывает соответствующую информацию по дополнительнойности: *Идет дождь (значит, надо взять зонтик); Произошла катастрофа (значит, есть пострадавшие); Не удалось достать билеты (значит, поездка отменяется)*.

Отсюда можно определить два вида фокальной операции — полный, с выражением смысла, находящегося в фокусе высказывания, и неполный, с эллипсом данного смысла, который лишь подразумевается, т. е. со значимой контекстной лакуной.

Фокальному оператору **значит** омонимичен оператор **отождествления** в формуле «*А значит В*» (*А означает В*), или: выражение «А», означает то же, что выражение «В».

§ 3. Операции развертывания и свертывания

Операции, образующие порядковые структуры, могут иметь либо инициальный, либо терминальный, результирующий момент. Соответственно, одни операции выглядят как «открытые», в них наблюдается развертывание первого более общего по смыслу компонента в серию по типу *А: < В, С, D...*, другие выглядят как «закрытые», в них происходит свертывание серии компонентов в заключительный, более общий в словесном отношении, например, в виде вывода или обобщающего выражения: *А, В, С > : D*.

Говорящий, продуцируя дискурс, представляет информацию либо в дискретном, расчлененном, либо в интегрированном виде. При дискретном представлении содержания он действует, совершая разбиение, перечисление, разложение, развертывание смыслов. Интегрирующее представление содержания направлено на извлечение, аккумуляцию, суммирование, обобщение содержания. Исходя из этого, можно установить наличие двух устойчивых типов в структурном развитии дискурса.

Протракция — это развитие дискурса по принципу выдвижения, развертывания, расщепления содержания — множественное представление единого путем его дискретного растяжения.

Ретракция — это развитие дискурса по принципу свертывания, объединения, извлечения, обобщения содержания — стяжения множественного в единое.

Каноническим оператором развертывания в русском языке можно считать указательное местоимение *то*, а свертывания — *это*, поскольку первое обычно стоит в препозиции, а второе в постпозиции к своему корреляту: *Напомните мне то, что я должен был сделать; Поезд сошел с рельсов — это невероятно.*

Во французском языке свойства оператора свертывания-развертывания обобщены в указательном местоимении *ce*: *Ce que vous dites, n'est pas vrai; Il est déjà rentré? C'est étonnant.*

Указательное местоимение обычно отсутствует в конструкциях, вводящих прямую речь, и роль оператора выполняет сам глагол речи: *Он сказал: «Я готов поехать».* В конструкциях с косвенной речью при отсутствии указательного *то* используется корреспондирующий с ним анафорический оператор *что*: *Он сказал, что готов ехать.* Парность операторов развертывания (*то* — *что*, *тот* — *который*, *так* — *как*, *тогда* — *когда*, *там* — *где*, *столько* — *сколько* и пр.) вообще характерна для сложного высказывания, но не характерна для сположенных простых: *Он вам все объяснит тогда, когда окончит работу.* — *Он вам все объяснит. Когда окончит работу.*

Свертывание и развертывание выполняются также при преобразовании высказывания в словосочетание и обратно: (1) *На углу строили дом.* > (2) *Строительство этого углового дома затянулось на три года.* Высказывание (2) в этом примере полностью поглощает высказывание (1), включая в себя его лексическое содержание в свернутой форме. В дискурсе трансформация такого рода может связывать достаточно удаленные друг от друга высказывания. Так, в следующем примере, между протрактивно связанными высказываниями расстояние в десять абзацев: (1) *Голоса людей и вздохи лошади, которой почему-то не нравилось собачье принюхивание, слышались Иванову как бы издали ...* (2) *Лошадь громко и облегченно вздохнула, она в общем-то неплохо отнеслась к знакомству с собакой, но где-то в глубине души была не прочь расстаться с ней* (С. Залыгин).

Протракция и ретракция обобщают в себе операции низших порядков, которые оказываются их частными случаями. Действительно, протрактивные и ретрактивные моменты наблюдаются в операциях сложения/разложения, а также в операциях импlicative типа, где типичные операторы могут быть и непарными (*поэтому*) и парными (*если* — *то*, *потому* — *что*). Конструкции с оператором *значит* могут действовать на развертывание: *Есть А, значит, есть В и С;* и на свертывание: *Есть А и В, значит, есть С.*

Ретракция не обязательно свертывает всю предшествующую структуру в целом, но может действовать избирательно, как **извлечение**, выносящее некоторый компонент из предшествующего дискурса, например:

На этом острове обитают различные млекопитающие, птицы и рептилии. Сегодня мы будем говорить о рептилиях. Заметим, что слово «рептилии» во втором высказывании не просто повторяется, но и несет в себе семантику предыдущего высказывания, т. е. это не «рептилии вообще», но именно «рептилии, обитающие на этом острове».

Для протракции, в свою очередь, тоже есть варианты, связанные не с обычным, нейтральным вводом, а со специальным вводом — **инклюзией** — некоторого компонента, определяющего развертывание смысла. Если, например, вводится таким образом слово «осень», то это может повлечь дальнейшее разбиение образа, например: *Осень. С деревьев облетают листья. Небо серое. Идут дожди.* Ввод «тематического» слова провоцирует протрактивное представление его смысла.

Ретракция может сопровождаться суммирующим союзным оператором: *итак, таким образом.* Протракция в рассуждении сопровождается такими дискурсивными операторами, как *во-первых, во-вторых, к тому же, кстати, прежде всего, в том числе* и др. Ввод компонентов может сопровождаться специальными выражениями, задающими различные смысловые (модальные) параметры представляемых компонентов: *представьте себе, возможно, допустим, разумеется, конечно, и др.*

Протракция представима общей схемой: $A < a, b, c, \dots$

Ретракция, соответственно: $a, b, c, \dots > Z$.

Из этого представления видно, что протракция создает дискурсивную полуструктуру с вершиной, расположенной слева. Ретракция, соответственно, создает полуструктуру с правой вершиной. Полная дискурсивная структура типа развертывания-свертывания имеет вид рамки с двумя вершинами: $A < a, b, c > Z$. Такая структура может охватывать своей рамкой весь дискурс или же входить в него в качестве подструктуры.

Далеко не всегда, однако, обе вершины эксплицированы в дискурсе. Часто бывает так, что выражена лишь одна из вершин или же обе вершины отсутствуют и есть лишь средняя часть a, b, c, \dots , которая с позиции говорящего является протрактивной, а с точки зрения слушающего может оказаться ретрактивной, если он совершает соответствующее интегрирующее действие. Такая амбивалентность двусторонне открытой структуры увеличивает степени свободы ее интерпретации.

Таким образом, дискурс как фрагмент коммуникативного процесса может рассматриваться с точки зрения образующих его операций двояко: по отношению к говорящему он — результат протрактивного действия — разбиения континуума отражаемой реальности. По отношению к слушающему дискурс — это поле применения ретракции, извлечения и обобщения смысла. Ретракция может результироваться в речевых произведениях разного жанра: от реферата и цитации до краткого пересказа содержания. Достаточно сложный дискурс может получить столько рефератов, сколько людей его реферировало.

Операции порядковой размерности дискурса образуют систему, в которой почти каждая из них обладает и обратной по отношению к себе, и противоположной операцией.

Сводная таблица операций порядковой размерности

Исходная операция	Обратная операция	Противоположная операция	Обобщающая операция
Ввод	Извлечение	Умолчание	Протракция
Повторение	Повторение	Умолчание	Протракция
Перечисление	Перечисление	Умолчание	Протракция
Ранжирование	Ранжирование	Умолчание	Протракция
Сложение	Разложение	Вычитание	Ретракция
Разложение	Сложение	Субтракция	Протракция
Объединение	Объединение	*Антидизъюнкция	Ретракция
Вычитание	Субтракция	Сложение	Умолчание
Субтракция	Вычитание	Разложение	Умолчание
Исключение	*	Инклюзия	Вычитание
Импликация	Экспликация	Антиимпликация	Ретракция
Экспликация	Импликация	Антиэкспликация	Протракция
Антиимпликация	Антиэкспликация	Импликация	Вычитание
Антиэкспликация	Антиимпликация	Экспликация	Субтракция
Аксиализация	Аксиализация	Антиаксиализация	Протракция
Факторизация	Факторизация	*Дефакторизация	Протракция
Фокализация	Фокализация	*Дефокализация	Умолчание
Протракция	Ретракция	Умолчание	Протракция
Ретракция	Протракция	Умолчание	Ретракция

Знаком «*» отмечены операции, которые не были оговорены в тексте.

Отметим, что операции здесь, в основном, некоммутативны, за исключением повторения, перечисления и объединения. Это согласуется с асимметричным характером порядковой размерности дискурса. Операция «антидизъюнкция» в качестве противоположной для «объединения» выпадает из системы, так как она, строго говоря, принадлежит полярной размерности дискурса. Прделанная систематизация указывает на то, что *умолчание* (значимый эллипсис) тоже может быть рассмотрено как дискурсивная операция.

§ 4. Операции полярной размерности

От порядковой размерности дискурса переходим к его полярной размерности, базой для которой является синтаксический параллелизм вы-

сказываний и их компонентов, который и порождает дискурсивную **поляризацию** их смыслов. На фоне этого параллелизма возникают разные в содержательном отношении структурные сочетания высказываний как полюсов дискурсивных соответствий.

Обычно полярные отношения представляются как оппозитивные, но в более широком понимании они включают любую сопоставительность: и позитивную, и негативную; причем сопоставляются не только заведомо симметричные элементы, но и несимметричные, подвергаемые поляризации в дискурсивном процессе. Кроме того, и симметричные элементы могут быть подвергнуты диссимметризации, в зависимости от того, какой оператор используется при поляризации исходных величин.

Сопоставительность часто выражается лишь посредством синтаксического параллелизма компонентов, хотя она может непосредственно опираться и на дискурсивные операторы. Сюда можно отнести употребление союза *и* не в аддитивной, а именно в поляризующей функции, свойственное названиям литературных произведений, например, *Война и мир*, *Лиса и журавль*, *Крестьянин и медведь*, и т. д. Эту операцию полярной размерности, в отличие от порядкового сложения, которое тоже выражается союзом *и*, мы будем называть **конъюнкцией**, поскольку она, вообще говоря, коммутативна, то есть в качестве обратной операции имеет саму себя.

Конъюнкция создает не присоединительность, как сложение, а параллелизм смыслов. Это различие следует проводить, хотя иногда оно оказывается очень тонким. Фраза *Marie danse et chante* как сложение означает одновременное или последовательное действие, но та же фраза *Marie danse et chante* как конъюнкция означает: 'Marie sait chanter, et Marie sait danser'. При сложении, в частности, выражается совместность действия: *Michel et Pierre jouent aux échecs*. При конъюнкции для того же высказывания в редуцированной или полной форме (*Michel joue aux échecs, et Pierre joue aux échecs*) остается возможность разных интерпретаций: 'Мишель и Пьер умеют играть в шахматы' или же 'Мишель и Пьер играют в разных местах'.

В качестве проверочного средства для выявления конъюнктивных конструкций может быть привлечен дискурсивный оператор *с одной стороны/с другой стороны*, который часто употребляется в рассуждении для акцентирования поляризации смыслов («с одной стороны, она умеет работать, с другой — умеет веселиться»).

Союзная операция, наиболее зримо расшатывающая линейный порядок смыслов в направлении поляризации — это **дизъюнкция**. Ее общая формула «А или В».

В «Русской грамматике» [1982, 169] отмечается использование дизъюнктивных союзов в формировании открытых союзных рядов с разделительными (взаимоисключающими) отношениями выбора (*или, либо*), отношениями чередования (*то/то*) и неразличения (*то ли/то ли, не то/не то, может.../может...*).

Дизъюнкция отличается особенной чувствительностью к своему контексту в диапазоне значений от несовместимости до неразличимости (тождества).

Дизъюнкция может оформлять:

- выражение альтернативы при выборе, например, *Либо вершки, либо корешки*;
- безразличие по отношению к альтернативам: *Мы пойдем в театр в субботу или в воскресенье*;
- эквивалентность разных обозначений одного и того же объекта: *Синтаксис изучает структуру фразы, или предложения; У дороги зацвела ромашка, или нивяник*;
- приблизительную оценку: *Там было пять или шесть человек*.

Дизъюнкция активно взаимодействует с глагольными предикатами. При этом глаголы выражают, в частности:

- процесс и его восприятие — *Происходит или А, или В; Не вижу, или это А, или В*;
- присвоение (выбор) — *Беру или А, или В*;
- прогнозирование деятельности, события — *Сделаю или А, или В; Будет А или В*;
- предположение (о прошлом состоянии дел) — *Было либо А, либо В*.
- подготовительный этап — *Нужно А или В* (что равнозначно).

Обратной операцией по отношению к дизъюнкции является сама дизъюнкция, т. е. она обладает известным свойством коммутативности:

$$A \vee B = B \vee A \text{ (А или В — то же, что В или А).}$$

Противоположна дизъюнкции операция **антидизъюнкции**, выражаемая союзом *ни/ни*: *Не иметь ни кола, ни двора*. Ср. употребление того же оператора *ni/ni* во французском языке, в аналоге этой же поговорки: *N'avoir ni feu ni lieu*.

Отметим, что антидизъюнкция является также противоположной для операции объединения (*и А и В*).

Полярные отношения между смыслами языковых выражений включают в себя отношения сходства-различия в широком диапазоне: от отношений тождества (полного совпадения), эквивалентности (смыслового тождества) и подобия — до контрарности (противопоставительности) и контрдикторности (несовместимости значений).

По традиции при рассмотрении отношений сходства-различия между содержаниями высказываний принято опираться на свойства отражаемых объектов. Если исходить не из отношений, а из самих языковых операций, то мы будем иметь дело не с тождеством, а с отождествлением, не с подо-

бием, а с уподоблением, не с контрарностью, а с противопоставлением, не с контрдикторностью, а, скорее, с операцией сопряжения несовместимого и т. д. Именно операция, осуществляемая говорящим, определяет характер отношения между компонентами: «объективно» тождественное может быть подвергнуто расподоблению: ср.: *Il y a des manières et des manières*; а объективно несовместимое, напротив, сплошь и рядом подвергается отождествлению: *Этот человек — настоящий медведь*.

Операция **уподобления** в общем случае выражается формулой «А как В». Близка к уподоблению операция **сравнения**. Исследователь семантики метафоры Мишель Легерн отмечает различие между грамматически идентичными формами уподобления *Jacques est bête comme un âne* и сравнения *Jacques est bête comme Pierre*. В первом случае возможно отождествление соотносимых компонентов и эллипс, дающий метафору *in absentia*: *Jacques est un âne* → *Quel âne!* Но это невозможно в случае сравнения объективно сопоставимого: **Jacques est Pierre* → **Quel Pierre!* [Le Guern, 1973, 62–63]. Можно отметить также момент коммутативности, присущий сравнению: *Петр высок, как Павел* → *Павел высок, как Петр*; что не действует при уподоблении, ср.: *Петр неуклюж как медведь* и **Медведь неуклюж как Петр*. Перестановка при уподоблении дает иной смысл, иначе говоря, разрушает смысловой инвариант. В стилистике сложилась традиция различать операции сравнения и уподобления как два вида сравнения: логическое и образное. Основание сравнения (уподобления) — это всегда хорошо известная величина.

Еще один важный момент, общий для сравнения и для уподобления, состоит в том, что и та и другая операции, вообще говоря, не дают полного отождествления сопоставляемых величин: *А как В* подразумевает то, что В — это все-таки не А, их надо отличать друг от друга.

Союзный оператор **как** (фр. *comme*) является общим для сравнения и уподобления. Среди других союзных операторов наблюдается специализация: к сравнению (и отождествлению) тяготеют союзные выражения **так же как, точно так же как** (фр. *aussi que*), а к уподоблению — **будто, словно, вроде бы, как бы** (фр. *comme si*).

Отметим, что сравнение, в отличие от уподобления, не обязательно результируется отождествлением. Это может быть ранжирование по степени признака, типа «А больше, чем В» или «А меньше, чем В».

В соотнесении величин естественно использование парных операторов, среди которых указывающие на тождество и равенство: **так — как, столько — сколько, что — то** (ср. *Что посеешь, то и пожнешь*); на пропорциональное изменение величин **чем — тем, настолько — насколько**, и т. д. Авторы «Русской грамматики» [1982, 610] отмечают также парный союзный оператор **если — то** (если — зато) в сопоставительном значении, где он указывает на контрастное сопоставление.

Противоположной для операции уподобления является операция **расподобления**, общий смысл которой «А не как В», или «А не то, что В». При этом хотя бы один из термов должен быть столь же хорошо известным, как и основание для операции сравнения: *Ваш дом совсем не такой, как наш*. Синтаксическое расподобление используется в поэзии: *Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник (М. Лермонтов)*. Иногда оно принимает достаточно сложные формы:

Не бесы — за иноком,
Не горе — за гением,
Не горной лавины ком,
Не вал наводнения —
Не красный пожар лесной,
Не заяц по зарослям,
Не ветры под бурюю —
За Фюрером — фурии.

(М. Цветаева)

Расподобление, как и уподобление, может свертываться в моночленную конструкцию: когда подвергается отрицанию основание сравнения (отождествления), семантика которого тривиально известна, например: *Нет, я не льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю (А. Пушкин)*; *Я не богач, не царедворец, Я сам большой: я мещанин (А. Пушкин)*. Можно сказать, что это конструкции, в которых разрушается отождествление in absentia.

На синтаксическом уровне можно наблюдать также семантическое расподобление целых высказываний, которое выглядит как контекстная транспозиция с нелинейным переключением смысла с одного уровня представления реальности на другой, например: *Смотрите, птицы улетают на юг. Осенью птицы всегда улетают на юг*. Здесь переключение происходит от единичного смысла к генерализованному при участии контекстных лексических операторов (*осенью, всегда*).

Контрастному сопоставлению в дискурсе соответствует операция **контрапозиции**.

Ее суть можно выразить общей формулой «А, но В»: *Журча еще бежит за мельницу ручей, Но пруд уже застыл (А. Пушкин)*; *Ses yeux étaient fermés, Mais elle était déjà debout... (P. Eluard)*. Ослабленный вариант контрапозиции в русском языке передается союзом *а*, это так называемое «распределительное» употребление союза *а*, которое создает полярность смыслов: *Один поехал на север, а другой на юг; Ночью мы работаем, а днем отдыхаем*.

При контрапозиции возникает эффект контекстуальной антонимизации компонентов высказывания: *Писатель пишет, а читатель читает*. Взятые отдельно от контекста предикаты *писать* и *читать*, так же как и их актанты *писатель* и *читатель* не являются антонимами.

Операторами контрапозиции являются также союзы *тогда как, в то время как*; ср. французские *tandis que, alors que, pendant que*, создающие контрастное сопоставление: *Le rouble augmente, alors que le dollar baisse*. Но часто контрапозиция осуществляется без посредства союзов, лишь на основе антонимических выражений. В риторике соответствующая фигура носит имя антитезы. В следующем примере *Мир хижинам — война дворцам* имеем двойную контрапозицию: *мир ⊕ война, хижины ⊕ дворцы*, т. е. своего рода антонимический квадрат.

Если учитывать разные типы лексических противопоставлений и, в том числе, создание полярностей посредством парных выражений типа *один/другой, здесь/там, еще/уже, тогда/теперь, вчера/сегодня, это/то* и т. п., то можно констатировать отсутствие резкой и непроходимой границы между собственно лексическими (полнозначными) и синтаксическими (формальными) операторами, оформляющими синтаксические структуры с противопоставительными смыслами.

Ю. К. Лекомцеву [1983] принадлежит опыт описания текста как совокупности «смысловых напряжений» между компонентами, создаваемых многими парами антонимов, входящими в его структуру. Опираясь на алгебраическую логику, автор придает своему описанию строгую основу, определяя отношение между антонимическими парами полюсов по типу отношения симметрической разности двух величин (объединения их относителем разностей): $A \oplus B = (A - B) \vee (B - A)$, т. е. «А, но не В, и одновременно В, но не А».

Описывая художественный текст как структуру, состоящую из антонимических полярностей, Ю. К. Лекомцев выделяет два типа антонимии: абстрактную и перцептивную, которая, в отличие от понятийной абстрактной, несет в себе содержание энергетических реальностей. Он приводит в качестве примера текст, в котором тема «вода» и ее контртема «огонь» варьируются в разнообразных версиях на протяжении всего дискурса, причем «повторы отдельных полюсов создают особую композиционную игру», в которой участвуют также предикаты притяжения и отталкивания.

Автор приходит к следующему выводу: «Система антонимов, стоящая за некоторым текстом (а может быть, и более широкая система противопоставлений) в большей степени определяет текст, чем структура сюжета. Пары антонимов (включая неточные антонимы и антонимические комплексы) строят впечатление о тексте подобно тому, как антонимические значения определяют архитектуру семантических полей» [Лекомцев, 1983, 205].

Антонимическая контрапозиция является сильным организующим началом для поэтического дискурса, что можно наблюдать в следующем примере из Поля Элюара:

Le buisson où la bête est vraie
 La bataille où la bête est fausse
 La campagne où la terre est belle
 La caverne où la terre est laide
 Le pays où le bonheur gagne
 Le désert où la mort s'impose
 La nuit où l'homme se soumet
 La nuit où l'homme se libère
 La nuit où l'homme fait le jour.

(P. Eluard. Fresque)

Базовые антонимические пары здесь состоят, в основном, из системных антонимов: *vraie* ⊕ *fausse*, *belle* ⊕ *laide*, *bonheur* ⊕ *mort*, *se soumet* ⊕ *se libère*, *nuit* ⊕ *jour*. Характерно, что почти все эти пары порождают вторичную антонимизацию — собственно контекстуальные антонимы:

(*vraie* ⊕ *fausse*) → *buisson* ⊕ *bataille*;
 (*belle* ⊕ *laide*) → *campagne* ⊕ *caverne*;
 (*bonheur* ⊕ *mort*) → *pays* ⊕ *désert*.

Примечательно, что в последних строках антонимизации подвергается даже одно и то же слово: (*se soumet* ⊕ *se libère*) → *nuit* ⊕ *nuit* (ночь, которая освобождает человека, совсем иная, чем ночь, которая его поработывает). Контрапозиция создает контекст, который действует как катализатор, порождая саморасподобление слова *nuit* и доводя его до смыслового расщепления единого, до антиномии.

§ 5. Дискурс с особенностью: паратракативные конструкции

Семантическая разность между параллельно соплагаемыми высказываниями иногда настолько велика, что не имеет смысла говорить о притяжении или отталкивании между их предикатами, поскольку их сочетание выглядит как бессмысленное, абсурдное. Этот эффект достигается как при совмещении несовместимого, так и при измененном удвоении единого, что соответствует условиям «логики абсурда», законами которой являются любые нарушения всех законов обычной логики — закона тождества, закона противоречия и закона исключенного третьего [Поршнев, 1974, 471].

Известно, что абсурдное провоцирует усилия его осмысления. Повидимому, соприкосновение чуждых друг другу полюсов обладает особым синергетическим эффектом. Вообще говоря, бессмыслицу, несущую в себе синергетический заряд, не так просто породить в речи, по крайней мере, труднее, чем порядок: говорящий неизбежно скатывается к некоторому центру или полюсу притяжения, регулярному аттрактору — предмету речи, «теме», событию, причинным связям, речевому стандарту,

сингулярный же момент (особенный, «странный» аттрактор) от него ускользает. Сингулярность, уникальность выражения достигается, таким образом, не путем обычной автоматизированной аттракции, но сочетанием обычно разобщенных, «не знакомых друг с другом» выражений, посредством их своего рода насильственного сопряжения — **паратракции**.

Типы конструкций, порожденных в результате операции паратракции сравнительно немногочисленны в языке. Они носят названия паралогизмов, небылиц [см. Левина, 1983], контраверз, оксюморонов и т. д. Многие из них широко известны: *Свободный раб*; *Живой труп*; *Круглый квадрат* и *Квадратный круг*; *Слепой увидел*, *немой закричал*, и др. Сюда же относятся придуманные бессмысленные фразы, и среди них, надо заметить, некоторые отличаются редким долготельством; взять хотя бы знаменитую «глокую кузду» Л. В. Щербы или менее известное «бесцветные зеленые идеи яростно спят» Н. Хомского. Интересно, что речевые произведения такого рода устойчиво провоцируют желание говорящего многократно повторять их, выговаривая от начала до конца. Нестандартность выражения достигается также путем неадекватного применения связующего оператора: *Если дважды два четыре, то Волга впадает в Каспийское море*. Понятно, что для осмысления такого рода выражений может быть привлечен некоторый специальный контекст.

В наиболее общем виде паратракция выглядит как параллельное соединение высказываний, в котором можно обнаружить и сопоставление и противопоставление одновременно, на что и указывает Роман Якобсон, говоря о моментах тавтологии, антонимии, синонимии и наличии параллельных ссылок на тесно смежные и близко схожие явления в «Песне о Фоме и Ереме» [Якобсон, 1983, 465]:

Ерему в шею, а Фому в толчки!
 Ерема ушел, а Фома убежал,
 Ерема в овин, а Фома под овин,
 Ерему сыскали, а Фому нашли,
 Ерему били, а Фоме не спустили....

По отношению к подобным текстам мало говорить лишь о семантическом сходстве и противопоставлении. Благодаря паратракативной связи высказываний даже очевидные синонимы перестают в них восприниматься как синонимы.

Характерные примеры можно найти и в народных песнях, где при паратракативном сопряжении высказываний в одних случаях еще можно усмотреть сопоставление и сравнение:

Во сыром бору кукушечка кукует,
 В нас во тереме молодушка горюет...

(Киреевский, 1983, 42);

в других же можно констатировать лишь наличие паратракативной связи:

На горке калина, под горою малина,
Молодая девчечка молодчика любила

(Киреевский, 1983, 130).

Редкость паратрактивных конструкций — при их обычности для поэтических текстов — свидетельствует о том, что для их производства следует обладать особым даром или же быть в состоянии вдохновения, которое позволило бы уклониться от притяжения привычных автоматизмов в построении текста. Подтверждением сказанному может быть, в частности, факт немногочисленности литературных произведений абсурдного содержания, например, некоторые произведения Льюиса Кэрролла, творчество обернутов (Даниил Хармс) и немногие другие, несущие в себе явный, неприкрытый абсурд, нарочитое нагромождение противоречий, дискурс, перенасыщенный особенностями.

Более распространенным явлением, хотя тоже не столь частым в построении поэтического дискурса, является паратрактивное переплетение абсурдного и невозможного с достоверным, игра явных и скрытых противоречий, обостренное представление абсурдных сторон самой реальности (произведения Н. Гоголя, М. Булгакова). Дискурс именно такого рода обладает наибольшей художественной силой и устойчивой притягательностью, побуждая читателя к мыслительной активности.

Паратрактивный принцип построения присущ японской классической поэзии [примеры взяты нами из: Боронина, 1978]. Параллельные конструкции в ней наталкивают на раздумье неожиданными, *особенными*, переключениями и поворотами смысла. Таковы трехстишия Мацуо Басе (в переводе В. Марковой):

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Или:

Солнце зимнего дня!
Тень моя леденеет
У коня на спине.

Именно паратрактивный характер носит отмеченный И. А. Борониной [1978, 56] у поэта Цураюки прием «сравнения-тождества», при котором одно явление «не только уподобляется другому, а как бы приравнивается к нему»:

Вишни цветы —
Вот они и расцвели:
В распростертых горах
Из расщелин
Виднеются белые облака.

Попытки некоторых переводчиков придать таким стихам «причесанный» вид, соединяя фразы союзами сравнения и сопоставления (как, подобно, словно) лишь убивают заложенный в *особенной* форме синергетический импульс для мыслительной активности, медитации.

Любопытно то, что вместо типичного для европейской культуры прямого выражения уподобления словами *словно*, *будто* в японском стихе чаще встречается, по-видимому, более древний способ передачи иллюзии, кажимости впечатлений через глаголы проявления признака у явления и его восприятия — *казаться*, *выглядеть*, *принять за* [см.: Боронина, 1978, 55, 57], что удачно воспроизведено переводчиком в стихе поэта Томонори:

В Миесино,
В горах расцветшие
Вишни цветы,
Их можно лишь за снег
Ошибочно *принять*.

Приемы, поразительно сходные с описанными выше, мы находим в поэтических миниатюрах Михаила Пришвина, как в следующем примере, где соблюдается строгий синтаксический параллелизм, а квазиподобление скрыто в глаголе «впечатления» *думать*:

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. *Думал*, в глазах это порябило, а это оказался первый цветок (М. Пришвин).

Интересно привести еще один пример этого автора, где антонимичность оказывается на поверку лишь кажущейся: на деле это дискурс с особенностями в силу необычности созданных автором полярностей:

Животным, от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям — вода: они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас бывает земная любовь и небесная (М. Пришвин).

Квазипротивопоставление *любовь — вода* является здесь узловым. Оно выступает как особенность: во-первых, благодаря своей нетривиальности и, вообще говоря, бессмысленности, если его брать отдельно от микросистемы его «родного» дискурса; во-вторых, благодаря своему энергетическому характеру: сопряжение *любовь — вода* — это сопряжение двух жизненных стихий, которые сами по себе, очевидно, являются особенными феноменами человеческого универсума. Столь же неожиданным является и сопряжение, составляющее паратрактивный квадрат: (*вода*) с *земли и с неба* — *земная любовь и небесная*.

Здесь системная антонимичность (*земля/небо*) становится нетривиальной именно потому, что поэт увидел особенную сторону этой контрарности: неожиданно сделал ее необщей, связанной с индивидуальным свойством

растения, и здесь же слил ее с абстракцией земной и небесной любви, в результате чего абстракция стала как бы живой реальностью: любовь стала водой, а вода — любовью, оставаясь в то же время сами собой, а отсюда и нейтрализуется оппозиция между живыми существами и растениями, неожиданно обнаруживается их глубокая общность, единство.

Паратрактивному сопряжению образов могут сопутствовать другие операции, в частности, расподобление, например: *Не два волка в овраге грызутся, Отец с сыном в пещере бранятся* (А. Пушкин); или:

Что не конский топ, не людская молвь,
Не труба трубача с поля слышится,
А погодушка свищет, гудит,
Свищет, гудит, заливается.

(А. Пушкин)

При паратрактивном сопряжении создаются интересные эффекты смыслового контрастирования, например, при помещении в ряд семантически однородных выражений некоторого выпадающего из общего ряда — *особенного* выражения или высказывания, в результате чего смысл последнего испытывает изменение, в частности, усиление, как в следующем примере:

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

(Б. Пастернак. Вариации)

Смысл выражения *Черновик «Пророка»* просыхал интенсифицируется, попав в серию высказываний, создающих для него контекст вселенского масштаба (Ср., например, такой бытовой контекст: «Черновик “Пророка” просыхал, а усталый поэт отложил перо и дремал в своем кресле»).

В математике принято говорить о нетривиальном способе решения задачи как о красивом решении. Б. Пастернак красиво решил задачу поэтического выделения самого момента рождения под рукой мастера уникального стихотворения, представив его как событие всемирного значения путем его контрастной сингуляризации в дискурсе.

Но рассмотрим противоположный случай, когда одно из многих выражений создает смысловую индукцию, придает совершенно новый акцент всему остальному смысловому фону.

Так, в следующем примере, в тексте стихотворения Жака Превра *«Inventaire»* («Перечень»), обычное перечисление становится нетривиальным благодаря помещению в ряд однородных величин, некоторой величины, выпадающей из этого ряда, что создает эффект контрастирования и побуждает к поиску переосмысления всего текста в силу столь неожиданного появления в этом «списке» названия зверька (*raton laveur*):

Une pierre
deux maisons
trois ruines
un jardin
deux fleurs
un raton laveur...

(J. Prévert. Inventaire)

Выпадающее из общего ряда выражение *raton laveur* оказывается тем катализатором, который индуцирует неожиданное игровое переосмысление всего предыдущего.

Сходство приема в двух последних примерах очевидно. Но в тексте Ж. Превра катализатором является один из «актантов» дискурса. А в тексте Б. Пастернака катализатором оказывается контекст, создающий контраст для выражения *Черновик «Пророка»*, попавшего в фокус этого контекста.

Оба примера относятся к явлениям трансполяции — создания смысла за счет семантического расщепления языковой формы, в результате чего выражение оказывается нетождественным, по отношению к самому себе: $A \neq A$, что выглядит абсурдно и, тем не менее, реально существует. Паратракция не только совмещает несовместимое, но и расщепляет единое.

Из всех операций полярной размерности паратракция наиболее содержательна и разнообразна по своим эффектам. Во-первых, она является обобщением для всех других операций полярной размерности, которые представляют собой ее в той или иной степени ослабленные варианты. Во-вторых, она, в силу своего более общего характера, не предполагает симметрии сопрягаемых компонентов. Несмотря на это, паратракция в принципе коммутативна, то есть при перестановке своих компонентов она остается паратракцией, хотя это и может повлечь некоторую вариацию смысла, ср.: *богатый бедняк и бедный богач*.

Важная особенность паратрактивной конструкции заключается в том, что смысловая аномалия в ней не подлежит коррекции, а смысловой пробел не подлежит восполнению. Это касается всех небылиц и оксюморов, в которых сама паратрактивная конструкция и остается носителем смысла, сконцентрированного в ее странном фокусе.

Вместе с тем, существует возможность дезабсурдизации паратрактивной конструкции. Для этого необходимо построение такого контекста, который обеспечил бы смысловую интерполяцию несовместимых слов. Устранение противоречия может быть реализовано разными способами. Это может быть любой достаточно произвольный комментарий, благодаря которому даже заведомо абсурдное сочетание не будет выглядеть таковым, например: *Квадратный круг — это танцевальный «круг», имеющий форму квадратной площадки; Слепой увидел, немой закричал (Это были разведчики, которые специально притворялись увечными при выполнении задания).*

Сводная таблица операций полярной размерности

Исходная операция	Обратная операция	Противоположная операция	Обобщающая операция
Конъюнкция	Конъюнкция	Паратракция	Паратракция
Дизъюнкция	Дизъюнкция	Антидизъюнкция	Паратракция
Отождествление	Отождествление	Контрапозиция	Паратракция
Сравнение	Сравнение	Контрапозиция	Паратракция
Уподобление	*	Расподобление	Паратракция
Расподобление	*	Уподобление	Паратракция
Контрапозиция	Контрапозиция	Отождествление	Паратракция
Паратракция	Паратракция	Конъюнкция	Паратракция

Из таблицы видно, что каждая операция полярной размерности имеет для себя противоположную, и почти каждая является обратной сама себе, за исключением операции уподобления, которая не является коммутативной. Большинство исходных операций находит свое обобщение в операции паратракции, т. е. их можно расценивать как в разной степени и в разном отношении ослабленные варианты паратракции. Действительно, в каждой из них имеет место некоторая доля несовместимости компонентов. Даже отождествление в общем случае паратрактивно, поскольку, в принципе, могут быть отождествлены любые объекты.

Можно предположить, что паратракция важна не только для организации дискурса, например, как носитель ключевого противоречия, но и сыграла значительную роль в становлении языка.

§ 6. Межранговая общность операторов дискурса.

Операторы различных уровней дискурса — фразового, межфразового и надфразового, а также гиперфразового диалогического — обладают, как мы это увидим далее, определенной логической общностью в характере установления соответствий между дискурсивными компонентами, хотя при этом они отличны друг от друга в плане своей семантической насыщенности, или плотности.

Прежде всего, обратим внимание на факт смыслового соответствия между бинарными, двучленными (а нередко и многочленными) конструкциями и унарными, монотренными. Так, монотренная метафора является свернутой, уплотненной формой операции уподобления: $(A \text{ как } B) \rightarrow (A = B) \rightarrow B$: $(\text{Петр неуклюж как медведь}) \rightarrow (\text{Петр} — \text{медведь}) \rightarrow \text{Медведь}$.

Многие другие операции тоже имеют свои монотренные аналоги.

В алгебре, вместо того, чтобы записывать всю многочленную последовательность, в основе которой лежит отношение порядка ($A < B < C < D$ и т. д.), пишут обобщенную формулу, выражающую суть отношения порядка: $A < B$, т. е. «*A меньше B*».

В выражениях естественного языка упорядочение объектов может быть дано как ранжирование по степени представленности в них какого-нибудь признака, например:

A больше (выше, сильнее, лучше), чем B;

A меньше (ниже, слабее, хуже), чем B.

Предельным уплотнением такого упорядочения является обобщающая его оценка [ср.: Шеннон, 1963, 31]. Говоря, что *N высок*, мы тем самым относим его к определенному месту в упорядоченной по данному признаку последовательности, модель которой у нас хранится в памяти. Впоследствии мы можем принять один из членов этого порядка в качестве образца и сделать его эталоном, мерой для оценки [см. Ивин, 1970, 31]. Если объект сравнивается по физическим характеристикам, то мы имеем дело с измерением, если по своему приоритету (*A лучше, чем B*), то мы получаем оценку предпочтения, которая в свернутом виде дает **валоризацию** объекта: *хороший/плохой*.

Валоризация *хорошо/плохо* обычно связана с тем фактом, что данный объект подходит, пригоден, соответствует, удовлетворяет требованиям, или же напротив, не устраивает в данной ситуации.

Уплотнением операций типа дизъюнкции можно считать модальные выражения *возможно, вероятно, может быть*.

То есть, дизъюнкция: *Либо A, либо B* означает: *Возможно A и Возможно B*.

А если, например, мы утверждаем: *Возможно A*, то мы этим самым свертываем в монотрен исключаящую дизъюнкцию: *либо A, либо не-A*.

Для операции сложения (*и*) можно тоже подыскать аналоги среди других операторов, выражающих совместность величин: *с, вместе с*, в том числе и такие глаголы, как *присоединять, соседствовать, сопутствовать, сходится, содействовать*, и др.

Фразовая операция вычитания имеет свои аналоги среди глаголов таких, как *отнять, отщепить, отвергнуть, утратить, потерять, уронить*, и др. Ее предельными уплотнениями будут операторы отрицания (*не*) и исключения (*нет*).

Для исключения противоположным является оператор утверждения наличия (существования) — *есть*. *Нет* = *не есть (не существует)*. Оператор *есть* выражает операцию инклюзии (ввода объекта, значимого для развертывания дискурса). Он может быть также представлен как уплотнение операции сложения, или присоединения, но в ее вырожденном случае, то есть, как присоединение к нулю: *Есть A* = $0 + A$, или «*Нуль и A*».

Валоризацию *хорошо/плохо* можно вполне соотнести с родственным ей оптативным оператором *желательно/не желательно*, который тоже может использоваться как оператор предпочтения, но с той оговоркой, что он сосредоточивает в себе также момент аттрактивности, указывает на влечение к некоторому объекту-аттрактору. К этому оператору примыкает группа других операторов, таких как *желательно, нужно (надо), важно, должно*. Эти оптативные операторы фактически представляют собой уплотнения операций группы аксиализации, обычная форма которой *Надо А, чтобы В*, или *Надо А для (того чтобы) В*.

Фокальный оператор *значит*, как и омонимичный ему оператор отождествления в выражениях типа «А значит В» (А есть В), являются производными от одного того же глагольного предиката «*значить*».

Заметим, что мы пришли от синтаксических операторов к глагольным выражениям. В семантике глагола присутствует как референтная сторона — он обозначает процесс (действие, состояние), так и психологическая — он выражает элементы деятельности человека. Обычно при классификации глаголов принимают во внимание по преимуществу их денотативный — бытийный или событийный — аспект. Но существуют и описания, учитывающие психосемантические параметры глагола, в том числе мотивационные, установочные и фазисные [Сильницкая, Сильницкий, 1983].

Связывая между собой имена событий, глагол, как это было подмечено Ю. Д. Апресяном [1971, 196], функционально сближается с союзами.

Союз может не быть употреблен для связи высказываний, но смысловой заряд каждого из высказываний и сам характер их соположения может индуцировать смысл той или иной операции и соответствующего союза. Например, сочетание высказываний *Выпал снег. Движение остановилось* индуцирует использование имплицативного союза: *Выпал снег, поэтому движение остановилось*. Ясно, что не всегда союзный оператор может быть восстановлен однозначно. Но тот же смысл может быть выражен и одной фразой с глагольным оператором, например: *Снегопад вызвал остановку движения*.

Глагольный оператор, как и союзный, может быть опущен. Однако глагол обладает способностью незримо, сопряженно присутствовать в высказывании: *Под окном — сигнал. Хозяйка — на балкон. Внизу — машина*. Очевидными кандидатами на подстановку в эти предложения являются глаголы: *раздался (послышался), вышла (выбежала), была (стояла)*. Глагол в составе высказывания является носителем важного грамматического значения, которое неустранимо даже при опущении самого глагола. Поэтому он легко восстанавливается на своем месте благодаря комбинаторной индукции смысла в синкопированном высказывании.

Глаголы, выражающие влечение и причинение вполне соотносимы с союзами имплицативного типа. Именно посредством таких глаголов и описывается смысл имплицативных операторов: *вызывает, влечет, вытекает, следует из, обуславливает* и т. п.

Глагол содержит в себе смысл синтаксической операции в уплотненном виде. Глаголы, выражающие действие или состояние, оказываются по своей семантике более плотными операторами, чем те, за которыми закрепились определенная грамматическая функция, например, модальная, ср. глагол *желать* и оператор *желательно*, глагол *мочь* и оператор *возможно*. Операции группы сложения непосредственно корреспондируют с более плотными, т. е. более богатыми по своему содержанию глаголами, такими, как *складывать, присоединять, прибавлять, добавлять, объединять*, а группы вычитания — с глаголами *отнимать, отвергать, отталкивать, терять*.

Каждый глагол воздействия содержит в себе то, что в специальной форме подается в операторе импликации. Но глагол же выражает и эффект воздействия, например, если что-то *влечет*, то влекомое *стремится* к нему или сопротивляется этому влечению. Глаголу, создающему аксиальный момент (момент целенаправленного действия) может отвечать глагол успеха или неуспеха: *выстрелил — попал/промахнулся; спешил — успел/опоздал; погнался — поймал/упустил*, и т. п. Для тех же ситуаций мы получим и другие «ответные» глаголы, сопряженные с исходными, только они будут уже ответами объекта на воздействие, например, *выстрелил/увернулся → промахнулся; погнался/убежал → упустил*.

Динамика деятельности не развивается независимо от динамики ситуации, но обязательно дополняется ею. Поэтому глагол, как правило, не бывает одинок в языковой «игре», у него всегда есть партнеры, и чаще всего их бывает несколько.

Можно также указать довольно отчетливую корреспонденцию между вопросительным высказыванием, модальным оператором, глаголом и дизъюнкцией: *Он придет? = Возможно, он придет = Он может прийти = Он либо придет, либо не придет*. Во всех этих высказываниях прослеживается семантика неопределенности, которая в логически расчлененном виде представлена в дизъюнкции. Сюда же можно присовокупить глаголы, выражающие неуверенность, сомнение и т. п.

Если рассматривать дискурс в качестве лингвистического посредника между говорящим и слушающим, то неожиданно очевидным становится факт восприятия слушающим дискурсивных операций как своего рода предписаний, команд.

Так, союз «и» в *А и В* может интерпретироваться, как *Сложи А с В*, или *Соедини А с В*. Парный союз в *Если А, то В* — как *Из А выведи В*. Дизъюнкция *либо А, либо В* может интерпретироваться: *Дано: А, В, выбери одно из них*, причем условие выбора может быть ослаблено: *Выбирай любое из них*.

Особенно наглядной становится эта эквивалентность при буквальном выражении операций в форме команд автором дискурса, что свойственно, в частности, стилю математического и вообще научного изложения, где

используются глаголы в императивной форме как второго лица, так и первого лица множественного числа: *Допустим, что есть объекты А, В, С...; Возьмем, например... Сложите А и В ... Выделим из множества М некоторый элемент а, и т. п.*

Команде логически предшествует указание на исходные данные, над которыми должно совершить операцию. Если таких данных нет, то будет команда их найти, например, *Найдите элементы А и В*. Если об этих элементах ничего неизвестно, то команда может принять вид: *Найдите элементы А и В такие, что...* или *Возьмите в месте М элементы А и В*. В первом случае элементы определяются через их свойства, во втором через адрес. В первом случае — инферентное определение, во втором — референтное, которое может быть и чисто дейктическим: *Возьмите вот эти элементы*.

Мы чаще всего не замечаем того, как используем вместо операций исчисления операции-команды и наоборот. Все они выступают в дискурсе как регулятивные операторы, задающие порядок дискурсу, управляющие процессом исчисления. Причем некоторые из них являются не межфразовыми, а **надфразовыми**. К последним, кроме регулятивных операторов-команд, типа *Допустим, Возьмем, Представим, Как известно*, относятся и порядковые операторы: *во-первых, во-вторых, к тому же, а также, сначала, потом, наконец*, и сопоставительные: *с одной стороны/с другой стороны*, и операторы вывода: *итак, следовательно, таким образом*, и т. д. Сюда же относятся и операторы *ведь, же, еще, уже*, указывающие на действенность или отмену тех или иных посылок [см. Николаева, 1982]. Исторически операции исчисления, вероятно, являются производными от операций управления.

Говорящему удастся отслеживать построение смысла высказывания одновременно на всех языковых уровнях именно благодаря межранговой общности дискурсивных операторов, что дает возможность представления одного и того же смысла с разной степенью уплотнения.

Таблица развернутых и свернутых форм дискурсивных операций

Развернутые формы	Соответствующая риторическая фигура	Свернутые формы
Вычитание	Анакопа	<i>Не</i> — отрицание Глаголы <i>отщепления, захвата</i>
Исключение	Апокопа	Глаголы <i>отторжения, отвергания, отдаления</i>
Импликация		<i>Поэтому, Влечет</i>
Аксиализация		<i>Нужно, Желательно</i>
Фокализация	Эллипсис	<i>Значит</i>
Протракция	*Экзотропа	<i>То; глаголы отталкивания, растяжения, разделения</i>

Окончание таблицы

Развернутые формы	Соответствующая риторическая фигура	Свернутые формы
Ретракция	*Эндотропа	<i>Это; глаголы притяжения, стяжения, сжатия</i>
Ввод, инклюзия	*Энклиза	<i>Есть (быть)</i> Глаголы <i>ввода, вталкивания</i>
Извлечение, экстрагирование	*Анастрофа	<i>Значит, Следовательно</i> Глаголы <i>извлечения, выявления</i>
Уподобление	Метафора	<i>Сходиться</i>
Расподобление	Аллегория	<i>Расходиться</i>
Дизъюнкция		<i>Возможно, может быть</i>
Контрапозиция	Антитеза	<i>Противостоять</i>
Паратракция	Оксюморон, Синкопа	<i>Противоречить, расщеплять</i>

Знаком «*» отмечены термины, введенные для полноты описания: приблизительные кальки соответствующих терминов латинского происхождения.

Момент, представляющий особый интерес, — это выявление ядерных (или глубинных) языковых операторов, системных семантических констант, из которых и строится смысл слова, высказывания, дискурса. Речь идет о конкретных операторных элементах, скрытых в морфологической структуре слова и положенных в основу его значения. Ядерные семантические компоненты следует искать в корневых морфемах слов и прежде всего — глаголов, выражающих действие. Именно их корневые компоненты являются, по-видимому, не только изначальными носителями смысла, но и теми элементарными кирпичиками из которых, в конечном счете, строятся высказывания и все здание дискурса.

Семантика глаголов корреспондирует с семантикой дискурсивных операторов, то есть, в основе и выраженного глаголом действия и синтаксической операции лежат одни и те же базовые смыслы. Только в глаголе они представлены в уплотненном виде.

Обзор дискурсивных операций показывает, что, во-первых, одни из этих операций тяготеют к смыслу соединения, другие — к смыслу разрыва, а во-вторых, эти операции различаются по силе. При этом более слабые операции оказываются частными случаями сильных операций, трактивного типа. Обладая наибольшим динамизмом, эти операции оказываются принципиальными для построения дискурса. Поэтому в глагольных корнях следует искать прежде всего уплотнение именно операций типа свертывания, стяжения и развертывания, расщепления.

Можно полагать, что на начальных этапах становления языка, когда он был тесно связан с ситуацией, не требовалось создания пространного

дискурса, и поэтому для адекватного управления поведением было вполне достаточно использования плотных по семантике операторов-команд, «протоглаголов», которые отличались тем, что выражали одновременно и смысл действия и, по дополнительности, смысл связанной с ним ситуации. Тот смысл, который сегодня в языке обычно выражается развернутым дискурсом, был некогда сосредоточен в высказывании, состоящем из единого слова, выражающего действие.

Выводы по главе IV:

1. Линейный порядок в дискурсе первичен по отношению к операциям, создающим сопоставительные, полярные отношения между компонентами. Дискурсивные операции образуют, соответственно, структуры порядковой и полярной размерностей.
2. В порядковой размерности дискурса существуют операции, не выраженные специальными союзами и конкретизированные операторным словом. Среди последних выделяются: операции аддитивного и субтрактивного типов, операции группы импликации.
3. Установление смысловых соотношений между компонентами дискурса может происходить по типу протракции — развертывания (одно — многое), или по типу ретракции — свертывания (многое — одно).
4. К полярной размерности принадлежат различные сочетания компонентов как полюсов дискурсивных сопоставлений в диапазоне от отношений тождества до контрадикторности, которым соответствуют операции полярных типов. Среди них видное место занимает операция сопряжения несовместимого — паратракция, которая дает особые смысловые эффекты — от контрастирования до абсурдности.
5. Операторы разных уровней дискурса обладают логико-семантической общностью. Глаголы как фразовые операторы функционально корреспондируют с межфразовыми — союзами, а союзы с регулятивными операторами — командами. В основе и синтаксической операции, и глагола лежит одна и та же семантика, только на разных ступенях уплотнения. Глагол обладает наиболее плотной семантикой и, следовательно, способен содержать в себе в свернутом виде все операции, принципиальные для построения дискурса.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Лингвосинергетические аспекты дискурса

ГЛАВА V

Дискурс как фазовое пространство

§ 1. Фазовый состав синтагмы: профаза и эпифаза

Деятельность языкового сознания доступна наблюдению как речевая деятельность, изучая которую необходимо последовательно разграничивать процесс самой речевой деятельности и те явления, которые в ней отображаются, представляя, как субъективная реальность, пропущенная через призму языкового сознания.

«Речевое действие является частным случаем действия, а речевая деятельность — частным выражением общих принципов человеческой деятельности» [Веккер, 1981, 288]. Дискурс формируется в процессе речевой деятельности как последовательность речевых действий, среди которых выделяются синтагмы — сочетания бинарные по своему составу.

Ф. де Соссюр писал, что «синтагма всегда состоит минимум из двух следующих друг за другом единиц, например, *re-lire* (перечитать), *contre tous* (против всех), *la vie humaine* (человеческая жизнь), *s'il fait beau temps*, *nous sortirons* (если будет хорошая погода, мы пойдем гулять) и т. п.» [Соссюр, 1977, 155].

Синтагмы выделяемы на всех уровнях языка, поэтому синтагма — это не только словосочетание: на морфемном уровне можно говорить о морфосинтагмах, а с переходом на межфразовый уровень мы имеем дело с фразосинтагмами. Всякая синтагма, в силу реляционно-операционной двойственности дискурса, может быть представлена и как двухкомпонентная структура, и как двухфазовое речевое действие.

Из выдающихся психологов только А. Н. Леонтьев [1981, 280] усмотрел в деятельности человека ее двухфазовый характер: «фазу приготовления» и «фазу осуществления». Эти фазы могут по-разному распределяться между речевой и неречевой деятельностью. Например, содержанием подготовительной фазы может быть ориентировочная деятельность, знаком-

ство с предметами окружения и их свойствами, а исполнительная фаза выразится в речевой форме. И наоборот, некоторое речевое действие может предварять последующее неречевое исполнение. В дискурсе обе фазы, естественно, относятся к речи.

Как речевое действие, синтагма состоит из двух фаз: подготовительной — **профазы** — и исполнительной — **эпифазы**, следующей за первой. В смысловом отношении эпифаза обычно преобразует или же результирует тот смысл, носителем которого является профаза. Так, на сверхфразовом уровне предложение, стоящее в эпифазе уточняет, изменяет, ограничивает смысл предложения, стоящего в профазе.

Подготовительное действие никогда не может идти после исполнительного, поэтому фазовый порядок всегда является совершенно строгим, линейным: на первом месте стоит профаза, за ней следует эпифаза. Этот порядок не зависит от смысла высказывания. Наоборот, смысл высказывания и все нелинейные явления смысла зависят от порядка тех смыслов, носителями которых являются профаза и эпифаза.

Внутри высказывания профазе и эпифазе могут соответствовать: тема — рема, подлежащее — сказуемое, определяемое — определяющее, и т. д. Заметим, что это имеет место не всегда. Даже рема («новое»), как известно, может предшествовать теме.

Профаза и эпифаза могут принадлежать разным говорящим субъектам. В диалоге синтагмой является диалогическое единство, в котором профаза — это некоторая *преформа*, а эпифаза — *реплика* на эту преформу.

В диалоге высказывание, стоящее в эпифазе, может результировать, уточнить, изменить или даже отменить то содержание, носителем которого является профаза, ср.:

Профаза:	Эпифаза (варианты):
Погода хорошая для прогулки.	— Значит, пойдем гулять.
	— На небе ни облачка.
	— Пока хорошая.
	— Только времени нет.

Отношение между профазой и эпифазой сравнимо с отношением между моделирующими категориями сознания, предложенными Н. А. Бернштейном [1990, 422]: «В мозгу сосуществуют в своего рода единстве противоположностей две категории (или формы) моделирования воспринимаемого мира: модель прошедшего-настоящего, или ставшего, и модель предстоящего. Вторая непрерывным потоком перетекает и преобразуется в первую».

При развертывании дискурса из речевых действий создается линейная прогрессия, которая состоит в том, что в итоге появления каждой новой фазы предшествующая эпифаза перетекает в профазу. Можно, конеч-

но, сказать также, что профаза всякий раз как бы поглощает эпифазу, испытывая при этом укрупнение.

Начальная фаза дискурса открывает собой вход в речевой канал, являясь нулевой эпифазой и потенциальной профазой. Появление следующей фазы, которая выступает как ее эпифаза, реализует эту ее потенцию; этот процесс может продолжаться в том же порядке, например:

— Хорошая погода для прогулки! — Вы готовы идти? — Да, готов. — Так идем!

Эпифаза-0			
= Профаза-1	+	Эпифаза-1	
		= Профаза-2	+
			Эпифаза-2
			= Профаза-3
			+
			Эпифаза-3

Каждая эпифаза, как это видно из данной схемы, вызывает фазовый переход (профаза ← эпифаза) внутри предшествующего соединения высказываний. Присоединение каждого нового высказывания-эпифазы обращает также и все то, что предшествовало, в профазу. Подготовительная фаза получает значительное поэтапное укрупнение — от самой короткой профазы-1 до самой крупной профазы-3. Такова формальная схема присоединительного взаимодействия фаз, в итоге которого образуется фундаментальная фазовая *прогрессия* дискурса.

Но дискурс может получить направление развитие, отличное от линейной прогрессии, если включается параллельное семантическое взаимодействие фазовых операторов, например:

Сегодня хорошая погода. — А вчера что творилось! — Идем гулять.

Эпифаза-0			
Профаза-1	+	Эпифаза-1a	
Профаза-1			+
			Эпифаза-1b.

Приведенные высказывания связаны уже по иной схеме, по схеме *параллельного* фазового взаимодействия, в которой к одной исходной профазе тяготеют две разные по смыслу эпифазы, в итоге вторая из них присоединяется к первой дистантно, разрывно. В результате образуются две синтагмы с общей профазой, что дает фазовое *разветвление* дискурса.

В монологическом дискурсе этим моментам обычно сопутствуют разнообразным дискурсивным операции, но их можно показать и на простом примере, ср.:

А. (1) На дворе трава, (2) на траве дрова. (3) Стал хозяин дрова рубить.

В примере (А) гладкое линейное развитие (1 – 2 – 3), где каждый последующий сегмент создает эпифазу для предыдущего. При этом можно отметить, что сегмент (2) создает интерполяцию для (1) и (2), связывая их между собой: А. (1 ← 2 → 3).

Б. (1) *На дворе трава*, (2) *на траве дрова*, (3) *на дровах петух*.
(4) *Стал хозяин траву косить*, (5) *но тут его позвал сосед...*

В примере (Б) происходит фазовое ветвление: сегмент (4) является одновременно линейной эпифазой для (3) и нелинейной эпифазой для (1). Получается фазовый росток, параллельный оперативной базе (1 – 2 – 3), что будет более наглядным, если схему примера (Б) представить в виде столбца:

Б. (1 – 2 – 3
– 4 – 5)

Фазовое расщепление может начаться уже со второго высказывания, если оно не связано с ним семантически:

В. (1) *На дворе трава*. / (2) *На телеге дрова*.

При этом в линейном отношении сегмент (2) остается эпифазой для (1), с нелинейной точки зрения — это лишь удвоенная начальная фаза дискурса.

Если дискурс завершается, обобщением, то его конечная эпифаза интегрирует все то, что ей предшествовало, создавая сходящийся дискурсивный узел. В следующем примере (Г) сегмент (3) является интегрирующей эпифазой для (1) и (2).

Г. (1) *На дворе трава*. / (2) *На телеге дрова*. (3) *Не руби дрова на траве двора*.

Л. С. Выготский [1982, 161] различал два плана в синтаксировании речи: «фазический» и «семический» (т. е., фазовый и семантический); они существуют в единстве, но не тождественны друг другу, причем фазическое в речи опережает семическое, смысловое. Согласно Выготскому, в онтогенезе первые слова — это фазические фразы, которые создают базу для развития семического плана речи.

Поскольку, на наш взгляд, фазовая ритмика присуща и смысловому плану речи, образующему вместе с планом выражения фазовое пространство, то уместно противопоставлять не фазическое семическому, а *диктальное* — *семантическому*, которые являются итогом расщепления первичного, недифференцированного фазического (фазового) плана.

Диктальное — это речезвуковая артикуляция. Семантическое — это то, что либо прямо, диктально выражается, либо то, что имеется в виду. То есть, семантическое не обязательно совпадает с диктальным, не всегда имеет буквальное выражение.

Известно, что в речи элементы отображаемой ситуации могут быть представлены в любом порядке, который не обязательно совпадает с естественной последовательностью событий. Если порядок компонентов высказывания совпадает с действительным развертыванием процессов, то

мы имеем дело с линейным семантическим представлением. Но говорящий может начать с любого элемента ситуации, создавая для нее свою речевую версию. Этот факт подвергался анализу в связи с рассмотрением нарушения грамматического порядка слов в речевом высказывании [см., например: Sauvageot, 1962, 28].

Порядок семантического развертывания дискурса нередко определяется индивидуальными особенностями говорящего и его позицией по отношению к данной ситуации, представление которой в дискурсе окажется индивидуальной версией субъекта (идиоверсией). В идиоверсии возможно смещение координат и обращение любых процессов, в том числе в действительности необратимых. Само время может быть подвергнуто обращению, поскольку говорящий может легко описать собственные действия в обратном порядке: *Я получил Z, для чего я сделал Y, а до этого X, ... а начал с A*. Но в равной степени возможен и дальнейший, полный отход от действительности, описание чисто воображаемой, мнимой, квазиреальной или ирреальной ситуации.

Диктальная сторона дискурса представляет собой обращение разнообразных нелинейных взаимодействий человека с ситуацией в последовательность речевых действий.

Если сопоставить прогрессивное и параллельное фазовое развертывание дискурса, то можно констатировать, что прогрессивный тип формально совпадает с линейностью речевого канала, а параллельный, хотя формально и расположен в том же линейном измерении, но с ним не совпадает; параллельный тип развертывания — это семантически обусловленное разветвление фаз. В случае фазовой прогрессии семантический план как бы совмещается с диктальным. На самом деле это имеет место далеко не всегда. Кроме того, даже сравнительно простое высказывание может индуцировать сопряженные смыслы, не выражаемые каждым из его компонентов по отдельности. Далее мы рассмотрим эти процессы на синтагматическом минимуме.

§ 2. Сопряженная семантика высказывания

Подготовительная и исполнительная фазы, несмотря на предельную обобщенность этих понятий, не являются, как это можно подумать с первого взгляда, чисто формальными моментами действия, фазовое членение речи имеет под собой определенный психологический фундамент. Фазы внутри высказывания — это свернутые аналоги команд типа «Подготовиться! / Исполни!»

Развертывание деятельности происходит поэтапно: каждый этап (шаг, фаза) действия предполагает некоторый предшествующий этап в качестве своего основания, даже если этот предшествующий этап принадлежал

другому субъекту действия. Точно так же каждый этап деятельности предвосхищает некоторый последующий этап в качестве продолжения или завершения действия.

Основанием для очередного шага может быть энергетическое состояние самого субъекта (тот или иной мотив действия) или же энергетическое состояние окружения, которые и вызывают исполнительную активность. Исполнительный этап формирует новое энергетическое состояние субъекта и/или его окружения, что служит основанием для последующего исполнительного действия, и т. д.

В развертывании деятельности команда логически предшествует речемыслительной операции. Более того, она обуславливает появление самой операции как элемента языкового исчисления. Операция — это ближайшая десемантизированная ступень команды, своего рода синтаксический трансформ пражматической единицы. Команды связывают процесс языкового исчисления с внеязыковой реальностью, переводя свернутую в речи энергию в двигательные акции и реакции людей. Но команды же вызывают и ответную речевую активность, которая может состоять из команд, но может и не содержать ни одной команды и, вместе с тем, составлять логическое (диалогическое) единство с исходной командой. В таком единстве команда занимает место профазы, а ответ на нее — место эпифазы.

Представление речевого действия только как реакции или же акции субъекта является половинчатым. Речь — это интеракция.

Как элемент речи, команда интерактивна по своей природе и неотрывна от процесса *взаимодействия* человека и его окружения. Как эффект этого процесса, она синергетична. И тот эффект, который вызывает сама команда, тоже синергетичен уже в силу того, что он расщепляет ситуацию на ту, которая «нужна» и ту, которая оказалась «лишней», ненужной и подлежит преобразованию. Команда поляризует ситуацию, сопряженную с деятельностью, служит катализатором ее реструктурирования.

Первичный импульс, тот мотив, который вызывает команду, сам является результатом несоответствия энергетического состояния ситуации, с одной стороны, и диспозиции (настройки, готовности) субъекта — с другой. Как только «энергетическое ложе» ситуации изменилось, и диспозиция субъекта оказалась непригодной в том или в ином отношении, энергия мотива вызывает импульс, включающий механизм для перенастройки фокуса диспозиции, то есть, блокирования текущей диспозиции и создания новой. *Суггестивная* функция команды как раз и заключается в отторжении текущей деятельности и внедрении новой [Бехтерев, 1994, 93].

Запаздывание прохождения импульса к перенастройке (гистерезис), что выглядит как состояние «озадаченности» субъекта, связано, вероятно, со степенью расхождения между энергетическим состоянием ситуации и диспозиции субъекта. Если импульс сразу включает автоматическую корректировку диспозиции, то каких-нибудь дополнительных ориентировочных и оценоч-

ных действий не требуется. Если решения нет, то в системе включается механизм соотносительного взвешивания состояния ситуации (обстановочной афферентации по Анохину) и собственных возможностей субъекта — диспозиционного потенциала. Последний включает в себя компоненты и опыта и антиципации (вероятностного прогноза); по Бернштейну — это модели ситуаций прошлого-настоящего и настоящего-будущего.

Как раз во время состояния «озадаченности» и осуществляется процесс принятия решения, сопровождаемый собственно исчислением, сознательным или неосознаваемым.

Принятие решения для изменения поведения (придания ему новой установки), согласно данным психологических исследований, связано и с регулятивной и с когнитивной функциями психики. Оно возможно на вне-речевом и на речемыслительном уровнях. В частности, «на уровне представлений, — согласно Б. Ф. Ломову [1981, 18], — человек оперирует вторичными образами объектов, трансформируя их соответственно цели деятельности. На речемыслительном уровне можно наблюдать развернутый процесс «взвешивания» вероятностных событий (иногда в форме вычислений), оценку возможных последствий и т. д.».

Принятие решения — это совершение выбора, то есть оптативное действие. Суть его заключается в присвоении приоритетов ряду степеней свободы в выборе действия, в их сравнении и выделении главного приоритета, который и определит русло дальнейшей активности. Выделение главного приоритета, например, просто вектора движения (*туда!*) и будет в неосложненном случае совпадать с командой. Но самой этой команде должна предшествовать цепочка других действий: выявление исходных данных, которые затем многократно проходят оптативный фильтр. Цепочка будет тем короче, чем быстрее выявлены исходные данные, чем меньше объем и разнообразие величин, подлежащих сопоставлению, оценке, обобщению и выведению прогноза. Процесс может циклически повторяться в вариациях и прийти или не прийти к завершению. Излишне говорить, что процесс принятия решения представляет собой поле применения для самой разнообразной речемыслительной деятельности.

В коммуникации команда нормально стоит в профазе, предшествует действию исполнения. Она — подготовительный шаг к действию. Команда-побуждение — это поляризатор текущей ситуации. И здесь неважно, что (и с чьей точки зрения — говорящего или слушающего — является «новым»). Важна временная анафора, адрес действия во времени, иначе говоря, важно то, как ориентировано высказывание: *эвокативно* — на модель прошлого-настоящего или *суггестивно* — на модель будущего.

Допустим, что есть синтагма с отличными друг от друга компонентами: А/А*. Любой из них может быть интонационно выделен и тем самым уподоблен команде. С учетом перестановок и выделений мы получим синтагмы, имеющие формы:

- (1) A / A*!, например, *Идет поезд!*;
- (2) A! / A*: *Идет(!) поезд*;
- (3) A* / A!: *Поезд идет!*;
- (4) A*! / A: *Поезд(!) идет*.

Смысл фраз (2) и (4) эвокативный. Особенно ясно это видно во фразе (4), где эпифаза *идет* является излишней, достаточно профазы *поезд*! В этой ситуации известно, что поезд должен прийти, и команда *Поезд!* — лишь завершает процесс ожидания: вот он, поезд.

Во фразе (2) эпифаза *поезд* является излишней, достаточно одной профазы: *Идет!* Эта команда точно так же направлена ретроспективно: вы ожидали — вот он, идет. Эпифазы в (2) и (4) не являются последствиями предшествующих им команд, они — лишь резонансы тех событий, которые уже фигурировали в речи, в ситуации.

Иная композиция во фразах (1) и (3), она по структуре суггестивна, перспективна. Во фразе (1) *Идет поезд!* эпифаза *поезд!* семантически подчинила профазу *Идет*, превратив ее из команды в сегмент исчисления. Так же и в (3): *Поезд идет!*, где есть сегмент исчисления *Поезд* и команда *идет!* Таким образом, смысл фразы (1) «что-то движется! / это поезд!»: смысл фразы (3): «Поезд! / он движется!».

Эвокативно ориентированные синтагмы (2) и (4) — это модели прошлого-настоящего, сигналы завершенности, результата действия. Поэтому они должны быть легко обратимы в план перфекта: (2) *Идет(!) поезд ~ Пришел(!) поезд ~ Пришел!*

Суггестивно ориентированные синтагмы (1) и (3) предполагают продолжение.

(1) *Идет поезд!* — надо реагировать соответствующим образом именно на энергетическую значимость поезда, а не на факт его движения.

(3) *Поезд идет!* — надо реагировать на факт движения, а не на суть движущегося предмета.

Эти фразы не могут быть обращены в перфект без деформации смысла, так как совершенно изменится их «функциональная перспектива», ср.: (1) *Идет поезд!* → *Пришел поезд!* Получается, что действие завершено и надо реагировать уже не на энергию поезда, а на то влияние, которое поезд оказал на психологическую диспозицию, например, преградил путь для прохода. (3) *Поезд идет!* → *Поезд пришел!* Действие завершено. Надо реагировать на ту внешнюю ситуацию, которую создал приход поезда.

Эпифазы в (1) и (3) — это команды, являющиеся *последствиями* профаз.

Общий вывод такой: выделенный сегмент внутри простого высказывания — это аналог команды, связанной либо с перспективой (будучи в эпифазе), либо с ретроспективой деятельности (находясь в профазе). Всякое речевое действие, простое или комплексное, имеет свое семантическое основание (предысторию) и семантическое продолжение. Оно имеет дву-

направленный энергетический заряд, или потенциал, действуя референтно, или *эвокативно*, вызывая некоторое представление о том, чем оно обусловлено, и эфферентно, или *суггестивно*, индуцируя некоторое предвосхищение того, что оно может повлечь.

По-видимому, всякое высказывание, организованное глаголом-предикатом, действует в целом как *узловой* оператор деятельности, совершающий *интерполяцию* двух состояний реальности — исходного и результирующего. Амбивалентным энергетическим потенциалом обладает глагол действия, который выражает по сути фазовый переход от одного состояния к другому. Так, глагол *связать* эвокативно подразумевает некий разрыв, разобщенность объектов в исходной ситуации, а суггестивно указывает на их связанность, как результат действия. И наоборот, глагол *разорвать* эвокативно указывает на целостность, связанность ситуации, а суггестивно на ее разрывность. Глагол *войти*, эвокативно указывает на нахождение субъекта вне помещения, а суггестивно — внутри, а глагол *выйти* выражает фазовый переход в точности обратного характера.

Но высказывание может выступать и как *рамочный* оператор, если, например, в его основе лежит полярная операция дискурса. В этом случае оно действует не на интерполяцию внешних смыслов, а, главным образом, на порождение смысла внутри себя посредством сопряжения двух единиц языка как семантических полюсов. В результате образуется смысл-интерполент, не выражаемый каждой из сопрягаемых единиц, если их брать по отдельности. Рамочная конструкция определяет смысловой базис для синергетического смыслового фокуса всей синтагмы, создает в дискурсе смысловые зерна, «зародыши» нового смысла, нацеленные на саморазвитие. Это происходит даже в самых простых случаях, построенных, например, на конъюнкции (*Война и мир*; *Ворона и лисица*) или на дизъюнкции (*Свобода или смерть*; *Быть или не быть*). Рамочный оператор, построенный на операции уподобления, имеет в качестве синергетического фокуса образование метафоры. Полученный новый смысл может быть далее развернут в дискурсе (*Роман — зеркало жизни. Заглянув в это зеркало, мы часто узнаем себя, свои жизненные перипетии...*) или перевыражен другими вербальными средствами, хотя и далеко не всегда. Если в основе рамки лежит паратракция, то часто данная синтагма и остается единственным носителем смыслового фокуса: *Богатый бедняк*; *Круглый квадрат*; *Язык мой — друг мой, язык мой — враг мой*.

Действие рамочного оператора можно квалифицировать как фазовую синхронизацию полярных по своему смысловому потенциалу языковых сущностей, в результате чего создается новый смысловой заряд, которым не обладала ни одна из исходных величин.

Узловые операторы (монопредикатные высказывания) могут образовывать в дискурсе некоторую последовательность — фазовую траекторию, которая, в частности, лежит в основе нарративного дискурса.

§ 3. Энергетическое взаимодействие глаголов в дискурсе

Норберт Винер [1968, 202], говоря о динамических характеристиках сложных систем, отмечал характерный для традиционных научных описаний «схоластический упор на субстанцию, а не на глагол», исследовались ассоциации предметов по сходству, смежности, каузальной связи, но оставались вне поля зрения движения, динамические переходы, преобразования.

Обычное действие, в том числе и речевое, — это «своего рода интерполяция между наличной ситуацией и тем, какой она должна стать» [Бернштейн, 1990, 438]. В динамическом представлении действие есть фазовый переход системы из одного состояния в другое. В языке действие выражается глаголом, тогда как имена существительные знаменуют собой устойчивые фазовые моменты — состояния, стадии, точки, вехи процесса.

Наблюдение за характером следования глагольных предикатов в нарративном дискурсе показывает, что глаголы-предикаты высказываний имеют тенденцию образовывать связанные по смыслу цепочки, каждая из которых отражает естественную последовательность взаимодействий субъекта-деятеля с разнообразными объектами. В обобщенном представлении базовых предикатов такая цепочка может выглядеть следующим образом:

(1) *Воспринимать* — (2) *присваивать* — (3) *иметь* — (4) *готовиться* — (5) *производить*.

Указанная цепочка соответствует порядку развертывания деятельности, а предикаты — ее фазам. Разбиение цепочки может иметь варианты, например, она может быть разделена на два сегмента: подготовительный (фазы 1, 2, 3, 4) и исполнительный (фаза 5).

Если проследить формирование этой цепочки в развитии, то каждый предшествующий сегмент в ней будет подготовительной фазой (профазой) для следующей за ним фазы исполнительной (эпифазы).

Возможно также разбиение данной цепочки на три сегмента, приписав им психосемантическую спецификацию:

- афферентный сегмент (центростремительный) — фазы восприятия (1) и присвоения (2);
- кумулятивный сегмент — фаза потенции (3);
- эфферентный сегмент (центробежный) — фазы подготовки (5) и исполнения (6).

Цепочка базовых предикатов может иметь множество вариантов, например:

Видеть — *брать* — *содержать* — *извлекать* — *применять* — *делать*;
Слышать — *записывать* — *хранить* — *вспомнить* — *сказать*;
Приметить — *запомнить* — *знать* — *намереваться* — *сообщить*.

Цепочка может быть расширена изнутри, за счет выражения дополнительных (промежуточных) фаз деятельности, например:

(1) *Встретить* — (2) *выбрать* — (3) *присвоить* — (4) *иметь* — (5) *подготовиться* — (6) *применить* — (7) *получить*.

Цепочка может быть сокращена за счет опущения некоторых предикатов:

(1) *Увидеть* — (2) *взять* — (3) *использовать*;

Она может быть и дополнена, например, продолжена в обе стороны:

(1) *Быть* — (2) *заметить* — (3) *взять* — (4) *применить* — (5) *произвестить* — (6) *быть*.

В последнем примере мы получили замкнутую цепочку, или цикл.

Все приведенные примеры, так или иначе, представляют фрагменты элементарного цикла деятельности, который в дискурсе обычно представлен только во фрагментах, причем базовый цикл может содержать некоторое число подциклов, повторяющих ту или другую из фаз деятельности, например, при неудаче в осуществлении последующей фазы.

Циклическое представление получают также природные явления и процессы: *Темные тучи закрыли солнце. — Разразилась гроза. — Дождь прекратился. — Выглянуло солнце.*

При этом цикл оказывается удобной формой для упорядочения природных явлений в сознании, в силу того, что их чередованию свойственна регулярность. Этот момент отмечался П. К. Анохиным [1978, 25] в связи с опережающим отражением в динамических системах: указание на одно из явлений последовательно повторяющегося ряда влечет за собой воссоздание явлений, смежных для этого ряда, вплоть до воссоздания всего ряда, цепи или цикла явлений.

В дискурсе цикл действий нередко представлен в редуцированной форме: *Пришел, увидел, победил*. В нарративном дискурсе (новелле) цикл действий представлен в развернутой, разработанной форме. Естественно, что цикл действий в нарративном дискурсе может охватить и целую жизнь человека, и период истории.

Очевидно, что развитие дискурса не исчерпывается только фазовой прогрессией и гладкими циклами. На циклический принцип развертывания дискурса, опирающийся на языковой механизм создания семантически замкнутых последовательностей, накладывается фазовое разветвление, сопряженное с плавными и со скачкообразными фазовыми переходами, отражающими как эволюцию процессов, так и их деградацию, распад, катастрофы и т. д.

Базовому циклу деятельности, в который входят только действия, осуществляемые самим субъектом, можно поставить в соответствие собы-

тийный цикл, который, предположительно, является его двойником во внешнем мире. В результате каждому глаголу базового цикла будет отвечать некоторый глагол событийного:

Порядок фазы	Базовый цикл	Событийный цикл
(1)	Видеть	Быть, появляться, показываться, предстать, произойти, заблестеть, засиять, и т. д.
	Слышать	Послышаться, раздаться, загреметь и т. д.
	Вообразить	Показаться, померещиться, привидеться, явиться
(2)	Взять, схватить	Взяться, попасться, поддаться
	Найти, встретить	Находиться, встретиться, попасться, случиться
(3)	Иметь	Быть, иметься, находиться, происходить
	Располагать, хранить	Располагаться, находиться, скрываться, таиться
(4)	Готовить, собирать, намереваться	Готовится, назревать, подходить, близиться, собираться (о тучах и пр.)
(5)	Делать	Делаться, появляться
	Производить	Происходить, рождаться, быть

Проделанное сопоставление показывает то, что процессуальные глаголы событийного цикла по своему составу сходны с глаголами человеческой деятельности, хотя процессуальные глаголы ведут себя иногда «нерешительно», кочуя из фазы в фазу. Совершенно отчетливо видно, что многие глаголы событийного цикла являются производными от операторных глаголов, т. е. имеют в качестве своих прообразов глаголы базового цикла. Большинство из них употребляются, в русском языке, в форме возвратно-страдательного залога: *слышать* — *слышаться*, *взять* — *взяться*, *иметь* — *иметься*, *находить* — *находиться*, *делать* — *делаться*. Действительное оказывается страдательным по отношению к действующему субъекту, хотя многие из этих форм по сути выражают действие как самодействие (*взяться*, *находиться*, *делаться*).

Любопытно, что во французском языке одна и та же глагольная лексема используется для выражения и базового смысла и сопряженного с ним, например, *monter* означает 'поднимать' и 'подниматься'; *descendre* — 'опускать' и 'опускаться'; *finir* — 'заканчивать' и 'заканчиваться', *passer* — 'передавать' и 'проходить', *glisser* — 'просовывать' и 'проскальзывать', и т. п.

Можно сказать также, что глагольные лексемы базового цикла имеют склонность к линейному переходу из фазы в фазу: глагол способен семантически замещать собой своих соседей по циклу: с одной стороны — афферентное *взял* означает кумулятивное 'имею', а с другой стороны — и эфферентное *располагаю* ('подготавливаю') равным образом означает 'имею'.

Интересно наблюдение Рене Тома [1975, 217], показавшего, что французский глагол *иметь* (*avoir*) — это одновременно и терминатив для афферентного глагола *брать* (*prendre*), и инхоатив для эфферентного глагола *давать* (*donner*). Есть серьезные основания считать, что, по крайней мере, в европейских языках, глагол со значением 'иметь' восходит к глаголам со значением 'хватать' и 'держат'.

В зависимости от ракурсов, или модусов, отражения реальности глагол по-разному определяет статус и позицию субъекта высказывания, который может выступать как источник, участник или наблюдатель действия, процесса. Можно полагать, что циклы, соответствующие этим позициям, зафиксированы в языковых матрицах, то есть входят в корпус его парадигматики как цельные блоки.

Бернар Потье, противопоставляя категориальное отображение в языке «порядка мысли» (ментальную хронологию) и «порядка мира» (событийную хронологию), фактически приводит примеры трехчленных глагольных циклов, имеющих парадигматическую релевантность [Pottier, 1993, 101–102]:

naître — vivre — mourir;
entrer — se trouver — sortir;
aller (à) — être (dans) — venir (de);
apprendre — savoir — oublier/se souvenir;
arriver — se trouver/rester;
acquérir — avoir — perdre/conserver.

В дискурсивной синтагматике могут совместно встречаться глаголы, принадлежащие:

— к одному парадигматическому циклу:

начинать — продолжать — заканчивать;
пойти — дойти — возвратиться,

— к сопряженным между собою параллельным циклам, в которых действия принадлежат разным субъектам, в том числе и миру:

показывать → видеть//появляться;
двигать → идти//перемещаться;
вводить → входить//впускать;
производить → рождаться//существовать.

Развертывание базового и событийного циклов может протекать гладко, в норме, т. е. в режиме соответствия действий и событий. Нарушение стандартного развертывания цикла возникает при встрече с некоторым циклом, характер действия которого иной. Влияние встречного цикла может оказаться благоприятным для исходного и способствовать положительному эффекту действия: *идти — появиться — подвезти — достичь — благодарить*.

Но может быть встреча с противочиклом, нарушающим гладкое развертывание исходного, вызывая концентрацию деятельности субъекта на противостоянии возникшей помехе. Так, в противочикле может возникнуть предикат *отнимать*, что вызовет усиление предиката исходного цикла *иметь* и превратит его в предикат *защищать*. В ответ на предикат *воровать* может появиться предикат *охранять* или *ловить*.

В гладких циклах, где связанность предикатов обусловлена их взаимной фазовой дополнительностью, союзные операторы оказываются избыточными. Здесь достаточно простого перечисления, которое может сопровождаться операторами *сначала, потом, затем, после того, наконец*. Но они требуются, как правило, в энергетических узлах, образованных встречей разных циклов: *выстрелил и (но) промахнулся; предложили и (но не) согласился; предложили, но отказался*. Применимость слов типа *сначала, потом, затем, после того* может послужить тестом для установления принадлежности высказываний к одному и тому же, а не к взаимодействующим циклам, ср.: * *сначала выстрелил, потом промахнулся*; * *сначала впустили, потом вошел*.

На взаимодействиях сталкивающихся циклов построены структуры фольклорных текстов, описанные В. Я. Проппом [1969]. «Функции» Проппа, представляющие развитие сюжета от начальной ситуации через испытания героя к конечной ситуации наказания зла и торжества добра — это узловые предикаты нарративного дискурса. Начальная ситуация — предикаты *жить, быть, иметь* — осложняется предикатами *вредить, похищать*. Затем следуют действия героя по восстановлению ситуации с вмешательством волшебных средств — предикаты *отправится, встретит, подарит (найти, раздобыть), сражаться, победить, спастись, возвратиться, торжествовать*.

Обобщенная структура нарративного дискурса у Ц. Тодорова [1978, 462] тоже строится циклически. Так, рассуждая об одной из новелл «Декамерона», он пишет: «Новелла такого типа проходит весь цикл целиком (равновесие — неравновесие — равновесие), причем неравновесие вызывается нарушением закона». При этом обнаруживается взаимодействие двух типов предикатов. С одной стороны, это предикаты фазового состояния, представляющие устойчивые гладкие циклы, то есть налаженную жизнь с повторяющимися событиями. С другой стороны — это предикаты фазовых переходов, создающие противочиклы, приводящие в итоге снова

ла к нарушению исходного фазового состояния, а затем и к восстановлению равновесного состояния, хотя и на новой основе. Нередко новелла начинается «с середины» цикла, т. е. с некоторой неравновесной фазы, чтобы в конце концов прийти к равновесию.

Стройной циклической структурой отличается «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Если ее записать в терминах предикатов фазового состояния и фазовых переходов, то получим приблизительно следующее представление: *Жили-были* (у разбитого корыта), *поймал* (рыбку) — *отпустил, попросил* — *получил* (корыто), *попросил* — *получил* (избу), *попросил* — *получил* (дворянство), *попросил* — *получил* (титул царицы), *попросил* (полное господство), но все *потерял*, снова у разбитого корыта. (Ср. структурную интерпретацию этого и других произведений у К. А. Долинина [1985, 121]).

В основе выраженного глаголом действия и синтаксической операции лежат одни и те же принципы, без которых невозможно вообще осуществить конструктивное взаимодействие с окружением, а тем более построить связную и понятную речь. Союзные операторы — абстрактные предикаты тех или иных речемыслительных действий. Глагольные операторы выражают действие, движение, мысль прямо и конкретно. Среди них особенно важны те, которые уплотняют в себе трактивные операции, принципиальные для построения дискурса.

§ 4. Глагол как диктальная база дискурсивного процесса

Уже у Элизе Рихтера [1913, 53] мы находим замечание том, что первые из жестов, которые делает ребенок, это жест захвата и жест отталкивания. В этих жестах можно увидеть действия положительного и отрицательного аттрактора, которые обобщают в себе две из трактивных операций дискурса — ретракцию и протракцию — и соответствующие им глаголы. Так, глаголы со значениями 'хватать', 'сжимать', 'стягивать', 'притягивать', 'суммировать', 'аккумулировать' являются глаголами ретрактивного типа. Глаголы со значениями 'отталкивать', 'оттягивать', 'растягивать', 'отодвигать' 'расширять' являются глаголами протрактивного типа. И те и другие отличаются высокой содержательной плотностью.

Вполне правомерно предположить, что лексемы трактивных глаголов диктальны по своему происхождению — производны от движений самого артикуляционного аппарата речи, создающих кинестетические образы непосредственного взаимодействия субъекта с объектом.

Идея о сводимости психических процессов к движению принадлежит И. М. Сеченову [1958, 36–37]: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению: мышечному движению... Чтобы помочь читателю поскорее

примириться с этой мыслью, я ему напомним рамку, ... в которую укладываются все вообще проявления мозговой деятельности, рамка эта — *слово* и *дело*. Под *делом* народный ум разумеет, без сомнения, всякую внешнюю механическую деятельность человека, которая возможна лишь при посредстве мышц. А под *словом* уже вы, вследствие вашего развития должны разумеать, любезный читатель, известное сочетание звуков, которые произведены в гортани и полости рта при посредстве опять тех же мышечных движений».

Определяя фундаментальную семантику языковой формы, мы исходим в первую очередь из того положения, что всякое речевое действие, какой бы смысл оно ни выражало, в основе своей является *образом взаимодействия* говорящего и объекта говорения. При этом оно выражает прежде всего само себя как часть речедействующего субъекта и лишь во вторую очередь — нечто отличное от себя, внешнее по отношению к тому процессу, который является речедействующим субъектом.

Иными словами, что бы говорящий ни произнес, он всегда как бы произносит «я говорю», только это «говорю» приобретает различные модусы и акциденции — различные *стили* — в зависимости от своей конкретной формы. Уже само слово «говорю» без изменения фонемной оболочки может быть разнообразно тонировано, обретая множество смыслов. Разные смыслы говорятся по-разному.

В санскрите мы наблюдаем множество глаголов, которые, обозначая конкретные действия, в то же время обозначают и речевые: в нем есть не только говорить-шептать, говорить-лепетать, говорить-кричать, говорить-спорить, говорить-звать, говорить-звучать, говорить-петь, говорить-бормотать, говорить-коверкать, говорить-смеяться, но и говорить-принимать, говорить-желать (= просить), говорить-сиять (= хвалить), говорить-идти (= посылать), говорить-достигать, говорить-сжиматься (= жаловаться), говорить-отталкивать (= порицать), говорить-гнать, говорить-терять, говорить-видеть и говорить-смотреть, говорить-зевать (→ раскрываться), говорить-кусать, говорить-откликаться, говорить-прикасаться (→ приветствовать), говорить-показывать (→ сообщать), говорить-извлекать (= выпрашивать), говорить-учить, говорить-искать, говорить-освещать, говорить-давать, говорить-впрягать (= приказывать), говорить-разрушать (= запрещать/нарушать), говорить-наслаждаться, говорить-усиливать (= вдохновлять), говорить-вызывать (= проверять) и многие другие.

Десятки корней санскрита удивительно сохранили исчезнувшие в других дошедших до нас древних языках первичные значения многообразных стилей (модусов, «акциденций» и т. д.) говорения. Частично сохранил синкретизм глагола «говорить» и древнегреческий язык. Древнегреческий глагол *phaino*, давший научный термин «феномен» (исключительное явление) и феноменологию, исследующую как бы объективные свойства мира, оказывается родственником глагола *phemi* 'говорить': зна-

чение 'говорить' входит и в значимость глагола *phaino*, хотя оно оттеснено в словаре на самый дальний план.

Но изменим порядок значений, данный для глагола *phaino* в словаре древнегреческого языка на обратный: 10) говорить, высказывать личное мнение; 9) казаться, представляться; 8) показываться, обнаруживаться; 7) показывать в отражении, отражать; 6) посылать; 5) разоблачать; 4) показывать, указывать; 3) являть, показывать, извлекать на свет; 2) извлекать огонь; 1) светиться, блестеть, сверкать.

Полученный результат вполне соответствует порядку деривации от первичной значимости 'говорить (в определенном стиле)' до конечного и частного процессуально-событийного значения 'сверкать'.

Выражаясь современной нам терминологией можно было бы сказать, что изначально все глаголы были перформативными, то есть действие, выраженное в них, совпадало с выражением этого действия. «Переносные» смыслы глагол приобрел со временем, в процессе развития языка. Первичным смыслом для слова «ранить» было не значение физического действия, а 'ранить словом, обидеть', для слова «послать» — 'приказать идти'.

Выраженное в слове действие субъекта было транспонировано на мир, и стало отражать процессы, происходящие в окружении. Так что, если говорить о становлении человеческого сознания, как отражения внешнего мира во внутреннем, то действительно «вначале было слово». Слово удвоило мир и способствовало его тонкой дифференциации, сначала в отношениях между членами языковой общности, а затем в отношениях между человеком и внесоциальным миром.

Переносный смысл у глагола нередко возникает как возврат его к некоторому предыдущему смысловому состоянию. Именно поэтому никому не надо разъяснять так называемые глагольные «метафоры» и «олицетворения»: *Море смеялось, Небо плакало, Погода разгневалась, Туча предвещает бурю*. На древних этапах развития языка природа вообще уподоблена человеку, она, как и человек, либо не действует-молчит, либо действует-говорит.

По отношению к современному языку следует говорить не об олицетворении природы, которое мы уже привыкли считать сказочным приемом, а напротив, о ее прогрессирующей деперсонификации. Старые сказки сохранили говорящую и чувствующую природу. В современном языке все более внедряется конвенциональное именование, не имеющее ничего общего с прирожденным языку стихийным, безусловным именованием, которым питается, в частности, высокая поэзия.

Если в каком-нибудь современном языке есть только одно слово для обозначения снега, а в другом — несколько десятков, то это не значит, что единственное слово *снег* является более абстрактным, чем множество слов в применении к той же реальности. Та ситуация, в которой пребывает народ с единственным словом, не индуцировала разных говорений-действий, чис-

ло которых в языке другого народа соответствует числу энергетических процессов, оказавшихся настолько важными для человека, что они получили специальные стили речевого реагирования, т. е., по выражению Бенджамена Уорфа, закрепились в языке как отдельные «манеры говорения» (*fashions of speaking*) [Whorf, 1993, 158].

При естественном говорении не признаки и действия приписываются предметам в виде предикатов, и не модусы наклонений приписываются глаголам, как это делается при конструировании фраз в структурно-прикладной лингвистике. Имеет место обратное направление процессов: и глаголы, и имена, и их атрибуты — все они являются *модусами*, или *стилями*, говорения, претерпевшими различные степени смысловых ограничений, одни в большей, другие в меньшей мере.

Новые слова и новые грамматические формы естественно возникают в языке, следуя законам его имманентного развития. Искусственно изобретенные слова, возникающие вопреки имманентным законам языка, многие аббревиатуры или акронимы, часто выглядят неуклюжими и убогими, вероятно и потому еще, что вызывают звуковые ассоциации, уничтожающе действующие на соответствующее значение. Ср.: *школаб* 'школьный работник' (но *клуб*); *метиз* 'металлическое изделие' (но *метис*); *трудоголик* 'человек увлеченный трудом' (но *голый*); *вертодром* 'место посадки вертолетов' (но *вертопрах*), не говоря уже о других изобретенных словах, которые, даже прижившись в общении, сохраняют диссонанс с системой, продолжают вызывать разного рода нежелательные ассоциации. Придуманное слово не должно быть произвольным, оно органически войдет в язык, если оно не будет противоречить его собственным законам (например, слова *газ* и *летчик*). Изобретение слов, конечно, оправдано, но не соображениями «языковой экономии», породившей уродливые аббревиатуры бюрократического языка, а там, где оно диктуется острой потребностью в выражении новых понятий — в области научной и технической терминологии.

Подобные экскурсы в область искусственных слов лишний раз подтверждают то, что из возможности придумывать искусственные имена существительные делается не очень взвешенный вывод о том, что язык вообще является изобретением человека (а не естественным приобретением). Мы наблюдаем, как естественно и непринужденно глаголы транспонируются, с одной стороны, в имена существительные, а с другой — в союзные слова (*благодаря, хотя, несмотря на*); но, заметим, еще никто не придумал ни одного языкового союза.

Возвращаясь к фундаментальной семантике языка — семантике действия, обратим внимание на некоторые закономерности во взаимодействии глаголов, принадлежащих одному дискурсивному циклу. Прежде всего, это семантическая общность глагольных лексем, находящихся в соседних фазах. Всякий глагол, находящийся в эпифазе семантически опирается на гла-

гол профазы, например: *брать/иметь, показывать/смотреть, спрашивать/отвечать*. Один из таких глаголов всегда подразумевает другой и способен легко восстанавливаться при опущении в дискурсе: *взял* подразумевает *имею*, *показывают* подразумевает *смотрю*, *отвечаю* подразумевает *спрашивают*.

Близость таких глаголов друг к другу и в самой языковой системе тоже не вызывает сомнений. Однокоренные лексемы особенно красноречивы в этом плане: *двигать* → *идти* (= *двигаться*); *делать* → *возникать* (= *делаться*); *вводить* → *входить* (= *вводиться*).

Глаголы-соседи по фазе настолько часто восходят к одному корню, что это нельзя считать простой случайностью. Можно говорить о законе семантической общности глаголов по фазовой дополнительности. Закон перехода значения с профазы на эпифазу вполне согласуется с открытым Н. А. Бернштейном законом встречного перетекания модели будущего в модель настоящего. Этот закон справедлив и в языковой диахронии. Модели профазы со значениями 'хватать' и 'держат' становятся моделью результирующей эпифазы со значениями 'иметь' и 'понимать'. Поэтому вполне естественно то, что латинское *habere* имеет родство не только с итал. *avere* 'иметь', но и с лат. *capere* 'брать' и итал. *capire* 'понимать'; рус. *иметь* (откуда *понимать*) имеет в качестве своего родственника немецкое *nehmen*: а французское *comprendre* 'понимать' по-прежнему сохраняет латинскую внутреннюю форму со значением 'брать вместе'. Далее мы будем иметь возможность рассмотреть эти явления на более глубоком уровне.

§ 5. Принципы построения смысла на уровне корневой фоносинтагмы

Единый принцип синтагматической организации речи пронизывает все языковые уровни. Каждое связное выражение — это речевое действие, состоящее из подготовительной фазы — профазы и исполнительной — эпифазы. Он выполняется и на уровне связного текста, дискурса, где наблюдаются фразосинтагмы, в которых фраза, стоящая в эпифазе воздействует на смысл исходной, уточняя, дополняя, ограничивая или отменяя его. На внутрифразовом уровне можно говорить о предикативных синтагмах, где наблюдается аналогичное взаимодействие между словами. С переходом на морфемный уровень мы имеем дело с морфосинтагмами, а на фонемный — с фоносинтагмами.

Для полноты описания важно установить, имеет ли какие-нибудь семантически релевантные параметры взаимодействие фонем внутри фоносинтагмы, или же оно ограничивается чисто формальными процессами, как достаточно подробно изученные фонетикой явления типа ассимиляции/диссимиляции, протезы, чередования, редукции фонем и пр.?

В семитских (афразийских) языках основным носителем смысла в слове является консонантный каркас его корня. Было замечено, что этот момент в определенной степени справедлив и для индоевропейских языков [Воронин, 1982, 20], тем более что некоторые корневые фоносинтагмы, состоящие из согласных, являются общими и для семитских языков, и для индоевропейских. Данные этимологических исследований в целом свидетельствуют об относительном консерватизме консонантного состава и в индоевропейских корнях, по сравнению с составом гласных, которые наиболее подвержены изменениям и редукции. Это общее положение, конечно, вовсе не снимает необходимость учета различных моментов во взаимоотношениях согласных — согласный, согласный — гласный, а также таких явлений, как метатеза, падение, исчезновение фонем, распад и распределение бифокальных [см., например: Андреев, 1986] и пр. При этом во многих индоевропейских языках можно, в частности, отметить, как их несомненные консервативные черты, устойчивость сонант, а также преимущественный переход лабиальных фонем в лабиальные, апикальных в апикальные, велярных в велярные, т. е. относительную устойчивость места их артикуляции.

Если рассматривать согласные фонемы в составе корневой фоносинтагмы не как только смысловоразличительные единицы, но как смыслообразующие языковые операторы, выразители действий, то появляется возможность выявить некоторые параметры, не противоречащие гипотезе об их семантической релевантности. Эти параметры обнаруживают себя при анализе фоносинтагм новых индоевропейских языков и находят свое подтверждение на материале древних языков. Наше последующее рассмотрение ограничивается только бинарными консонантными фоносинтагмами, которые предполагаются как базовые для лексических корней и в которых достаточно четко различимы их операторные компоненты — профаза и эпифаза.

Так, например, фоносинтагма **КМ** может быть интерпретирована, как состоящая в профазе из некоторой сущности **К**, которая подвергается сжатию в эпифазе **М**.

Эпифаза, по определению, важнее профазы: именно эпифаза является операторной частью фоносинтагмы; поэтому практически любые фоносинтагмы с **М** во второй позиции (**km**, **lm**, **hm**, **sm**, **jm**, **dm**, **tm** и т. д.) можно считать эквивалентными: согласная профаза в них играет лишь подготовительную роль, зато все они имеют в эпифазе согласную **М**, **ре-активную** по своему операторному значению, т. е. создающую центростремительную семантику **эндотропы**: сжатие/сближение, удержание/присвоение.

Известные примеры в целом подтверждают такое предположение: рус. *ком*, *жму*, *ломать*, нем. *nehmen* 'брать', *kommen* 'приходить (приближаться)', исп. *tomar* 'брать', лат. *sumo* 'брать, собирать'; ср. санск-

ритские корни *dam* 'приручать' (< присваивать), *dham* 'выдувать' (напряжение удерживания, ср. с рус. *думать*), *ṣamb* 'накапливать, собирать', *yam* 'держат, приручать', *ghim* 'хватать, брать', *kumo* 'изгиб'; а также лат. *simo* 'приплюснуть', *sumulo* 'собирать', *similo* 'уподоблять', *timeo* 'бояться' (< сжиматься); сюда же относятся греч. $\nu\epsilon\mu\omega$ в значении 'избирать, обладать', $\nu\omicron\mu\alpha\omega$ 'держат в своих руках' > 'распределять', $\lambda\alpha\mu\beta\alpha\omega$ 'брать, хватать', $\tau\omicron\mu\omega$ 'отделять' (производный от 'захватывать'), $\kappa\alpha\mu\tau\omega$ 'гнуть', бретонский глагол *kemer* с тем же значением. Можно сопоставить, как отдельные корни, предлоги и приставки с семантикой сближения, совместности: лат. *sum*, санскр. *sat* и греч. $\alpha\mu\alpha$.

Но ср. семитские корни *dum* 'затыкать отверстие, молчать', *gum* 'молчать', *tim* 'скрывать', *gim* с тем же значением, *hmm* 'собирать, объединять', *ktm* 'скрывать', *sm* 'быть характерным чему-либо', *zmm* 'связывать', *lm* 'объединять, собирать', *hm* 'задумывать' (здесь и далее примеры семитских корней взяты из работы А. Г. Беловой [1993]). Столь близкая семантика эпифазы **М** в языках разных семей дополнительно свидетельствует о неслучайном характере совпадений.

При сравнении фоносинтагм, которые имеют в эпифазе лабиальную сонанту и лабиальную взрывную, т. е. **КМ** и **КР** (или **КВ**), можно констатировать неопредельный, длительный характер эпифазы с импловзивной **М** и предельный, дискретный, точечный характер эпифазы с экспловзивной согласной **Р** (или **В**).

Это дает возможность дальнейшей интерпретации: если **КМ** — это захват, сжатие (> удержание), то **КР** — это захват, отделение, отщепление (> разрушение). Можно провести аналогию фоносинтагмы типа **КМ** с длительным видом глагола, дуративом, а типа **КР** — с предельным видом, терминативом, который, в данном случае дает эффект *отщепления к себе*, или *анакопу*.

Фоносинтагмы с эпифазой предельности типа **КР (GB)** — **kr**, **tr**, **gr**, **lp**, **gb**, **lb**, **rb**, **tb** и т. п. — оказываются эквивалентными по смыслу: все они фонокинетические операторы со значением анакопы. Ср. лат. *carpo* 'хватать', которое состоит в определенном родстве с рус. разговорным *ханать* (возможный аргумент о его звукоподражательной природе лишь подкрепляет принятую гипотезу); его явным гомологом является фр. глагол *happer* 'хватать' германского происхождения. В лат. *habeo* 'иметь' представлен вариант корня того же смыслового типа, как и в лат. *rapeo* 'хватать, похищать'; сюда же относятся рус. *копать* и *губить*, от которого производно слово *губа* (то, чем захватывают), ср. с лат. *labium* 'губа', но также и лат. *labes*, *labina* 'лавина', как оторвавшийся пласт снега; ср. рус. *лупить* (отделять) и *лепить*, где в обоих случаях есть семантика захвата/отделения: отделение от объекта и захват субъектом, или наоборот. Сюда же санскр. корни *lup* и *rup* 'ломать, разрушать', *labh* 'получать, захва-

тывать', *grabh* 'хватать', гр. λαβη 'взятие'. Но ср. также бретонский глагол *tapout* 'хватать'.

Французское *hache* 'топор' имеет древнейшую форму франкского происхождения — *happia*, что относится к этому же типу фоносинтагм; но и в русское *топор* тоже входит фоносинтагма *tp* с тем же значением; если сравнить эти слова с лат. *lapis* 'камень', гр. λελις 'скорлупа', κωλη 'рукоять', κολις 'кинжал' и с рус. *копье*, то открывается общее первоначальное значение этих форм — 'то, что хватают (рукой)'.

Любопытно, что в греческом λαμπω 'хватать' представлены оба момента в одной фоносинтагме: длительный *M* и предельный *P*, которым как бы подчеркивается отдельность удерживаемого; при этом *P* становится эпифазой для сложной профазы *LM*; дальнейшее развитие этого значения — λαμπη 'то, что в руке' > 'то, чем светят' > 'факел' > лампа'.

Подобную же форму имеет греч. καμπη 'изгиб', очевидно связанное с καμπω 'гнуть', и лат. *campus* 'поле', значение которого, вероятно, претерпело развитие от 'удержание/присвоение/захват' до 'отделение' > 'доля/надел' > 'поле'. Ср. греч. τοπος 'место' (вначале — 'участок земли'). Но и лат. *tempus* имеет первичное значение 'отрезок времени'.

Примеры семитских корней с той же эпифазой: *gub* 'обдирать кору', *hsb* 'обламывать', *kr* 'сгибать', *rb* 'размазывать', *hlb* 'доить', *ntp* 'вырывать'. Можно отметить, что из семантики сжатия по дополнительной часто развивается семантика деформации.

Следующие два типа фоносинтагм — с апиальной эпифазой.

Это прежде всего фоносинтагма типа *KN*, имеющая во второй позиции сонанту *N*, которая создает *протрактивную* семантику *экзотропы* — центробежного напора, давления, отталкивания, развертывания и по дополнительной — деформацию. Ее варианты *kn, gn, mn, pn, tn, ln*, и т. д.

К этому типу относятся корневые фоносинтагмы в рус. *мну, гну, пну, льну, (на)чну, тяну, жну, помню, знаю*; с последним словом корреспондируют греч. γναμτω 'сгибать', γνωμα 'признак', γνωσις 'знание'; сюда же относятся санскр. *tan* 'знать', *tan* 'растягивать' и греч. βυνω 'затыкать', γανω 'полировать', δονω 'гнать', ιχνος 'след', κενω 'пустота', κεво 'сводить к нулю, подавлять', κινω 'двигать, гнать, опрокидывать, изменять', μναομαι 'думать, вспоминать', πνιω 'душить', πωнос 'усилие, напряжение', τανω 'натягивать, напрягать', τεινω 'тянуть'; ср. лат. *mino* 'гнать', *pando* 'сгибать', *pinso* 'толочь', *teneo* 'держать', *tendo* 'тянуть', *tundo* 'толочь'.

Среди семитских корней с *N* в эпифазе имеются *kup* 'пребывать', *gsp* 'быть крепким', *qnp* 'сдвигать в кучу', *kp* 'скручиваться'.

Вообще говоря, фоносинтагма типа *KN* выглядит как менее распространенная по сравнению с другими типами, по-видимому, из-за невысокой устойчивости сонанты *N* (по сравнению с лабиальной *M*), напряжен-

ность *N* разрешается переходом в предельные взрывные *D* и *T* и далее в фрикативное *S* или в *ST*.

Фоносинтагмы, имеющие в эпифазе *T(D)* — *mt, kt, pt, md, gd, bd, ld, rd* — сохраняют семантику центробежного давления, но, как взрывные результирующие, дают и смысл отторжения от себя, или *апокопы*.

Это семантика удара, приведения в движение, и по дополнительной — семантика разрушения, деформации и движения, в том числе падения, качения и т. п.: лат. *batuo* 'бить', *cado* 'падать', *caedo* 'бить', *cudo* 'бить, толочь', *pedis* 'нога', *moto* 'двигать', *roto* 'крутиться', *nodo* 'скручивать узлом', *noto* 'обозначать', *vado* 'двигаться, устремляться'; те же явления наблюдаем в греческом: βαδος 'ход', βατος 'проходимый', κεντεω 'ранить, колоть' (< разрушение), кутос 'кривизна, полость', λακτιω 'топтать, бить', νυττα 'мета', 'одоs (первая гласная с придыханием) 'путь', повтос 'проход', πεδον 'почва', πλτω 'падать'; отметим также санскр. *ard* 'разлетаться', *rdh* 'расти' (< приходить в движение), *kut* 'гнуть, дробить', *ksud* 'толочь', *khad* 'быть твердым', *gadh* '(твердо) стоять', *ghut* 'вертеть' (< двигать), *cud* 'пробуждать', *tud* 'бить', *pat* 'идти, двигаться', *pad* 'двигаться, падать', *pad* 'нога', *pid* 'давить', *badh* 'притеснять', *budh* 'будить', *bhid* 'ломать', *radh*, *rudh* 'подчинять', *lud* 'шевелить, беспокоить', *vadh* 'бить, разбивать', *vedha* 'пронизывание, открывание', *veda* 'знание'.

Если привести слова русского языка с фоносинтагмами типа *KT*, то окажется, что часть из них уже фигурировала в русских переводах корней из других языков, и их фоносинтагмы являют собой почти буквальные соответствия для некоторых корней (с характерными для русского языка чередованиями в эпифазе *d/st*): *падать, бить, пасти, ходить, расти, вести, (по)годить, катить* (из 'двигать', отметим, что слово *каток* широко используется в рус. диалектах вместо *колесо*), *будить, ведать, видеть и водить*, а также *метить, мотать, метать, кидать, питать, пестовать, ладить, садить*, и т. д.

Семитские корни этого типа: 'hd 'брат' (подходящее), hid 'быстро идти', qd 'гнуть', rd 'преследовать', md 'измерять, растягивать', nd 'со-скребать', prd 'толкать', mhd 'бить, трясти', bid 'губить, погибать', ht 'выкапывать', slt 'господствовать', kt 'колебать', lkt 'собирать' (= сбивать в одно место), bt 'бить' и др.

Для фоносинтагм с эпифазой *R* (*br, pr, dr, tr, pr, gr*) можно тоже констатировать общность семантики: рус. *дыра, нора, кора, вертеть, бурить, тереть, торить*. Операторная сущность элемента *R* предстает в них как *анастрофа*: 'перевертывающее, вибрирующее, вращательное, возвратное воздействие > разрушение, отторжение, обособление, извлечение'.

Примеры: греч. *торεω* 'пробивать', *φερω* 'нести' (из 'добывать', 'извлекать'), *τρελω* 'поворачивать', *τρυλω* 'сверлить', *τροχος* 'колесо', *τρυπη* 'дыра', *τρυχω* 'тереть'; *δερω* 'обдирать'; лат. *ferio* 'колоть, поражать', *foro*

‘буравить’, *pareo* ‘появляться’, *tergeo* ‘тереть’, *vibro* ‘дрожать’, *verbero* ‘бить’, разрушать’ и др.; в санскрите это корни: *gur* ‘ранить’, *gurn* ‘вертеть’, *dar* ‘рвать, терзать, ломать, делить’, *barh* ‘рвать, вырывать’, *mar* ‘разламывать, разбивать, умирать’, *tarh* ‘дробить’, *dhar*, *bhar* ‘нести’ (< извлекать) и др.

Среди соответствующих семитских корней находим: *qur* ‘продырявить, просверлить’, *dru* ‘рассеивать’, *dug* ‘поворачивать’, *tug* ‘отрезать’, *pr* ‘отрываться’, *sig* ‘тянуть к себе’ и др., которые являются носителями в точности той же семантики — анастрофы.

В следующем ряду фоносинтагм с эпифазой L (*kl*, *pl*, *tl*, *ml*, *nl*, *gl*) можно усмотреть общую для них семантику энклизы: гладкого вставления, ввода и результирующего склеивания, сочленения. Сюда, очевидно, относятся: рус. *клей*, *клин*, *кол*, *ключ*, *палка*, *жалить*, *молот*, *молочь*, *толкать*, *колоть*, *глотать*; фр. *glisser* ‘скользить’ и ‘проталкивать’ (*faire glisser*), *coller* ‘клеить’; ср. лат. *celo* ‘прятать’ (< заталкивать), гр. *κλεις* ‘ключ, засов’, *κλῆμα* ‘побег, ветвь’, *θαλλος* ‘побег’ и *φалλος*, а также *βαλανος* ‘желудь, задвижка’, лат. *glans* ‘желудь’, ‘косточковый плод’ и ‘*glans penis*’.

Обращает на себя внимание совершенно определенное развитие у этого типа фоносинтагм значений по дополнительности: *полюй* — ‘то, во что вводят’, ср. лат. *pala* ‘чашка’, *колесо* — ‘то, что надевают на кол’, с этой точки зрения рус. *телиться* связано в первую очередь со смыслом ‘*faire glisser*’ и, возможно, является базой для рус. *тело* ‘то, что проталкивается’ (ср. с санскр. *phal* ‘рождать’, *phala* ‘плод’), ср. также с др.-рус. *туль* ‘колчан’, т. е. то, во что *тулят*, толкают, вталкивают; ср. гр. *κολεος* ‘ножны’, аналогичны бретонское *toull* ‘яма’ и лат. *cella* ‘ячейка’ (ср. греч. *κελυφος* ‘полость’).

Далее из энклизы развивается значение разделения: *колоть* из ‘вводить’ преобразуется в ‘разделять’; так же как *молот* и *молочь* ‘вводить’ преобразуется в ‘измельчать’. Энклиза в варианте *dl* присутствует также в рус. глаголах *делить* и *делать*.

Любопытно привести рус. *кол* и *околица*, сопоставив их с лат. *vallus* ‘кол’ и *vallum* ‘изгородь (из кольев)’ = рус. *околица*, или с фр. *pal* (от лат. *pallus* ‘кол’), откуда фр. *palissade* ‘изгородь’. Сюда же относится и рус. слово *вал*. Ср. англ. *wall* ‘стена’ (вначале это стена из кольев, частокол). С соответствующим лат. *vallus* ‘кол’ семантически сопряжено лат. *valles* ‘яма, впадина > долина’, ср. рус. *полость*, *долина*, *дол*, но также и нем. *Tal* ‘долина’, которые относятся все к этому же типу — энклизе.

Фоносинтагмы *ml* и *mr* противопоставляют в греческом языке слова, обозначающие часть: *μελος* ‘органическая составная часть’ и *μερος* ‘отчужденная часть’, что вполне соответствует первичной семантике соответствующих эпифаз в фоносинтагмах типа *KL* и *KR* как энклизы и анастрофы.

Среди семитских корней с L во второй позиции можно отметить: *kl* ‘есть’, *tl* ‘уводить’, *gl*, *hl* ‘помещать, проникать внутрь’, *nhl* ‘просеивать зерно’, *hbl* ‘доить’, *sl* ‘выпускать молоко’. Наряду с этими корнями, близкими к исходной семантике эпифазы, есть и вероятные дериваты от базовой формы, как *ql* ‘быть легким’ (< скольжение?), *dil* ‘быть маловажным’, *gul*, *dul* ‘кружить’ и др.

Первичное значение ‘вонзять > расщеплять’ можно усмотреть в фоносинтагмах с велярными K, G в эпифазе (*rk*, *lk*, *tk*, *pk*, *rg*, *ng* и др.): рус. *ноготь*, *нога*, *рог* (ср. груз. *rka* ‘рог’), *тыкать*, *ткать*, *ток*; ср. также варианты этих фоносинтагм с чередованиями согласной эпифазы: *разить*, *нож*, *вонзять*, *нанизывать*, и т. п. Из семантики ‘вонзание’ легко развиваются такие смыслы, как ‘расщепление, отщепление, ответвление’; поэтому общий смысл фоносинтагмы с велярным в эпифазе мы обозначим как **синкопу**. К этому синкопирующему типу можно отнести: рус. *река*, *ручей*, *рука*, *оружие*, *луч*, *лакать*; греч. *δακνω* ‘кусать’, *δακος* ‘укус’, *θηγω* ‘острить’, *λακιζω* ‘раздирать’, *λαχαινω* ‘рыть’, *πηκτος* ‘вонзенный’, *ρηγνυμι* ‘пробивать’, *ρακοομαι* ‘рваться в клочья’, *ρεγεις* ‘разрыв’, *ρουχος* ‘клов’, *τοκος* ‘секира’, *ονυξ* ‘ноготь’.

Лат. *ligo* ‘связывать, соединять’, вероятно, восходит, как и *jugo*, *jungo* ‘соединять’ к действию нанизывания, протыкания, чему косвенным подтверждением могут быть, например, *ligo* ‘кирка’ и *jugulo* ‘перерезать горло, закалывать’; ср. греч. *λεγω* ‘укладывать, собирать’ и лат. *lego* ‘собирать, извлекать’. С действием вонзания связаны и лат. *lacus* ‘ров’, *lacuna* ‘яма’. В санскрите синкопические корни: *aks* ‘проникать’, *iks* ‘примечать’ (эти слова начинались с согласной, перешедшей затем в придыхание и окончательно утраченной), *añk* ‘метить’, *niks* ‘пробивать’, *nikhan* ‘вонзять’, *ric* ‘разделять’, *rus* ‘луч’, *lag* ‘пробовать’, *liṅga* ‘знак, отметка, муж. член’; сюда же тяготеет лат. *lokus* и санскр. *loka* ‘место’, очевидно отмечаемое вонзанием знака; но тогда и *ночь* — лат. *nox*, *noctis*, брет. *noz* — можно рассматривать как время суток, отмечаемое вонзаемым знаком ночлега; ср. греч. *νυξ*, *νυκτος* ‘ночь’ и *νυξις* ‘уколы, покалывание’.

Примеры семитских корней: *ntk* ‘жалить, колоть’, *rq* ‘быть тонким’, *rlk* ‘разрезать’, *nik* ‘совокупление’, *suk* ‘вонзить, проткнуть’. Все совпадения здесь, как и в предыдущих типах, по-видимому, не являются случайными и находятся в непосредственной зависимости от смысловыразительных свойств артикуляторного аппарата, а также от закона взаимной дополнительности действий — исходного и «встречного», как ответа на воздействие.

Таким образом, установление смысла фоносинтагм оказывается реальным. По сути своей они представляют собой операторы, формирующие смысловые образы кинестетического порядка — **фонокинемы**. Все ядерные типы фонокинем, установленные нами, находят подтверждение на

материале глагольных корней разных языков и должны иметь свои соответствия на уровне дискурсивных операций.

Каждая фонокинема — это своего рода микромодель образа взаимодействия говорящего с ситуацией. Существенный момент — стремительное развитие смысла исходной кинемы любого типа по дополнительности. Исходная кинема напоминает диалогическую преформу, которая тут же вызывает сопряженный с этим действием смысл, аналог диалогической реплики. Получается, что субъект как бы вступает в диалог с объектом из своего окружения, реагирующим на действия субъекта.

В качестве осторожных обобщающих выводов можно отметить, что за определенным сочетанием фонем в индоевропейских языках зафиксированы (и, по-видимому, в глубокой древности) определенные смыслы, которые послужили базовыми для множества последующих смысловых дериваций. Попытка свести все многообразие лексических корней к их исходному ядру предпринималась, как известно, В. М. Илличем-Свитычем [1971] для всего ареала ностратических (афро-евразийских) языков. Видимо, при установлении такой сводимости важнейшую роль играют глагольные лексемы. Т. Барроу [1976, 270] насчитывает в санскрите «не более восьмисот корней, составляющих ядро не только глагольной системы, но и большей части унаследованных именных основ языка». С этим количеством сопоставим и состав ядерных, в основном глагольных, корней русского языка. Возможно, что внутри выделяемого базового множества корней некоторые из них восходят к единому источнику, корню-архетипу, содержащему ядерную фоносинтагму, давшую последующие дериваты. Иначе говоря, количество ядерных корней, если их сводить к корням-архетипам, окажется в итоге существенно меньшим, чем это определялось до сих пор.

Но при установлении сводимости такого рода необходимо иметь в виду, что возможны как отношения действительной деривации, так и случаи совпадения фонетических форм, восходящих к разным архетипам, то есть, соответственно, отношения гомологии и аналогии. Заметим, что гомологами, т. е. родственными между собой, могут оказаться и корни, различные по фонемному составу в силу тех модификаций, которые их формы испытывают в течение тысячелетий, а сходство аналогов, случайно совпавших по форме, может ввести в заблуждение.

Так, индоевропейский глагол 'быть' (лат. *esse*) имеет в своих формах явную фонокинему типа эндотропы (*sm* — свертывание, захват); это формы 1-го лица ед. и мн. ч.: скр. *asmi*, *smas*, греч. $\eta\mu\iota$, $\eta\mu\epsilon\nu$, слав. *азь есмь*, *мы есмь*, лат. *sum*, *sumus*, гот. *im*, *sijum* (ср. англ. *I am*). В русском языке к формам этого глагола близки формы глагола, выражающего поглощение пищи (*ем*, *ест*, инфинитив *есть*). Что здесь имеет место, аналогия или гомология? Возможно, что связь между формами глаголов 'есть' и 'быть' не случайна: 'есть' некогда (по дополнительности) означало и 'существовать'.

Представляется, что на первом этапе исследования допустимо выделять в отдельные списки все те лексемы, корни которых вызывают подозрение относительно своей архетипической (гомологической) общности. Отсеивая затем все те, которые оказываются всего лишь формальными аналогами, можно прийти к установлению своего рода гомологических рядов или семейств для множества корней индоевропейских языков, а может быть, и для более широкой языковой общности. Не исключена возможность установления фоносинтагматических гомологий для языков с разной грамматикой и лексикой.

Сводная таблица фонокинем

Наименование оператора	Форма архетипа	Варианты фоносинтагм
Эндотропа	*M (согласная + M)	hM, kM, gM, tM, dM, lM, sM
Анакопа	*B (*P, *V > W)	hV, hP, kP, gB, tP, dB, lP, rB, rV
Экзотропа	*N	kN, gN, dN, bN, lN, rN
Апокопа	*D (*T > *S)	mD, bD, pT, vD, gD, kT, lD, rD
Синкопа	*G (*K > H)	mG, mK, nG, nK, rG, rK, lG, rK
Энклиза	*L	mL, pL, dL, tL, gL, kL
Анастрофа	*R	mR, bR, nR, dR, gR, kR, etc.

Выводы по главе V:

1. Компоненты дискурса на всех уровнях образуют синтагмы, состоящие из двух фаз: подготовительной (профазы) и исполнительной (эпифазы). Эпифаза представляет собой действие, результирующее или изменяющее смысл, заданный в профазе. Фазы могут быть связаны в речевом потоке по последовательному и по параллельному принципу, что создает дискурсивную прогрессию, обуславливающую как стяжение, так и разветвление смыслов. Фазическая сторона речи первична по отношению к семической. Развитие речи сопряжено с расщеплением фазической основы на два плана: диктальный и семантический.
2. Речь — это не акция и не реакция, а интеракция. Всякое регулятивное действие по сути своей интерактивно. Команда в синергетическом аспекте — это интерполент контекста речевой деятельности и одновременно его катализатор. Как речевое выражение, она связана с ситуацией эвокативно и суггестивно, т. е. и референтно, и эфферентно.
3. Высказывание, организованное глаголом-предикатом, действует как узловый оператор, совершающий интерполяцию двух смысловых компонентов. Высказывание может выступать и как рамочный опера-

тор, посредством сопряжения двух единиц языка как семантических полюсов. Рамочная конструкция создает в дискурсе смысловые «зародыши» нового смысла, нацеленные на саморазвитие.

4. В нарративном дискурсе глагольные предикаты образуют многофазовые циклы, отражающие как деятельность самого субъекта, так и сопряженные с нею циклы событий. Смыслы глаголов, соседствующих в цикле, часто выражаются одной и той же лексемой.
5. Всякое речевое действие — это образ взаимодействия говорящего с объектом говорения. Лексемы глаголов действия диктальны по своему происхождению, производны от движений артикуляционного аппарата речи, создающих кинестетические образы (кинемы) взаимодействия субъекта с объектом. Ключ к глубинным принципам создания дискурсивного смысла следует искать во внутренней форме глагола.
6. В консонантных фоносинтагмах, составляющих устойчивый каркас глагольного корня, главным компонентом является согласный эпифазы, который вместе с профазой формирует семантику фоносинтагмы. Все фоносинтагмы легко развивают сопряженные смыслы по дополнительности.
7. Корневые фоносинтагмы — это звукоартикуляционные кинестетические образования — фонокинемы. Каждая фонокинема — микромодель образа взаимодействия говорящего с ситуацией. Смыслы фонокинем родственны смыслам высших дискурсивных операций и даже являются более определенными: семантика кинемы с лабиальной **М** в эпифазе — эндотропа (свертывание), с взрывной лабиальной **Р(В)** — анакопа (отщепление); с апикальной **Н** в эпифазе — экзотропа (развертывание), с взрывной апикальной **Т(Д)** — апокопа (отторжение); кинема с вибрантой **Р** в эпифазе дает смысл анастрофы (извлечения), с плавной **Л** — смысл энклизы (плавное вхождение); кинема с веларной **К(Г)** в эпифазе дает смысл синкопы (вонзание > расщепление).

ГЛАВА VI

Моделирующая деятельность дискурсивной рефлексии

§ 1. Порядки дискурсивных моделей

С учетом явлений диктального плана, описанных на уровне консонантной фоносинтагмы, где каждая из кинем представляет собой смысловой микроблок дискурса, возможен переход к дальнейшим обобщениям относительно процессов формирования дискурсивных структур и выражаемых ими смыслов.

Первичные образы взаимодействия говорящего субъекта и объекта говорения принадлежат диктальному плану речи. Диктальный образ — это интерактивная по своему существу реплика, результирующая два взаимовлияющих процесса: динамическое состояние говорящего и некоторый сопряженный процесс, которые на этом уровне принадлежат фазовому пространству, общему для субъекта и объекта.

Характер реплики всегда зависит от двух составляющих: от состояния субъекта и от состояния ситуации. Среди диктальных реплик можно различать три вида: диффузная реплика-*тонема* — тональная голосовая реакция в ответ на внешнее раздражение, реплика-копия, или *иконема*, имитирующая некий природный шум, и речедвигательная реплика, т. е. речевая *кинема*, определяющая класс, к которому относятся рассмотренные выше фоносинтагмы.

Лексический материал индоевропейских языков свидетельствует о наибольшей деривационной продуктивности диктальных форм типа кинем, или фонокинем. Артикуляционно кинема повторяет в существенных чертах то или иное телесное действие: соединение, разъединение, захват, отталкивание, сжатие, расщепление и др. Кинемы являются наиболее сильными в энергетическом плане диктальными операторами, артикулирующими звук сообразно действиям, совершаемым говорящим. Вероятно поэтому они и стали основным строевым материалом дискурса, оттеснив на второй план (хотя и не вытеснив полностью) другие типы диктальных единиц: и тональную недифференцированную реакцию на ситуацию, и иконическую имитацию природных звуков (ономатопея), которые, по видимому, имеют лишь ограниченные возможности как речевого управления деятельностью, так и обособления речевой деятельности от сопряженной с ней ситуации.

Первичная функция иконических звуковых форм — представлять элементы мира, а функция тонических форм — выражать отношение к ним субъекта. Фонокинема сочетает в себе и то, и другое, так как является не копией внешнего предмета и не отголоском душевного состояния говорящего, а образом взаимодействия субъекта и объекта.

С рождением семантического плана, когда звукокомплексы уступают место знакокомплексам, диктальный план остается материальной основой речи, в которой господствующей кинемике сопутствует и звукоподражание, и интонирование, определяющее ритмическую организацию дискурса и выполняющее в различных языках смысловоразличительные функции на разных уровнях: от лексического (силовое и тональное ударение) до дискурсивного (актуальное членение высказывания).

Базовый смысл кинемы (и любого диктального образа) не может быть изменен, он сингулярен, единствен в своем роде. Каждая кинема — смысловыразительная константа, принадлежащая системе. Но в контексте дискурса фонокинема становится исходной величиной для образования производных и испытывает смысловые модификации. Фонокинемы представляют собой основной **материал**, которым оперирует дискурсивная рефлексия при построении слов и высказываний.

Если принять, что кинемы как базовые операторы содержатся в языке в единственном экземпляре, то в дискурсе, где они повторяются множество раз, мы имеем дело уже не собственно с кинемами как с системными базовыми константами, а с их воспроизведением в виде копий, которым дискурсивная рефлексия придает статус переменных величин. В этом качестве они образуют в составе высказывания всевозможные слова-знаки, которые, в отличие от базовых кинем, обладающих *безусловной* семантикой, могут существовать в системе только как условные, общественно санкционированные носители значения. Знаки, в свою очередь, становятся исходными величинами для образования вторичных производных лексем и языковым материалом для формирования комплексных дискурсивных структур.

Для решения нашей задачи важно осмыслить принципы построения дискурсивных структур как «образов мира» — **моделей**, в которых запечатляются разнообразные семантические планы, принадлежащие различным уровням и регистрам представления мира, осуществляемого рефлексией. Необходимо выяснить то, каким образом рефлексия переходит от первичной диктальной модели взаимодействия субъекта с объектом к модели предметного мира и далее — к построению моделей, представляющих вымышленные и генерализованные смыслы.

С известной долей упрощения мы представим процесс построения моделей как двухфазовое действие, в одной фазе которого представлен материал для будущей модели, а в другой — формирующий ее оператор.

Логически возможны два варианта построения модели, в зависимости от того, в какой фазе находится оператор: в профазе или в эпифазе; то

есть, модель образуется либо по схеме: «материал плюс налагаемый на него оператор», либо «оператор плюс подвергаемый его действию материал». Данная схема является самой общей и приложима к процессам построения любых моделей, в том числе и неязыковых.

При построении примитивной дискурсивной модели рефлексия избирает в качестве оператора то *действие*, которое служит интерполяцией двух сенсорных образов реальности (например, образов двух ситуаций — исходной и результирующей), а в качестве материала она избирает звуковую субстанцию, которая подвергается соответствующей артикуляции. В результате формируется первичная **диктальная модель**, в которой семантический план совпадает со своим носителем, образует с ним нераздельное единство, поэтому мы отметим ее как модель нулевого порядка.

По сути своей диктальные фонокинемы — это абстрактные и амодальные действия, ставшие ощутимыми материально языковыми операторами благодаря своему воплощению в звуковой субстанции. Можно сказать, что форма и смысл диктальной модели находятся в отношении *изометрии*, представляя собой недифференцированное единство.

Дальнейшее использование фонокинем возможно в двух планах: либо в функции тех же операторов, обеспечивающих адаптивную и регулятивную деятельность субъекта по отношению к динамике актуальной ситуации, либо в функции материала для построения модели следующего, первого порядка.

Обращаясь в материал, фонокинемные операторы меняют свой ранг. Из моделей они обращаются в самоподобные копии, подвергаемые действию некоторого прототипа, формирующего модель реальности. В качестве такого прототипа на данном этапе выступает форма сенсорного образа реальности, под которую и подстраивается фонокинемный материал. Рефлексия выдвигает в профазу образ — носитель реального прототипа, а в эпифазе помещает подходящие копии фонокинем. Разные по форме копии налагаются на структуру образа-прототипа, занимая в нем соответствующие позиции, что создает языковой реляционный портрет этого образа. Результирующая модель — **модель реальности** — *симметрична* своему реальному прототипу — сенсорному образу действительности.

Дискурсивная модель реальности создается афферентно — это по сути своей аналитическая модель, схватывающая сенсорную «картину» ситуации и переводящая ее в лингвистическую речевую форму. В дискурсивной модели реальности семантический план отщепляется от диктального и приобретает относительную независимость. Носителями новой, измененной семантики являются копии тех же диктальных операторов, которые легко распознать, поскольку при построении модели высшего порядка из материала предшествующей языковой модели соблюдается принцип сохранения языковых форм. Материал здесь используется не как совершенно нейтральная и безразличная субстанция, а как живая форма, носитель некоторого базового

смысла. В то же время все величины в этом материале переопределяются через существующие в действительности прототипы.

Корпус моделей реальности становится основным и важнейшим источником материала для всех последующих моделей.

В модели второго порядка, в отличие от модели реальности, уже обе фазы принадлежат языку: материал реальной модели и оператор, строящий новую, **квазиреальную модель**. Квазиреальность — это «как бы реальность». По внешнему виду эта модель очень похожа на модель реальности, но по процедуре построения является не аналитической, а синтетической. Реальная модель — это отражение уже существующего прообраза. Квазиреальная модель создает образ эфферентно: синтезирует его, конструирует из языковых выражений. По способу своего образования квазиреальная модель оказывается обратной, *анасимметричной* по отношению к модели реальности.

Сконструировано может быть не только то, чему есть соответствие в действительности, но и многое другое, так как квазиреальное построение задано моделирующим оператором, независимым от ситуации — «оператором вымысла». Рефлексия здесь действует таким образом, что все величины в квазиреальной модели не определяются через реальные прототипы, а *самоопределяются* в дискурсе, что создает обособленность, независимость дискурсивного образа. Квазиреальная модель дает простор для правдоподобного вымысла и для разнообразных приемов представления уже известного, которое облекается в непривычные для него формы, а новое, в свою очередь, может быть облечено в известные формы. Если в модели реальности конкретное содержание мира-прототипа выражено через абстрактные формы, то в модели квазиреальности эти же формы, уже наполненные реальной конкретностью, могут оказаться «пустыми» с точки зрения реальности своих денотатов. Квазиреальные высказывания, в отличие от реальных, перестают быть сообщениями. Все примеры предложений в грамматике (такие, как *Маленький мальчик быстро бежит; Светает; Идет дождь; Мери дает книгу Джонку*, и т. д.) представляют собой квазиреальные модели. Многие произведения художественной литературы (новеллы, романы) квазиреальны. Имена их героев не имеют реальных денотатов, существуя только в дискурсивно созданном квазимире.

Любая квазиреальная модель оказывается, в той или иной мере, асимметричной по отношению к реальной, в силу неполноты соответствий между ними: с одной стороны, реальная модель потенциально богаче, чем квазиреальная, так как мир неисчерпаем; с другой стороны, в ней не существует многого из того, что создано в квазиреальности.

Квазиреальная модель становится подготовительной для следующего шага рефлексии в расщеплении ментального семантического пространства. Она составляет основной материал для создания модели третьего порядка, которую можно характеризовать, как модель-метамофозу, или **ир-**

реальную модель. Эта модель будет *диссимметричной* по отношению к реальной и квазиреальной моделям, т. е. она будет содержать и «реалии», и «квазиреалии», но в деформированном виде.

В этом метаморфическом плане дискурсивного моделирования мы встречаемся, в частности, с такими явлениями:

- нарочитая недостоверность предлагаемого представления мира: *Слепой увидел, немой закричал, безногий за подмогой побежал* (здесь, очевидно, нарушен закон исключенного третьего: либо слепой, либо увидел, но не то и другое вместе);
- метатеза, перевертывание реальных отношений между предметами: *Ехала деревня мимо мужика. Вдруг из-под собаки лают ворота*;
- путаница, перемешивание реальных отношений: *Рыбы по полю гуляют, Жабы по небу летают, Мыши кошку изловили, в мышеловку посадили*;
- оксюморон, нарушающий закон противоречия, синтез несовместимых смыслов: *зеленая лошадь курит квадратный апельсин под желтым часом*;
- паралогическое переключение смысла с нарушением синтактико-семантического тождества, на котором основаны каламбуры: *Один идет в пальто, а другой в кино*.

В этой модели ирреальное предстает как конкретное «реальное», а реальное — в ирреальных формах. Ирреальная модель оперирует и такими величинами, которые совершенно абсурдны, исключены с точки зрения реальности. Таковы фантазмагорические персонажи волшебных сказок.

Модель следующего, четвертого порядка создается из материала всех предшествующих моделей, но ее смысл заведомо не соответствует тому, что в ней выражено буквально. Это модель-иносказание, или **аллегорическая модель**. Суть ее в том, что она выражает абстрактное через конкретное: выражение *Нет дыма без огня* является конкретным носителем абстрактной реляционной формулы: «Наличие одной вещи подразумевает наличие другой». При этом то, что выражено в ней конкретными образами, имплицитно подвергается совершенно безальтернативному отрицанию (речь идет вовсе не о дыме и огне). Этим самым аллегорическая модель оказывается *антисимметричной* по отношению к тем конкретным образам (реальным или ирреальным), которые используются для ее построения.

Итак, общая процедура построения является единой для дискурсивных моделей всех порядков. Модель каждого уровня строится из языкового материала, принадлежащего модели низшего уровня, и, в свою очередь, может предоставить свой языковой материал для построения модели высшего порядка. И только первичная диктальная модель использует в

качестве своего материала звуковую субстанцию, находящуюся вне языка, поэтому ее можно принять за модель нулевого порядка.

Характер нашего упорядочения моделей не противоречит обычному для научного метаязыка методу введения последовательных ограничений. Модели всех порядков диктальны — все они говорятся. Реальность присутствует во всех моделях от первого до четвертого порядка, хотя становится все более неузнаваемой. Квазиреальность участвует в моделях от второго до четвертого порядка, подвергаясь все большим деформациям, она подготавливает переход к ирреальности, нарабатывая возможности выражения несуществующего в реальности. Метаморфоза становится базисом для аллегории, придавая конкретность абсурдным абстракциям. А аллегория отрицает всякую конкретность, выражая иносказательно свой абстрактный реляционный смысл. Получается, что при переходе к модели каждого нового уровня происходит «иноговорение» — *говорение иного* ранее наработанными средствами, или *говорение иначе*.

На квазиреальном уровне «говорение иначе» может поставлять новые формы за счет сопряжения обычно не сочетаемых корней, ср. у В. Хлебникова: *крылопад, небомол*, и более тесные «скорнения» слов *весничий, мога-тырь, сладыка, смерышня* и др. Но и на диктальном уровне «говорение иначе» может стать творцом уникальных выражений, имея в качестве материала только звуковой. Известное «*дыр бул щил убеиур*» поэта Алексея Крученых построено на чистых кинемах, не привязанных ни к какому денотату.

В историческом плане можно предположить, что изначально говорение иначе было одновременно и говорением иного: любая форма обладала строго индивидуальным смыслом. В дальнейшем эти моменты дифференцировались. С развитием дискурсивных структур стало возможным выражать одно и то же разными средствами, а разное выражать одними и теми же средствами, используя как готовые формы, так и их комбинаторику.

Вполне вероятно также и то, что на ранней стадии становления дискурсивных структур модели реальности были слиты с моделями-метаморфозами; не потому ли исследователи мифов настаивают на том, что в первобытном восприятии людей содержание мифов не отделяется от содержания реальности [Леви-Стросс, 1985, 43]. В устах авторитетного индивида любой рассказ (быль, выдумка, миф) приобретал суггестивную значимость и назидательную, регулятивную функцию. Возможно, что порядок дифференциации дискурсивных моделей был иным, чем тот, который нами был описан выше. Сначала диктальному плану, выражающему действия человека, был противопоставлен план ментальный, синкретически включающий и отражаемый и воображаемый мир, при этом все величины этого плана воспринимались как совершенно конкретные сущности. Лишь впоследствии из этого ментального пространства выделились и дискурсивно оформились реальная и ирреальная модели, а также переходная между ними квазиреальная. Отметим, что и в сознании современного

человека до конца не преодолены рудименты синкретизма в дифференциации дискурсивных моделей: людям свойственно строить иллюзии, в которых смешивается реальное и мифическое.

Антиподом диктальной модели является наиболее генерализованная по смыслу **категориальная модель**. Она строится из материала всех предшествующих моделей. Категориальная модель в чистом виде — это позднейшее приобретение человека. Она, вероятно, оформилась с развитием философской рефлексии и научных представлений о мире. Категориальная модель *метасимметрична* по отношению ко всем прочим моделям в том смысле, что она оперирует исключительно абстрактными величинами. Ей свойственно упорядочение образов ментального пространства в их противопоставлении друг другу. Но предпосылки для этой модели — элементы категоризации мира — сформировались уже на стадии реальной модели. Естественный язык, взятый в целом, является первичным и главным для человека категоризатором мира.

Модель каждого порядка представляет смысл в определенном, свойственном только ей «стиле», или *регистре*. Поэтому проведенные разграничения могут быть положены в основу регистровой классификации дискурсивных моделей. Далее мы рассмотрим модели каждого регистра более подробно.

§ 2. Модели реальности и квазиреальности

Дискурсивные модели реальности обычно имеют, в том или ином отношении, тесную связь с говорящим, который стремится как можно точнее выразить нужную информацию, определяя для этого основные дейктические параметры [Benveniste, 1966, 262], привязку модели к основным точкам отсчета: личности, месту и времени говорения: *я* (ты, он) — *здесь* (там) — *сейчас* (тогда) — *это* (то). Ю. С. Степанов [1975, 282] относит эти моменты к особой языковой функции — локации. Такая модель реальности жестко детерминирована ситуацией, которая управляет порядком описания событий, «ведет» за собой говорящего. Главный принцип говорящего — это «объективно» излагать ситуацию, наблюдаемую или известную, следуя ее фактам, особенностям и изменениям. Этот наиболее очевидный случай прямого фактуального изложения обычно и рассматривается теоретиками дискурса.

Можно выделить, в первую очередь, два вида реальной модели: **актуальная модель**, представляющая образ настоящего, и **эвокативная модель**, представляющая образ вызываемого в памяти прошлого. Третий вид этой же модели — модель **виртуальной реальности**, носящая вероятностный, гипотетический, характер. Отметим, что она может быть ориентирована как на описание будущего, так и на описание прошлого и даже невидимого настоящего. Здесь вступают в действие «модальные» операторы

(может быть, возможно, вероятно, должно быть, значит, следовательно, и др.). Вместо конкретного дейксиса здесь возможны всякого рода неопределенности (кто-то, где-то, когда-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь и пр.). Модель принимает характер рассуждения. Но это рассуждение практическое: говорящий по-прежнему следует логике известных ему обстоятельств и закономерностей в развитии событий, своего опыта; только на их основе, используя (в том числе и излишне категорично) кванторы типа *все, всегда, всюду, иногда, некоторые*, и пр. он делает свои заключения, ничего не придумывая.

Свое «я» говорящий может полностью оставить за кадром, например: *Подошел поезд, пассажиры прошли в вагон*. Или: *Подошел поезд, может быть, пассажиры уже прошли в вагон*. Если он является (или представляет себя) активным участником излагаемых событий, то он вводит собственную «копию» в виде местоимения «я»: *Подошел поезд, я прошел в вагон*. Или: *Люди засуетились. Вероятно, подошел поезд, значит, я скоро окажусь в вагоне*.

Иногда говорящий излагает информацию о реальности со слов другого лица или иного источника, со ссылкой или без ссылки на него. При ссылке на источник говорящий вводит в дискурс особый актант — «копию» источника речи, которому он будет следовать так же, как следовал ведущей его ситуации. Реальность для говорящего, вообще говоря, оканчивается на моменте ввода актанта-рассказчика (то, что сообщается источником, уже не обязательно соответствует реальности, может быть вымыслом); далее (в кавычках) идет своего рода диктальная копия модели, созданной рассказчиком; например: *Мне звонил один знакомый. Этот знакомый мне рассказал: «Иду, говорит, по улице и встречаю, кого бы вы думали?...»* Эта конструкция содержит пересказ, воспроизведение речи, принадлежащей другому лицу. Таким образом, можно провести границу между продуктивной и репродуктивной моделями реальности.

Четвертый вид реальной модели — **оптативная**. Говорящий высказывает в ней свои предпочтения, желания, сомнения, опасения в выборе того или иного пути, средства достижения цели и другие чувства, относящиеся к мотивационной сфере, оптативные оценки актуальной или виртуальной ситуации, рекомендации и ограничения для ведения той или иной деятельности. Поэтому для нее обязательны операторы типа *желательно, надо, нельзя, хорошо бы, плохо (что)*, в том числе и глагольные: *хотеть, предпочитать, любить, сомневаться, опасаться, переживать, верить, быть уверенным*, и т. п.

Собственно **регулятивная** модель с операторами в повелительной и вопросительной форме может рассматриваться как подкласс оптативной. Она присуща, прежде всего, лаконичной речи, подчиненной иному виду активности. К регулятивным моделям относятся также все дискурсы политического и правового порядка [см. Серио, 1993].

Наконец, можно выделить еще один вид реальной модели — **иллюзионную**. Для нее характерны выражения типа *кажется, как будто, будто бы, вроде бы, словно*, используемые тогда, когда ситуация-прототип недостаточно четко воспринята говорящим. Модель-иллюзия может быть неосознаваемой как иллюзия, т. е. всецело определяться неточным образом действительности, возникшим в сознании. Преднамеренная ложь — это дискурсивная модель-иллюзия, специально создаваемая говорящим для того, чтобы ввести адресата в заблуждение и извлечь из этого некоторую выгоду.

Модели реальности различны по масштабу представления прототипа, или по уровню его детализации в терминах средств языковой эвалюации. Одно и то же событие, одна и та же ситуация могут быть представлены либо в развернутом, подробном виде, либо в сжатом, схематичном (в ретракте). Нередко оба варианта наблюдаются в газетном сообщении и в его заголовке, представляющем содержание в свернутой форме.

Квазиреальная модель по внешнему виду может быть неотличимой от реальной. Тем не менее, это будет игровая модель, «переодетая» в деловую. Ее содержание не обязано соответствовать ни актуальной, ни предвосхищаемой виртуальной реальности. Она может быть чистой выдумкой, построенной в голове по образу реальной модели. Основное отличие в том, что построение квазиреальной модели определяет не реальность, а сам говорящий. Материалом для построения квазиреальной модели являются копии реальных моделей, изменение и комбинаторику которых осуществляет говорящий по собственному произволу.

Очевидно, что в первую очередь это **правдоподобная** модель. По своему характеру она может быть столь определена в смысле дейктических моментов, что ее содержание будет выглядеть как сообщение о действительных событиях. Приведем пример из книги Реймона Кено «Упражнения в стиле», в которой он обыгрывает один и тот же простенький сюжет-прототип (происшествие в автобусе), повторяя его в разнообразных стилистических версиях, всякий раз создаваемых новым ключевым оператором.

Dans l'S, à une heure d'affluence. Un type dans les vingt-six ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus.

Deux heures plus tard, je le rencontre Cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit: «Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus». Il lui montre où (à l'échancrure) et pourquoi (R. Queneau. Exercices de style).

В этом примере содержатся характерные дейктические реперы, как бы указывающие на точное место действия (*autobus l'S, Cour de Rome devant la Gare Saint-Lazare*), на примерное время действия (*heure*

d'affluence, deux heures plus tard), а также на субъект (*je*), от лица которого как бы ведется повествование.

Сравните представление того же события, но в ином масштабе, в виде ретракта:

L'autobus arrive. Un zazou à chapeau monte. Un heurt il y a. Plus tard devant Saint-Lazare il est question d'un bouton (*R. Queneau. Exercices de style*).

Выделим еще некоторые виды квазиреальной модели, например, наиболее строгая из квазиреальных моделей — **экспериментальная** (являющаяся мысленным экспериментом), построенная на произвольных допущениях. Она может иметь эксплицированные операторы: *предположим (что), допустим, представим, будем считать, что если*, и т. п. В экспериментальной модели содержится исчисление, связанное со множеством виртуальных выборов.

Исходные допущения могут быть самыми разнообразными. Так, одна из версий того же события-прототипа в книге Р. Кено построена на метрических операторах:

A 12 h 17 dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2, 1, haut de 3, 5, à 3 km 600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, un individu du sexe masculin, âge de 27 ans 3 mois 8 jours, taille 1 m 72 et pesant 65 kg et portant sur la tête un chapeau haut de 17 centimètres dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 centimètres, interpelle un homme âge de 48 ans 4 mois 3 jours, taille 1 m 68 et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots dont renonciation dura 5 secondes... (*R. Queneau. Exercices de style*)

Следующий вид квазиреальной модели — **экспрессивная**: говорящий создает образ мира теми средствами, которые он сам выбирает, представляя его в индивидуально-психологическом ключе. При этом психологическое состояние автора выражается либо непосредственно, либо проецируется на реальность.

Заметим, что в реальной модели моменты экспрессивности обусловлены внешне, стихийным, случайным стечением объективных и субъективных факторов; говорящий контролирует больше содержание высказывания, чем те формы, которые он использует.

В квазиреальной экспрессивной модели, представленной у Р. Кено, автор придает большое значение параметрам, которыми он играет, поэтому он выдерживает экспрессивный стиль от начала до конца, чего, как правило, не происходит при разворачивании подлинной, а не фиктивной модели реальности, иначе она выглядела бы слишком нарочитой.

Tiens! Midi! temps de prendre l'autobus! que de monde! que de monde! ce qu'on est serré! marrant! ce gars-là! quelle trombine! et quel cou! soixante-quinze centimètres! au moins! et le galon! le galon! je n'avais pas vu! le galon! c'est le plus marrant! ça! le galon! autour de son chapeau! Un galon! marrant! absolument

marrant! ça y est le voilà qui râle! le type au galon! contre un voisin! qu'est-ce qu'il lui raconte! L'autre! lui aurait marché sur les pieds! Ils vont se ficher des gifle! pour sûr! mais non! mais si! va h y! va h y! mords-y l'œil! fonce! cogne! mince alors! mais non! il se dégonfle! le type!.. (*R. Queneau. Exercices de style*)

Этот текст напоминает некий репортаж с места события, или синхронный перевод с «языка реальности» на экспрессивный язык.

Можно выделить поэтические разновидности экспрессивной квазиреальной модели, в зависимости от того, как представлена, или «закодирована» в ней личность автора.

Аналитическая модель ретроективная, в которой состояние универсума метафорически переносится на говорящего:

Я только пар, только туман,
Плывущий вдаль, валящий валом,
Вползающий в ночной лиман,
Торчащий в зубьях перевала...

(С. Кирсанов)

Аналитическая модель проективная, где состояние говорящего переносится на окружение; ср. «шагающий лес» у Семёна Кирсанова:

Друг на друга идут, опираясь ветвями, они,
озираясь назад на вечерней деревни огни.
В гору, в гору с шагающим лесом я шел,
иногда обгоняя уже утомившийся ствол...

(С. Кирсанов)

Модель интроективная каталитического характера, в которой состояние психики автора вплетается в состояние окружения, но не прямо, через категорическую оценку, а через вживание личностных свойств в представляемые объекты, что дает каталитический эффект: *На земле зима, и дым огней бессилён распрямить дома, полегшие вповал* (*Б. Пастернак*).

В предыдущих примерах катализа не происходит в силу категорической неправдоподобности картины, заставляющей тот час же мысленно «перевернуть» ситуацию в нормальное положение, понимая, что это как бы иллюзия лирического героя, представленная метафорически.

Каталитическая модель проективная, в которой представляемый мир переживается автором как живое существо. Интересный каталитический эффект мы находим у В. Высоцкого в концовке его баллады о расстрелянном горном эхе:

К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо.
И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.
И брызнули слезы, как камни, из раненых скал.

(В. Высоцкий. Горное эхо)

Эта баллада с самого начала воспринимается как построенная на типичном олицетворении (...*Жило-поживало веселое горное эхо... Оно отзывалось на крик, человеческий крик*). И только в повторе финальной строки происходит каталитический переворот смысла за счет инверсии сравнения (*камни, как слезы — слезы, как камни*), что создает каталитический эффект: неожиданно метафора отодвигается на второй план и вся картина природы, созданная поэтом, переосмысливается, становится живой. Действительно, сравнение *камни, как слезы* подразумевает, что на самом деле 'это — не слезы'. Второе же сравнение — *слезы, как камни* — подразумевает: 'это — не камни' и данное отрицание утверждает противоположный смысл: 'слезы'.

Следующий пример каталитической модели из прозы Андрея Платонова:

Ночь шла тихо, но где-то в сених или во дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом... (А. Платонов. Жена машиниста).

Автор буквально вживляет душу неодоушевленному миру. Интересно, что здесь не совсем точным было бы говорить о прямом анимизме, так как анимизм — буквальное представление неживого как живое, следует отнести к области метаморфоз; здесь нет и метафоры как риторического приема, который всегда легко разгадывается, имея под собой сравнение. Здесь не монополяризация, не центрация вокруг лирического героя, а гиперполяризация всей картины. Каталитическая модель у Платонова — это не отдельный экспрессивный прием, скорее она характерна в целом для стиля писателя, возвратившего слову его некие глубинные живые корни.

Примеры каталитического представления природы есть и в прозе Б. Пастернака:

Порывы ветра *терзали* побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы *хотел вырвать* растение целиком, *поднимал* на воздух, *встряхивал* на весу и *брезгливо кидал* вниз, как дырявое рубище (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

Импрессивная квазиреальная модель результат неких реально пережитых впечатлений, которым автор придает свою интерпретацию, при этом не заботясь о своем отношении к изображаемому, но, скорее, желая поделиться этими впечатлениями с кем-либо. Импрессивная модель, вообще говоря, должна быть в основе своей аналитической, так как она строится на данных различных модусов восприятия.

Приведем фрагменты импрессивных моделей из книги Р. Кено:

Модель, выполненная в зрительном ключе:

Dans l'ensemble c'est vert avec un toit blanc, allongé, avec des vitres. C'est pas le premier venu qui pourrait faire ça, des vitres. La plate-forme c'est sans couleur, c'est moitié gris moitié marron si l'on veut. C'est surtout plein de courbes... (R. Queneau. Exercices de style)

Модель, выполненная в слуховом ключе:

Coinquant et pétaradant, l'S vint crisser le long du trottoir silencieux. Le trombone du soleil bémolisait midi. Les piétons, brillantes cornemuses, clamaient leurs numéros. Quelques-uns montèrent d'un demi-ton, ce qui suffit pour les emporter vers la porte... (R. Queneau. Exercices de style)

Следующие примеры из стихотворного дискурса:

- а) Импрессивная модель, в которой аналитически представлены в зрительно-цветовом ключе впечатления от встречи с ситуацией:

Багровый и белый отброшен и скомкан, / в зеленый бросали горстями дукаты, / а черным ладоням сбежавшихся окон / раздали горящие желтые карты (В. Маяковский).

- б) Модель, в которой впечатление говорящего представлено через подразумеваемое сравнение (развернутая метафора, персонификация):

А на вторые или третьи сутки / в один из этих дней произошло / самоубийство мартовской сосульки, / которая, отчаявшись, упала / с карниза и покончила с собой (Ю. Левитанский).

§ 3. Модели ирреальности

Модель следующего регистра — это **ирреальная модель**, или модель-метаморфоза. Для этой модели являются основным материалом реальная и квазиреальная модели. Она диссимметрична по отношению и к той, и к другой. Ее крайние виды — фантазмагория и абсурд — вырезают внутри среднего случая — **паралогической модели**. Реальность в паралогическом ключе формулируется так, что выглядит одновременно и реальной и нереальной, что вызывает усилия осмысления. Паралогизм может быть порожден стихийно или является остроумным изобретением. Паралогизм — это всегда странное совмещение величин, не имеющих друг к другу прямого отношения с точки зрения логики.

Паралогический прием, как правило, лежит в основе анекдота, шутки:

«Что было раньше, курица или яйцо? — Раньше было все!» (Л. Барский. Это просто смешно).

Разновидностью паралогической модели можно считать загадку. Загадка — характерный пример необычного представления реального, которое требуется привести к привычному, известному: *Белая морковка зимой растет. — Сосулька; Черная корова весь свет поборола; белая встала — весь свет поподнимала. — Ночь и день.*

Иногда загадка имеет форму вопроса: *Где вода столбом стоит? — Колодец* (Славянский фольклор).

Загадки сходны у разных народов, как типологически, так и в плане использования хорошо известного круга реалий (быт, живая природа). Ср. французские загадки:

Dans une chambre quatre dames qui ne peuvent sortir. — La noix.
Qu'est-ce qui chante en descendant et qui pleure en remontant? — Le seau dans le puits.

(*Trésor de la poésie populaire*)

Фантазмагорические модели — это модели, в которых представлена художественная фантазия автора. Поэтому в них допустимо все чудесное, любые творческие изобретения в изображении мира. В фантазмагорическом мире возможные всяческие метаморфозы, превращения. Эти превращения обладают притягательной силой для слушающего. Погружаясь в метаморфический дискурс, человек покидает обычный круг своего существования, определенный регулярным, циклическим порядком вещей, правилами и приметами, логическими аксиомами. Классический пример такого дискурса — миф, в котором господствует «логика чудесного».

Как об этом пишет Я. Э. Голосовкер, «логика чудесного создает положительное понятие абсурда, ибо в логике чудесного, в мире чудесного не существует ... *reductio ad absurdum* (сведения к нелепости)... Абсурдом в мире чудесного была бы вера в недопустимость или в невозможность существования абсурдов» [Голосовкер, 1987, 40]. В нем «все тайное явно, и, наоборот, все явное тайно... В нем все качества и функции абсолютны, все превращается во все, мера не подчиняется норме, малое становится сколь угодно большим и большое сколь угодно малым..., бесконечное включается в конечное... В нем в мгновение ока и воочию осуществляется великий закон метаморфозы, основоположный закон природы, и самый таинственный закон при всей его морфологической наглядности...: любое может быть обращено в любое, ... живое, став мертвым, может вновь стать живым, ... прошлое возвращается грядущему, ... распавшееся вновь воссоединяется в целое. В нем *qui pro quo* не исключение и не есть казус для комизма, ... а выступает как правило, как частный случай метаморфозы» [Голосовкер, 1987, 45].

Я. Э. Голосовкер предлагает различать разнообразные виды чудесного: чудесное возможное и невозможное, представимое и непредставимое, чудесное понимаемое и чудесное мнимое (или якобы мнимое), чудесное как смысл несмыслицы (то есть «несмыслица как смысл»). «Мир мифа — это «страна наизнанку», где телега тащит осла, а не осел телегу, варится уха из непойманной рыбы, шьют одежды из шкур неубитых зверей. Все эти образы мнимы» [Голосовкер, 1987, 64–70].

Фантазмагорическая модель дискурса одна из самых древних в фольклоре и литературе. Ее существенная особенность — конкретность представляемых в ней образов. А. Ф. Лосев писал, что в мифе образность

вещей является совершенно субстанциональной, буквальной. В мифе нет никаких метафор или символов, любая фантастика, чудеса, чудовища, магические операции в нем представлены как существующие в действительности. И мифологический субъект буквально верит во все эти мифологические объекты. Порождение Землей Неба, порождение титанов, циклопов, сторуких — все это так буквально и мыслится существующим, как оно изображено в мифе. Это не метафоры, но это и не аллегории, не олицетворения. Это просто «живые существа» особенного типа, порожденные воображением человека. Аллегорический образ указывает на какую-нибудь абстрактную идею, от которой он не только резко отличается, но не имеет ничего общего, причем этой аллегорический образ может быть заменен каким угодно другим, так как он только иллюстрация какой-нибудь общей и абстрактной идеи. В мифе мы находим субстанциональное (буквальное) тождество образа вещи и самой вещи [Лосев, 1976, 139].

В мифе «все — аксиома и, наоборот, все общепринятые аксиомы могут быть отброшены, — говорит нам Я. Э. Голосовкер. — В нем все иллюзии суть реальность, суть вещество и предметы... В нем все фигуральное и тропическое, то есть любые метафоры и метонимии, любые гиперболы и катахрезы, суть не подобию, а качества и вещи. Они материальны, телесны, а не символы» [Голосовкер, 1987, 40]. «У Гоголя шаровары с Черное море величиной только троп, гипербола. В мифе это были бы, действительно, шаровары величиной с Черное море» [там же, 26].

Такой же ментальной конкретностью обладают фантазмагорические образы волшебных сказок и литературной фантастики (Дж. Свифт, Г. Уэллс, С. Лем). Особенно впечатляюще выглядит сплетение фантазмагорической мистики и фантазии с квазиреальностью. Таковы произведения Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова.

Иллюзорность мировосприятия может иметь не только импрессионную природу, но возникает и за счет проекции на мир квазиреальных и фантазмагорических дискурсивных образов. Мифологические модели мира суть не только «наивные попытки объяснить мир», но и специфические формы рефлексии. На определенном этапе своего развития рефлектирующее сознание перестает довольствоваться только взглядом на мир «изнутри» и выходит за его пределы, дискурсивно порождая мифологию. Мифологическая рефлексия вырабатывает взгляд на человеческий мир сверху, извне, как бы из области трансцендентного. Присущий мифам политеизм дает диалогическое расщепление рефлектирующей инстанции: разные боги оценивают мир по-разному. Переход к монотеизму — это попытка установить, опять-таки из области трансцендентного, единый взгляд на мир, исключающий диалектическую двойственность рефлексии, ее диалогический параметр. Абсолютизация монотеистического мифа как орудия управления поведением обедняет возможности рефлексии, а постулирование антипода богу (дьявола) лишь утверждает единственность

мировоззрения: все, что не соответствует божественным заповедям, «идет от дьявола» и, следовательно, отвергается.

Абсурдные модели представляют собой алогизмы, они строятся вопреки логике реальных отношений. Если паралогизм может иметь вариант логического решения, то алогизм не только не имеет такого решения, но и не требует его.

Абсурдная модель, в отличие от фантазмагии, нацелена не столько на порождение новых реалий, сколько на перевертывание, подмену и разрушение отношений между известными реалиями. Абсурдная модель — это своего рода лингвистический эксперимент по разрушению логических и семантических отношений, что и порождает бессмыслицу, нелепицу, поэтому абсурдные модели и воспринимаются как заведомо ложные.

Такова фольклорная небылица, построенная на перевертывании обычных отношений между предметами реальности. Ее основная характеристика — алогизм и абсурдность содержания, например: *Человек попадает в дупло дерева и, не имея возможности выйти, бежит за топором и вырубает себя* [см. Левина, 1983].

Думается, что создание комического эффекта — не главная функция небылицы. В отличие от анекдота, который «старее», небылица не подвержена старению. Это подтверждается архаичными чертами языка многих небылиц. Фольклорные небылицы являются своего рода матрицами, хранящими в себе особые приемы, позволяющие снимать привычные стереотипные представления о реальности. Сама небылица — это тоже формула, часто организованная рифмой, но формула, преподносящая мир в кривом зеркале диссимметрии:

Стоит град пуст, а во граде куст: в кусте сидит старец да варит изварец; и прибежал к нему косою заяц и просит изварец. И приказал старец безному бежать, а безрукому хватать, а голому в пазуху класть (*А. Н. Афанасьев*. Народные русские сказки).

Приемы небылицы использовались писателями разных времен: от Рабле до Чуковского. В абсурде Даниила Хармса есть тоже нечто от небылицы:

... мимо этого большого
не забора — ах вы дети —
вырастала палеандра
и влетая на вагоны
перемыла не того
кто налива с перепугу
оградил семью волами
вынул деньги из кармана
деньги серые в лице.

(Д. Хармс. Случай на железной дороге)

Здесь мы видим ввод фантастического актанта — «палеандры» (сходной со столь же абстрактной «глокой куздрой»), и, хотя остальные актанты — это по форме обычные реалии, но они идут с предикатами, не образующими нормальной фазовой последовательности (цикла), в итоге получается путаница семантических отношений и разрушенный синтаксис.

Хармс стремится преодолеть языковую игру по правилам — в плане семантики, и в плане грамматики, обратить ее в сплошную импровизацию, но при этом он не избавляется полностью от инерции заданных им величин. Поэтому для произведений Хармса характерен прием гипертрофированного повторения, сжимающего предикатный цикл, сводящего его до пульсирующей точки, что усиливает абсурдность построения, сопровождаемую нелепостями, происходящими от грамматических нарушений, например:

Вот и дом полетел. Вот и собака полетела. Вот и сад полетел. Конь полетел. Баня полетела. Шар полетел.

Вот и камень полететь. Вот и пень полететь. Вот и миг полететь. Вот и круг полететь... (*Д. Хармс*. Звонить — Лететь)

Материал, в реальности упорядоченный, Хармс трансформирует в абсурд. Он как бы производит некий паратрагический синтез предварительно им же разрушенного мира.

Но бывает и так, что абсурдный материал составляет сама нелепая реальность, а поэт дискурсивно осмысливает эти нелепости, применяя особенные, хотя, может быть, и не осознаваемые им самим, приемы. При этом создаются уникальные произведения, которые чаще всего, как идиомы, не переводимы на другой язык, но их афористические строки имеют хождение в народе. Синтетический абсурд Д. Хармса переводим. Трудно переводить таких поэтов, как В. Высоцкого или Ж. Брассенса. Оба они подвергают материал реальности комической метаморфозе, Брассенс в мягких, Высоцкий в резких тонах.

Непонимание того, что художник работает на уровне абсурдного, то смягчая, то заостряя противоречия, то иронически подавая их как некую «норму», часто приводит к ошибочной и прямолинейной интерпретации, в которой утрачивается момент особенности, катализирующей смысл. Примером может послужить одна публикация переводов на русский язык знаменитого Жоржа Брассенса (превращенного составителями в «Брассанса») [Фрейдкин и др., 1996]. Среди этих переводов есть и несомненные удаи. Но некоторые из авторов сборника увидели главный колорит именно в сниженной лексике и постарались использовать все известные им грубые слова русского языка в качестве их эквивалентов, которые, заметим, таковыми не являются. Литературные регистры использования вольной лексики у французов совершенно иные, начиная, наверное, с самого Франсуа Вийона. В поэтическом идиолекте Брассенса содержится все

стилистическое богатство французского разговорного языка, но не сниженные слова придают его песням-стихам художественную силу. Для него они — строительный материал в построении эстетически значимого целого. Мы ограничимся примерами только из одного, достаточно характерного для Brassens произведения:

J'suis l'pornographe,
Du phonographe,
Le polisson
De la chanson.

(J. Brassens. Poèmes et chansons)

Это нехитрый припев к иронической песенке, где превратности судьбы, принуждающей зарабатывать на жизнь сомнительным способом, обыгрываются в каламбурах и парадоксальных оборотах, почти ставших афоризмами. Персонаж Brassens вынужден *parler comme un turlupin* — 'говорить, как злой шутник' и *cracher des gauloiseries, des mots crus, tout à fait incongrus* — 'сыпать вольными шутками, крепкими словечками, совершенно неподходящими' (но ср. в переводе: «смело пускаю в оборот сотни грязных острот»), *afin d'amuser la galerie* — 'чтобы позабавить галерку' (ср. в переводе: «чтоб жеребцов заставить ржать»). Заметно, что перевод значительно изменяет смысл оригинала, причем не в лучшую сторону.

Умение Brassens играть словами, его изобретательность, легкость неожиданных сочетаний слов заметны и в приведенных строчках припева, для француза совершенно безобидных, веселых и самокритичных, так как они подаются в извинительной тональности (автор как бы говорит: «что тут поделаешь... »): 'Я — порнограф при фонографе, вот и пою хулиганские песни'.

Но вот какой «веселый» эквивалент нам предлагают переводчики:

«Я — подзаборник, Циник и ерник. Груб, словно хряк, — Зато остряк!»

Авторы перевода, очевидно, ощутили его несостоятельность, и вместо простого повторения припева дали его еще и в таких версиях:

— «Очень сурова жизнь сквернословия, крайне груба к нему судьба»;

— «Очень я спор на песенки с порно. Спорно лишь, как собрать аншлаги».

Нами выделены здесь только отдельные моменты перевода, блокирующие игровое начало, присущее поэзии Brassens.

Здесь уместно вспомнить рассуждения Д. С. Лихачева [1984, 39] об измененном удвоении мира, которое решается высокой поэзией в возвышенном ключе, а смеховой культурой — в низком ключе, обнаруживаю-

щем глупость, наготу, физиологию жизни, где передразнивание и карикатурность доходит здесь до обнажения неприличной наготы. К таким предельным случаям смеховой культуры относятся и грубые, но не остроумные анекдоты, построенные на унижительном выпячивании нелепостей. Сюда же относится французская «Chanson paillardes».

Поэтический дискурс Ж. Brassens уникален тем, что он решает задачу представления низменной жизни в *высоком* ключе, возвышая человеческое достоинство, что присуще и Ф. Вийону. Смех у него не осуждающий, не злой, а, веселый, возвышающий. Перевод же производит откровенно мрачное впечатление. При внимательном прочтении можно обнаружить причину этого. Персонаж Brassens по натуре вовсе не «злой шутник», он вынужден говорить «как злой шутник», о чем и свидетельствует сравнительный оборот.

Brassens говорит от имени своего персонажа, преподнося нелепую реальность как игру жизненных сил. Однако авторы перевода заняли по отношению к персонажу категорически внешнюю позицию, напоминая позицию общественного обвинителя, который осуждает путем кривляния и передразнивания. В их тексте всякое «я» по существу означает «он». Этот момент и прямо заявляет о себе, вылезая на поверхность во фразе: «очень груба к нему судьба», как будто авторы не удержались и выдали свою морализующую позицию, оказались без маски. Их внешнюю позицию выдает и указывающий на внешний источник оценки сравнительный оператор *словно* (от *слыть*). Сравнение «груб словно хряк» и само по себе превращается в общественное порицание, индуцируя привязку к регулятивным паремиям, в которых используется негативный образ свиньи для характеристики человека. Та же внешняя позиция соглядатая обнаруживает себя и во фразе «спорно лишь как собрать аншлаги».

Попытки подражать оригиналу в игре слов только углубляют общее впечатление от всего перевода, как от плохой пародии, грубо составленного и разваливающегося на глазах коллажа, фальши, преподнесенной читателю вместо изящного оригинала.

У В. Высоцкого известна лишь одна синтетическая абсурдная модель (*Но парус! Порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь!*). Чаше поэт использует как материал абсурд реальности и повергает его в еще больший абсурд; вспомним, к примеру:

Доктор зуб высверлил. Хоть слезу мистер лил, но таможенник вынул из дула, чуть поддев лопатой, мраморную статую — целенькую, только без весла (В. Высоцкий. Таможенный досмотр).

Здесь можно было бы усмотреть разные приемы, в частности, гиперболизм подстать раблезианскому, и иронию относительно привычного символа процветающего в свое время общества (аллюзия на статую «де-

вушка с веслом»). Все эти моменты подтверждают общий принцип творческой рефлексии, создающей из реального материала сингулярную поэтическую модель.

Абсурд у Хармса хаотичен, разрушителен. В результате слова вступают во взаимодействие по принципу паратрактивного синтеза, что порождает диффузное множество случайных синергий, но не дает направленной смысловой индукции.

У Брассенса и Высоцкого необычное и нелепое выхватывается из образов реальности и подвергается не анализу и не прямому синтезу напоподобие коллажа, но созидательному катализу, который влечет за собой гиперполяризацию, изменяющую ориентацию исходного смыслового пространства и заряжающую его элементы неожиданной энергией.

Абсурдные модели способны индуцировать суггестивные смыслы. В этом плане характерен текст заговора; ср. например, заговор от злого духа:

На синем море камень, на том камне дуб, на том дубе тридцать лаптей, на тех лаптях тридцать гнезд, на тех гнездах тридцать сорок, тридцать урок — от женочьего, от девочьего, от хлопечьего, от мужчинского — русый волос, черный волос, рыжий волос, белый волос. Святые святители, идите ко мне на помощь; я с словами, бог с духами; как стала, так перестала (*Славянский фольклор*).

Грамматика заговора не сводится лишь к обилию имен существительных и предлогов по сравнению с глаголами и местоимениями, как об этом пишет, например, И. Ю. Черепанова [1996, 50]. Генератор суггестии здесь — паратрактивная конструкция, осложненная рекурсивными повторами. Суггестивный эффект сотканного ею абсурдного образа усиливается благодаря рекурсивной цепочке с предлогом *на* (на А — В, на В — С, на С — D, и т. д.), осмысление которой дополнительно (сверх осмысления абсурдного момента) загружает оперативную память слушающего. В принципе словесно-предметное наполнение безразлично для суггестивного текста. Он может быть и совершенной тарабарщиной. Главное в нем — каталитический эффект, реализуемый как интенсивное торможение актуального психического состояния реципиента (его актуального «я»), на базе которого внедряется другое состояние, нужное суггестору [см. Бехтерев, 1994, 93].

Это хорошо видно из текстов заговоров, в которых в профаза идет паратрактивно оттормаживание собственного «я» реципиента, а в эпифаза — *привитие* на эту почву его суггестивно созданного антипода, являющегося проекцией собственного «я» суггестора: «Идите ко *мне* на помощь; *я* с словами, бог с духами; (*я*) как стала, так перестала». Суггестор перестраивает таким способом психическое состояние суггестируемого по своему шаблону.

§ 4. Модель-аллегория

Модель следующего регистра — иносказательная, **аллегорическая модель**.

Модель-аллегория — это единственная модель, в которой диктальный план вместе с его непосредственным «означающим», не является выразителем ее подлинного смысла. Аллегория является антиподом как для реальной модели с ее буквальным смыслом, так и для квазиреальной и метаморфической моделей.

В модели-реалии господствует буквальный смысл, жестко привязанный к плану выражения. Квазиреальной модели, наряду с буквальным, присущ и переносный смысл ее форм, использование тропов. Модель-метаморфоза опрокидывает и реальный смысл, и переносный. Реальный смысл она превращает в нелепость, а переносный для нее просто не существует, в ней все — буквально.

Модель-аллегория уходит от буквализма, как от диктального, так и от семантического. Но между метафорой и аллегорией есть значительное сходство, что нередко дает повод к их смешению.

Их различие в том, что аллегория — это «говорение иного», использование выражения с одним смыслом для представления совсем другого, неизвестного смысла, который открывается субъекту, тогда как метафора — это «говорение того же», только другими средствами, использование другого выражения для более экспрессивного представления уже известного объекта речи.

Метафора — это, как правило, создание образа-версии для уже известного прообраза через использование в одном контексте разных форм, обычно с опорой на семантическое уподобление. Метафора — прием, характерный для квазиреальной модели в поэтическом представлении мира. Метафорическое употребление выражения не предполагает расширительного толкования, собственного аллегорическому переосмыслению. При этом метафора не образует особого класса дискурсивных моделей, так как для нее обязательно или прямое указание на тот объект, который подвергается уподоблению или, в более сложных случаях, на объект, с которым сопряжено уподобление:

Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon coeur d'une langueur monotone (*P. Verlaine*) — «Протяжные всхлипы осенних скрипок ранят сердце своим томительным однообразием».

Здесь метафорический смысл сопряжен с образом осеннего ненастья (дожди, порывы ветра и т. п.), действующего на сердце, как протяжное пение скрипок.

Любопытно, что Поль Верлен в одном из своих стихотворений как бы наблюдает рождение аллегории на основе образа старинного храма:

Allégorie

Un très vieux temple antique s'écroulant
 Sur le sommet indécis d'un mont jaune?
 Ainsi qu'un roi déchu pleurant son trône,
 Se mire, pâle, au tain d'un fleuve lent.

Grâce endormie et regard somnolent,
 Une naïade âgée, auprès d'un aulne,
 Avec un brin de saule agace un faune,
 Qui lui sourit bucolique et galant.

Sujet naïf et fade qui m'attristes,
 Dis, quel poète entre tous les artistes,
 Quel ouvrier morose t'opéra,

Tapiserie usée et surannée,
 Banale comme un décor d'opéra,
 Factice, hélas! Comme ma destinée?

Образ разрушающегося храма создается как вполне конкретный, сопровождаемый сравнением с королем, оплакивающим свой трон, а также описанием его окружения — холма, осыпающихся статуй и других деталей. Неожиданно поэт проводит параллель между бренностью и банальностью сооружения и своей собственной судьбой. Вот здесь и находится та точка, в которой конкретный образ либо обращается в метафору, если его подавляет уподобление, либо обращается в аллегорический. Аллегория основана не на уподоблении, а на *расподоблении* созданного образа, который в результате перестает быть самим собой, проецируясь на совсем иную реальность.

Важно обратить внимание на ту легкость, с которой некоторые квази-реальные по происхождению поэтические произведения (или их фрагменты) получают расширительное толкование, преобразуются в аллегорический дискурс. Такова известная «Песнь о буре» А. М. Горького (*Над седой равниной моря ветер тучи собирает...*). Она стала аллегорией приближающейся революции (*Буря, скоро грянет буря! Пусть сильнее грянет буря!*).

Классические представители аллегорической модели — это притчи и басни, принадлежащие параболическому жанру.

Басни очень часто похожи на короткие сказки, в которых действующими лицами выступают люди и животные. Образный компонент может выглядеть и как быль. Басня, в отличие от сказки (и притчи), как правило, содержит морализующий момент, который или выделен в отдельную формулировку (*У сильного всегда бессильный виноват*), или включен в основной текст, в уста персонажа (*Так поди же, попляши!*), и т. д. Объем басни варьирует. Например, известная басня о вороне и лисице у Шарля Перро гораздо короче, чем у Лафонтена:

Le Renard voyant un fromage dans le bec d'un Corbeau, se mit à louer son beau chant. Le Corbeau voulut chanter, et laissa choir son fromage que le Renard mangea.

On peut s'entendre cajoler, mais le peril est de parler (*Ch. Perrault. Contes*).

Формулировка морали здесь — 'Лесть можно слушать, говорить опасно' — отличается от вариантов Лафонтена (Знайте, что любой лстец живет за счет того, кто его слушает) и Крылова (Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да только все не впрок...).

Басня, не содержащая морали, очень близка по своему эффекту притче, так как побуждает к размышлению, к самостоятельному выводу.

Собака пришла ко льву и сказала: «Давай поборемся!» Лев даже внимания на нее не обратил. Тогда собака заявила: «Я сейчас пойду и скажу всем зверям, что лев меня испугался». «Пусть меня осудят за трусость все звери, — проговорил лев. — Это все же будет приятнее презрения львов за то, что я дрался с собакой!» [пример Г. Л. Пермякова, 1970, 167].

В баснях часто используются забавные образы, благодаря чему они становятся самодовлеющими, сюжет затмевает собой аллегоричность. В такой басне разворачивается фрагмент жизненного цикла, который обычно заканчивается неудачей для центрального актанта — главного персонажа, например:

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала (*Л. Толстой*).

В приведенном тексте легко увидеть прогрессивно нарастающую серию мелких катастроф — неудач во взаимодействии дискурсивного актанта со своим объектом, вначале самой мелкой, незначительной, затем более существенной, и, наконец, полного провала. Заметим, что зародыш неудачи локализован в том противоречии, которое заключено первой фразе: обе руки обезьяны заняты ношей. Ясно, что при нарушении равновесной ситуации ими невозможно воспользоваться без потерь. Моделируя действия персонажа, автор суггестивно моделирует и подсознательные психические движения читателя или слушателя. Приведенные примеры показывают, что «мораль» не обязательно требует формулировки и вовсе не должна быть однозначной. Главная задача басни — суггестивное воздействие посредством живого, запоминающегося образа, который, будучи, казалось бы, самодостаточным, не означает сам себя, подвергается расподобляющему действию рефлексии.

Притчи могут быть построены на различном материале: реальном, квазиреальном и мифологическом. Известны библейские притчи и притчи, созданные в художественной литературе. Возможны разовые притчи, при-

думанные на случай. Притча не содержит морали, обладая сильным суггестивным действием за счет своего не забавного, как в басне, но достаточно яркого образа. Известна, например, притча о храме, в которой прохожий задает работающим строителям один и тот же вопрос: «Что ты делаешь, добрый человек?». Один отвечает: «Не видишь, что ли, кирпичи таскаю». Другой говорит: «Деньги зарабатываю». Третий же выпрямился и гордо сказал: «Я строю храм».

Библейские притчи существуют как в полной, так и в свернутой форме — в паремических выражениях: *Возвращение блудного сына*; *Принять Соломоново решение*, и т. д. Такого рода выражения тоже являются аллегорическими.

В паремиологическом корпусе языка к аллегорическим моделям относятся также иносказательные пословицы: *Куй железо, пока горячо*; *Как посеешь, так и пожнешь*; *Любишь кататься, люби и саночки возить*, и т. д.; более подробно мы их рассмотрим далее.

Образность иносказательных паремий не является метафорической. Это образность аллегории. Метафора дает поэтическую версию объекта, она построена на смысловом уподоблении и описательно-эвокативна. Аллегория основана на смысловом расподоблении и не эвокативна, а суггестивна, воздействует на сознание в регулятивном ключе. Это вторичное использование образа для оптимизации деятельности сознания. Аллегорические образы — это такие же «мускулы» (операторы) языкового сознания, как и кинемы, только действуют они не прямым путем, как команды в той или иной ситуации, не «гестивно», (лат. *gestio* — управляю), а суггестивно. Аллегория как генератор суггестивного смысла создает через иносказательный образ соответствующую ему настройку сознания, готовность субъекта определенным образом воспринимать мир и действовать в нем.

§ 5. Категориальные модели

Категориальная модель, как носитель генерализованного смысла, является метасимметричной по отношению к реальной. Категориальная модель обычно представляет собой рассуждение, ставящее своей задачей выявить абстрактные системные свойства, ценностные характеристики, присущие тому или иному объекту. В ее основании лежат полярные операции, тождества и оппозиции, среди которых важное место занимают антиномии. Наиболее строгая из этого рода моделей **логическая модель**, представляющая собой последовательное рассуждение, строящееся на некоторых установленных предварительно посылах, принимаемых как аксиомы. Категориальная модель может быть индуктивной, если идет от сопоставления сущностей к содержательным обобщениям, или дедуктивной, если экстраполирует общие положения на конкретные явления.

Естественный язык, взятый в целом, является комплексным оператором категоризации мира, в том числе и его ценностного разбиения.

Следующий пример иллюстрирует характерную для данной модели генерализованность и оперирование величинами категориального уровня:

...Энергия — третья сторона материи. Под этим названием, психологически означающим усилие, физика ввела точное выражение способности к действию, или, вернее, к взаимодействию. Энергия — это мера того, что переходит от одного атома к другому в ходе их преобразований. То есть это способность к связям, но вместе с тем, поскольку атом, по-видимому, обогащается или истощается в ходе обмена, выражение состава.

С энергетической точки зрения, обновленной явлениями радиоактивности, материальные частицы могут теперь рассматриваться как временные резервуары сконцентрированной мощи. В самом деле, обнаруживаемая всегда не в чистом состоянии, а в более или менее гранулированном виде (вплоть до света!), энергия представляет собой в настоящее время для науки наиболее примитивную форму ткани универсума. Отсюда инстинктивное стремление нашего воображения рассматривать ее как некий однородный первоначальный поток, а все, что в мире имеет форму, — лишь как его мимолетные «вихри» (П. Тейяр де Шарден).

Автор, представляя категориальные величины (*энергия, материя, действие и взаимодействие, мера, связи, форма, универсум* и т. д.), определяет и объясняет одну величину через другие, представляющие собой столь же широкие понятия.

В следующем абстрактном рассуждении категориальные величины (*идея, истина, человек, высший разум, мысль* и др.), представлены не в определениях, а во взаимодействии, в которое они вступают в ментальном пространстве:

Все сделала идея истины... Это чудесное уравнение умов, совершенное тем, благодаря кому человек стал во всяком положении жаждать истины и быть способным к ее познанию, — вот что налагает на этот исторический момент поразительную печать промысла и высшего разума.

И вот взгляните: как часто человеческая мысль ни возвращалась с тех пор к вещам, которые более не существуют, не могут и не должны существовать, — в основе она всегда крепко держалась за этот момент (П. Чаадаев).

Среди категориальных построений видное место занимают парадоксы, содержащие внутри себя некоторое достаточно абстрактное противоречие. **Парадоксальную** модель можно считать разновидностью категориальной. Она имеет сходные черты с паралогической моделью ирреальности, хотя, в отличие от нее, вовсе не стремится к нарушению логического построения. Наличие парадоксов — это не только результат логического тупика в рассуждении, но и свидетельство деятельности рефлексии, направленной на выявление противоречий в универсуме человеческого сознания. Таковы коаны дзэн-буддизма, например:

Тун-шань сказал: «Я проповедую то, что не могу медитировать и медитирую то, что не могу проповедовать» (С. Кацуки. Железная флейта).

Как правило, при кажущейся внешней простоте, парадоксальный дискурс требует значительного мысленного сосредоточения:

Речь — клевета. Молчание — ложь. За пределами речи и молчания есть выход (Афоризмы старого Китая).

Приведем ряд примеров из собрания парадоксов Б. Ганеева:

Зенон: Летящая стрела стоит неподвижно.

Эвбулид из Милета: Критянин сказал: «Все критяне — лжецы»; То, что ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рога — значит, ты имеешь рога.

Дж. Свифт: В мире нет ничего более постоянного, чем непостоянство.

Монтень: Ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность.

Б. Шоу: Золотое правило заключается в том, чтобы не иметь золотых правил.

(Б. Ганеев. Парадокс)

Общее для парадоксов такого рода — их явно паратрагический характер, сопряженность в одном высказывании противоречащих величин.

Категориальные модели могут быть сформулированы не только в стиле научного изложения или абстрактного философского рассуждения. Интересные сопоставления в этом плане были проведены Г. В. Степановым; из подобранных им примеров мы позволим себе привести здесь два: из научного рассуждения и из поэзии:

«Человек при всех его благородных и высоких качествах..., при его богopodobном разуме... в своей телесной оболочке несет неизгладимую печать своего низкого происхождения» (Ч. Дарвин).

«Я телом в прахе истлеваю. Умом громов повелеваю. Я царь — я раб, я червь — я бог» (Г. Державин).

Как отмечает Г. В. Степанов [1988, 131], смысловой инвариант этих текстов «метафорически можно сопоставить с праформой в сравнительно-историческом языкознании или с информацией в шенноновской интерпретации». Действительно, оба дискурса построены на одной и той же матрице полярного типа, характерной для категориальной модели.

Категориальная модель может иметь в качестве материала любую другую модель, группируя этот материал по сопоставительному принципу. При этом в фокусе дискурсивной рефлексии может оказаться любой объект, принадлежащий сознанию.

Если объектом рассмотрения является сам язык, то модель становится метаязыковой. Первичная метаязыковая модель, как правило, индуктивна: на основе сопоставительного описания языковых фактов делаются категориальные обобщения. Затем установленные категории экстраполи-

руются на другой материал, что дает уже дедуктивное описание. Чистая дедукция, совершенно строгое следование системе исходных посылок приводит, в пределе, к «невидению» языковых явлений, не укладывающихся в «прокрустово ложе» заданной аксиоматики. Отсюда ограниченность последовательно дедуктивной модели. Она «видит только то, что знает». Таково описание французского языка датским лингвистом Кнудом Тогеби, результаты которого не внесли ничего нового в уже существующие знания о данном языке. Продуктивной может оказаться дедуктивная модель, автор которой усмотрел в некоторой иной научной области аналогию с языковыми явлениями. Исследования на стыке наук, как правило, дают интересные результаты. Однако дедукция не должна подавлять индуктивного компонента и сводиться только к экстраполяции.

В качестве еще одного примера, подходящего для категориальной модели, приведем еще одну, на этот раз «философскую», версию текста с сюжетом «В автобусе» из книги Р. Кено:

Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus S, y peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane, affligée du long cou de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans entéléchie véritable se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récrimatoire contre l'irréalité néoberkeleyenne d'un mécanisme corporel inallourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus.

La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite, mais anagogique, du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménale de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de pardessus, situé sociologiquement trop bas (R. Queneau. Exercices de style).

Данный текст иллюстрирует, то, как путем игровой имитации можно преобразовать правдоподобный рассказ о происшествии в наукообразное рассуждение. Во-первых, здесь налицо генерализация, обобщенное представление единичного случая; во-вторых, автор усиливает впечатление наукообразия обилием философских и специальных терминов: *spiritualité phénoménologique, essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes, philosophe, inexistentialité futile et utilitaire, conscience profane, ignorance, entéléchie, impératif catégorique, irréalité néoberkeleyenne, conscience, attitude morale, inconscient, spatialité, éléments premiers, recherche philosophique, rencontre anagogique*, и т. д.

Все это делает текст достаточно ироничным и забавным, но вполне отвечает характеру категориальной модели, ср. хотя бы следующий фрагмент: *sa réplique ..., laquelle lui conseille nouménale de transposer ... le concept*

de bouton de pardessus, situé sociologiquement trop bas — 'реплика, которая дает ему ноуменологический совет совершить транспозицию концепта пуговицы на плаще, которая — социологически — помещена слишком низко'.

§ 6. Разновидности диктальной модели

Антиподом категориальной модели как носителя наиболее генерализованных, метасимметричных смыслов является модель, заключающая в себе наиболее уплотненные смыслы, то есть чисто **диктальная** модель, в которой смысл изометричен форме, составляет с ней нераздельное единство.

У Р. Кено мы находим диктальные версии уже знакомой ситуации-прототипа «В автобусе»:

Версия, состоящая преимущественно из тонально-экспрессивных восклицаний:

Psst! heu! ah! oh! hum! ah! ouf! eh! tiens! oh! peuh! pouah! ouïe! hou! aïe!...
pfuitt! Tiens! eh! peuh! oh! heu! bon! (R. Queneau. Exercices de style).

Текст состоит сплошь из междометий, среди которых выпадает из общего диктального ряда междометие *tiens!*, производное от полнозначного глагола *tenir* и опущенное на уровень диктальной модели. Регулятивное по форме, оно имеет ту же тонально-экспрессивную функцию, представляя собой междометное клише с вырожденным смыслом.

Версия-ономатопея (здесь мы несколько сокращаем комментарии автора, заключив их в скобки):

Pla pla pla (plate-forme) / teuff teuff teuff (autobus) / ding din don, ding din don (midi) / proût, proût (un ridicule type) / phui (son couvre-chef) / virevolte, virvolte (se tourna vers son voisin) / rreuh, rreuh (colère) / hm hm (il dit) // Toc, vroutt (il se jette sur une place) / boum (s'y assoit) //

Ding din don, ding din don (un peu plus tard) / proût, proût (il est en compagnie d'un autre type) / brr, brr, brr (il faisait froid) // Et toc (R. Queneau. Exercices de style).

Этот текст примечателен в том плане, что автор приводит среди слов-фраз не только изображения собственно шумов, но и своего рода «цитирование» чужой речи: *rreuh, rreuh, hm hm*. Кроме того компоненты *vroutt* и *brr; brr*, передающие движения, очень напоминают по своей форме фонокинемы, совпадая с фоносинтагмой, выражающей вибрирующее действие типа анастрофы.

Модели в этих двух примерах построены посредством простейшего синтеза — путем соположения диктальных выражений. Это соположение индуцирует, однако, в итоге некое представление о ситуации, о последовательности внешних событий, протекающих в том же порядке, что и их междометный «комментарий».

Среди моделей диктального уровня можно обнаружить и особенные построения, не имеющие системных аналогов. Это чисто игровые синтетические модели, не привязанные ни к какой ситуации общения. Такие диктальные конструкторы мы находим в поэзии футуристов.

У А. Крученых:

Дыр бул шил /убешур /скуп / вы со бу / р л эз.

(Поэзия футуризма)

У Велимира Хлебникова:

Гагага гэгэгэ! / Гракахата гороро / Лили эги, ляп, ляп, бэмь. / Лилиби-биби нираро / Синоано циириц. / Хию хмапа, хир зэнь ченч / Жури кика син сонэга. / Хяхотири эсс эсс. / Юнчи, энчи, ук! / Юнчи, энчи, пипока. / Клям! Клям! Эпс! ... (В. Хлебников. Замбези).

У французского поэта-авангардиста Анри Мишо, где, в отличие от футуристов, используются грамматические формы (как и у Л. В. Щербы в «глокой куздре»); правда им употреблено единственное непридуманное имя существительное *terre*:

Il l'emparouille et il l'endosque contre terre;
Il le rage et le roupète jusqu'à son drôle;
Il le pratèle et le libuque et lui barouffle les ouillas...

(Henri Michaux)

Аналогичный пример диктальной модели можно найти среди французских детских считалок:

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram.

(Trésor de la poésie populaire)

В отличие от других моделей диктального регистра, подобные модели-конструкторы замирают в рамках произведенного дискурса и не становятся строительным материалом для моделей других порядков.

Проведенное выше описание дискурсивных моделей как разных ступеней смыслопорождающего действия дискурсивной рефлексии показывает, что наиболее общие закономерности их организации в целом выполняются независимо от регистра и объема модели. Материал для модели высшего порядка предоставляет низшая по отношению к ней модель. В результате сквозь модель каждого порядка как бы проглядывает та модель, которая была использована в построении в качестве материала.

В каждом регистре действует собственный принцип построения модели, который, однако, не отменяет универсального принципа — игрового начала в деятельности языкового сознания.

Игровое начало в той или иной степени проявляется в модели каждого регистра. Исключение составляет только модель реальности, ориентированная на создание сообщения, отвечающего своему прототипу, существующему в действительности. Это преимущественно «деловая» модель. Но и в модели реальности тоже возможны различного рода игровые эффекты, в частности, связанные с построением иллюзорных и нарочито комических образов. Даже наиболее «серьезная» категориальная модель не свободна от игровых моментов. Категориальная модель часто иносказательна в представлении своих величин и, несмотря на ее крайне рациональный вид, в ней спонтанно рождаются парадоксы, т. е. самые настоящие иррациональные, игровые моменты.

В моделях других регистров фундаментальное игровое начало становится определяющим фактором построения. Аллегорическая модель играет конкретными образами, вовлекая материал фантазмагии и другие ирреальные моменты, включая паралогию. Ирреальная модель — это самое широкое поле применения игры-импровизации. На ступени квазиреальной модели игра-импровизация принимает вид игры по правилам реальности или же создает метафорические образы.

§ 7. Паремические микродискурсы как языковые матрицы

Языковое сознание хранит в долговременной памяти не только отдельные слова и словосочетания, имеющие устойчивые формы и значения. В результате регулярного употребления некоторые высказывания и дискурсы, заведомо превышающие по объему отдельное высказывание, тоже оказываются фиксированными в памяти. Отсюда и возможность их последующего воспроизведения в речи. С укрупнением единиц возрастает вариативность в их лексическом наполнении. Поэтому на уровне дискурсивных сегментов, превышающих по количеству высказываний объем оперативной памяти, часто сохраняется лишь матричный компонент единицы, включающий ее структурную схему и характерные для данной модели параметры представления смысла, и ее воспроизведение становится уже не копией оригинала, а версией, в которую говорящий может привнести свои собственные лексические и композиционные моменты. Дискурсивные образования разной степени сложности и принадлежащие к моделям различных уровней могут не только поставлять материал для других дискурсов, но и становиться образцами для новых построений.

Сказанное относится прежде всего к единицам паремииологического корпуса языка [Пермяков, 1970; 1988], среди которых крупноформатные едини-

цы, такие как мифы, легенды и волшебные сказки имеют гораздо большие колебания в вариациях, чем, к примеру, притчи и басни; сравнительно небольшой вариативностью отличаются короткие, размером со «сверхфразовое единство» анекдоты и небылицы; что же касается загадок, афоризмов, пословиц и поговорок, то они, как правило, воспроизводятся полностью, в неизменной форме. Близки к паремиям и фразеологизмы, занимая, как писал в этой связи Г. Л. Пермяков [1970, 50], «промежуточное место между словами, с одной стороны, и пословицами и поговорками — с другой».

В паремическом корпусе языка можно наблюдать самые различные типы единиц, служащие образцами для создания дискурсивных моделей. Для ирреальных моделей-метаморфоз — это сказки и мифы. Для абсурдных моделей — нелепицы, для паралогизмов — загадки.

Краткие по объему пословичные изречения служат выразителями разнообразных ситуаций. Конкретность, разработанность их лексического наполнения по сравнению с более абстрактными матричными типами (структура слова, предложения) создает иллюзию того, что сама паремия и есть модель. Но пословица — это своего рода матрица-аксиома, хранящаяся в языковом сознании. Об этом свидетельствует применимость одной и той же паремии к различным конкретным ситуациям, для которых она выступает в качестве константы. Это отличает паремию от обычных высказываний, не обобщающих, а изображающих реальную ситуацию, которые сами являются моделями, производимыми в ходе общения на базе лексик и структурных типов. Пословица не производится, а воспроизводится применительно «к случаю», как обобщающая константа, типизирующая свой оригинал — «случай», приводящая его к самой себе. Многие из пословиц иносказательны. От них следует отличать паремические единицы (поговорки и фразеологизмы), представляющие собой образное сравнение, например: *Вертеться как белка в колесе*.

Оказывается, что корпус пословиц и поговорок содержит образцы практически всех дискурсивных моделей, принадлежащих к разным регистрам.

Среди паремий, дающих (не в переносном смысле), модели реальности можно указать:

- актуальные паремии, действительные здесь и сейчас: *За показ денег не берут; Долг платежом красен; Дело мастера боится; День на день не приходится; Легко на помине; Бить баклуши; Аппетит приходит во время еды; Глаза на мокром месте;*
- эвкативные: *Сколько лет, сколько зим; Много воды утекло;*
- паремии виртуальной реальности — это прежде всего приметы: *Ласточки низко летают — к дождю; Апрель с водою — май с травой;*
- оптативные паремии; их особенно много среди пословиц, которые в большинстве своем вообще тяготеют к регулятивности, назидатель-

ности; будучи короткими изречениями, они всегда как бы резюмируют или рекомендуют, или же прямо предписывают или запрещают; мы здесь приведем «реальные», необразные паремии с прямыми смыслами: *Лучше меньше да лучше; Лучше поздно, чем никогда; На бога надейся, а сам не плошай; Насильно мил не будешь; Не выпускай случая из рук; Нет худа без добра; От добра добра не ищут; Готовь сани летом; Кто ищет — найдет; Как аукнется, так и откликнется; Что упало, то пропало; Делу время, потехе час.*

Паремии квазиреального регистра часто содержат прямые или скрытые сравнения:

- импрессивные паремии (прямые сравнения): *Белый как полотно; Худой как щепка; Упасть как снег на голову; Вино лилось рекой; Как аршин проглотил; Как ветром сдуло;*
- экспрессивные паремии тоже построены на образах, но, в отличие от импрессивных, говорят не о впечатлении от объекта, а выражают реакцию, состояние субъекта в его взаимодействии с объектом: *Быть не ко двору; Биться как рыба об лед; Вертеться как белка в колесе; Вешать нос; Видеть в розовом (черном) свете; Держать ухо остро; Рвать и метать; Расшибаться в лепешку;*
- экспериментальные паремии содержат указание на опыт, который можно не проверять, считать аксиомой: *Дважды два — четыре; Когда собака лает — она не кусает; Семь раз отмерь — один отрежь;* это может быть и указание на ошибку, известную из опыта: *Ставить на одну доску; Ставить с ног на голову.*

В категориальных паремиях категоризация реализуется как различного рода обобщения, сопоставления двух сущностей или их отождествление: *Все течет, все меняется; Где много слов, там мало дел; Ничто не ново под луной; Сколько голов — столько умов; Время — деньги; Конец — делу венец.*

Среди них выделяются метаязыковые паремии: *Слово — серебро, молчание — золото; Слово не воробей, вылетит — не поймает; Язык мой — враг мой.*

Аллегорические паремии — это многие пословицы и поговорки, а также афоризмы. В смысловом отношении корпус иносказательных паремий в значительной мере пересекается с единицами остальных регистров. И надо сказать, что подобрать для них буквальные, не иносказательные примеры подчас бывает затруднительно. Поэтому для иносказательных паремий нам придется поступить рекурсивно: дать примеры, параллельные с буквальными примерами общего списка:

- актуальные паремии, действительные здесь и сейчас: *Ищи ветра в поле; Заморить червячка; Закинуть удочку; Играть первую скрипку;*

- эвокативные, вызывающие исторические или вымышленные образы: *Быть в положении Буриданова осла; Тяжела ты, шапка Мономаха; Сизифов труд; Танталовы муки; Перейти Рубикон; Филькина грамота;*
 - оптативные паремии: *Лучше синица в руке, чем журавль в небе; Что посеешь, то и пожнешь; На безрыбье и рак — рыба; Куй железо, пока горячо; Как волка ни корми, он все в лес смотрит; Язык до Киева доведет; Овчинка выделки не стоит; Любишь кататься, люби и саночки возить;*
 - экспериментальные паремии содержат указание на удачный или неудачный результат: *Вот где собака зарыта; И волки сыты, и овцы целы; Открыть Америку; Изобрести велосипед; Стрелять из пушек по воробьям; Купить kota в мешке; Остаться у разбитого корыта; С паршивой овцы хоть шерсти клок; Искать иголку в стоге сена; Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко;*
 - импрессивные паремии представляют впечатления от прообраза: *В тихом омуте черти водятся; Дать дуба; Еще и конь не валялся; Ни зги не видно; Волк в овечьей шкуре;*
 - экспрессивные образно выражают некоторое состояние субъекта: *Быть не в своей тарелке; Держать камень за пазухой; Быть между молотом и наковальней; Взять быка за рога; Висеть на волоске; Витать в облаках; Выбить из седла; Выйти сухим из воды; Вылететь в трубу; Достать из-под земли; Поджечь хвост; Сесть на мель; Чужими руками жар загребать;*
 - категориальные паремии выражают обобщенные соотношения между величинами: *Нет дыма без огня; Где тонко, там и рвется; Рыбак рыбака видит издалека; Лес рубят — щепки летят;*
 - метаязыковые паремии: *За что купил, за то и продаю; Собака лает, а караван идет; Сказка про белого бычка; Метать бисер перед свиньями.*
- Аллегорические паремии ирреального регистра:
- ирреальные, образное содержание которых нереализуемо: *Когда рак свиснет; Дать голову на отсечение; Положить зубы на полку; Показывать, где раки зимуют; Хватать звезды с неба; Делать из мухи слона;*
 - фантазмагорические: *По щучьему велению; Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету; При царе Горохе;*
 - паралогизмы: *Кто в лес, кто по дрова; Сидеть между двух стульев; Переливать из пустого в порожнее; Ломиться в открытую дверь;*
 - абсурдные (с точки зрения результата): *Толочь воду в ступе; Носить воду решетом; Рубить сук, на котором сидишь; Гнаться за двумя зайцами; Ставить телегу впереди коня.*

Матрицы, лежащие в основе пословиц и поговорок неравнозначны в плане генерализованности. В них можно выделить несколько рангов обобщения.

Всеобщий ранг, где смысл экстраполируется на любые аналогичные случаи: *Где слово, там и дело; Как аукнется, так и откликнется; Нет дыма без огня*. В этих случаях мы можем всем пословицам предпослать оператор «Всегда» и общая структура матрицы получит вид: Всегда с А сопряжено В.

Частный ранг: *Кто ищет, тот найдет; Куй железо, пока горячо; Любишь кататься, люби и саночки возить*. Здесь вступают в силу оговорки, ограничительные условия: не будешь искать — не найдешь; не всегда следует ковать или возить, а только при таком-то условии. *Язык до Киева доведет* — имеется в виду не то что язык всегда доведет, а то, что надо уметь пользоваться языком. Таким образом, для частного ранга это будет матрица: А действительно при условии В.

Единичный ранг: *Овчинка выделки не стоит; На безрыбье и рак рыба; Яблоко от яблони недалеко падает*. При кажущейся всеобщности смысла последняя пословица не претендует на всеобщность, ее смысл: «именно в данном случае яблоко упало недалеко от яблони, т. е. каков отец, таков и сын». Это и говорится, как правило, в порядке осуждения, а не в порядке обобщения: плохое одно, плохое и другое, породившее первое.

Для этого ранга оказывается типичной оценка [ср.: Гак, 1995, 25]. Поэтому здесь можно дать следующее матричное представление: А оценивается относительно В. *Не видно ни зги*: в другом случае было видно; *Стрелять из пушек по воробьям* — усилие оценивается относительно цели. Но ср.: *Волк в овечьей шкуре*; здесь оценка по контрасту: и переодевание не поможет скрыть истинную сущность. Эта характеристика имеет обобщенный вариант в поговорке *Внешность обманчива*.

Большинство экспрессивных моделей единичны по смыслу: *Быть не в своей тарелке; Держать камень за пазухой; Быть между молотом и наковальней; Вешать нос; Взять быка за рога; Висеть на волоске; Витать в облаках; Выйти сухим из воды; Вылететь в трубу; Поджечь хвост; Сесть на мель*. Общий смысл у них — оценка субъектом той ситуации, в которую он попал.

Действие паремических матриц проявляется в организации литературного дискурса, что достаточно убедительно показано в работе С. А. Мегентесова [2001]. В различных литературных жанрах автор выделяет, с одной стороны, паремии универсального характера, которые могут выступать в качестве стержневого начала как малых сюжетных форм типа притчи или басни, так и крупных форм типа драмы или романа (*Что посеешь, то пожнешь; С волками жить — по волчьей выть; Не в свои сани не садись*). С другой стороны, есть паремии, характерные именно для малых форм: *На ловца и зверь бе-*

жит; Как аукнется, так и откликнется; Язык мой — враг мой; Не рой другому яму; Волк в овечьей шкуре. Некоторые из паремий регулярно выступают как сопроводители главной паремии дискурса или появляются в его завершающей фазе, например: *Как веревочка не вейся, а конец все равно будет; Все хорошо, что хорошо кончается; Оказаться у разбитого корыта* и т. п.

Если в басне паремия лежит на поверхности, то в фольклорной сказке она, как правило, упрятана в ее матричную аксиоматическую основу: «Сказка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок». Для восточных сказок с нравоучительным смыслом характерны, в частности, следующие глубинные паремии: *На всякого мудреца довольно простоты; Позаришься на чужое — потеряешь и свое; От добра добра не ищут; Что посеешь, то пожнешь; Как аукнется — так и откликнется; Хорошо смеется тот, кто смеется последним; Не рой другому яму; Терпение и труд все перетрут; Долг платежом красен; Не было бы счастья, да несчастье помогло, и др.*

В сказках о похождениях популярных народных персонажей, ловких пройдох и искателей приключений (Иванушка-дурачок или солдат в русских сказках, Тиль Уленшпигель в германском фольклоре и др.) паремийные архетипы иные, например: *Где нельзя взять силой, надо действовать умом; но также Ловить рыбу в мутной воде; Выйти сухим из воды; Чужими руками жар загребать; Делать ячницу, не разбивая яиц*.

Подобные паремии ведут далее к авантюрному роману (*Волков бояться — в лес не ходить; Пир во время чумы*), роману странствований и испытаний. В последнем типе романа главная установка — показать негибкость героя, его верность при любых обстоятельствах, высокую нравственность. Здесь доминируют паремии такие, как: *Друг познается в беде; Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть; Не все то золото, что блестит* и т. п. В романе воспитания, напротив, герой изменяется под влиянием обстоятельств, может претерпеть моральную деградацию: *С волками жить — по волчьей выть; В чужой монастырь со своим уставом не ходят; Нужда всему научит; Не в свои сани не садись*. В других случаях герой нравственно совершенствуется: *Не вкусив горького, не узнаешь и сладкого; Не было бы счастья, да несчастье помогло; На чужом несчастье своего счастья не построишь*.

У представителей романтизма определенно прослеживается негативная реакция на рационализм их предшественников, на житейскую мудрость: *От добра добра не ищут; Руби дерево по себе; Один в поле не воин; Стену лбом не прошибешь; По одежке протягивай ножки*, и т. д. Романтический пафос заключается в воспевании риска, бунтарства, борьбы с более сильным, часто безнадежной: *Лучше умереть стоя, чем жить на коленях; Риск — благородное дело; Кто ищет, тот найдет; И один в поле воин*.

Иногда базовая паремия находит свое прямое выражение в заголовке произведения: *Собака на сене* (Лопе де Вега); *Много шума из ничего*

(Шекспир); *На всякого мудреца довольно простоты* (А. Н. Островский); *Коготок увяз — всей птичке пропасть* (подзаголовок пьесы «Власть тьмы») Л. Н. Толстого).

Конечно, паремии могут вообще не присутствовать в сознании автора при написании произведения; однако, как отмечает С. А. Мегентесов [2001, 75] «подобно подводным течениям или искривлениям пространства, они незримо направляют поток мысли в сторону выработанных веками социально-психологически релевантных смысловых сгущений. Свобода автора заключается не в том, чтобы обойти паремически фиксированные смыслы, но в том, чтобы модифицировать их, дать им новую интерпретацию, наконец, преодолеть или опровергнуть их, но в любом случае их фоновое присутствие неизбежно, как неизбежна и опора на бесчисленные ассоциации, связывающие творимый дискурс с другими дискурсами, другими произведениями, в том или ином отношении сопрягающимися с ним».

Подчеркнем то, что паремия не только подразумевается как некая заранее данная обобщающая формула, под которую можно подвести смысл литературного дискурса. Не следует упускать из виду и то, что паремия рождается в дискурсе и впоследствии может стать смысловой основой других произведений. Дискурс порождает новые паремии, которыми становятся однократные высказывания, получающие расширительное толкование и регулярное употребление.

Любой прием, однажды возникший в дискурсе как особенное, сингулярное явление, распространяясь, становится регулярным и превращается в языковом сознании в типовую операцию. Если модель, созданная в дискурсивном процессе как инновация, получает регулярное использование, то она превращается в типовую форму языка, или **языковую стемму**, которая содержится в языковом сознании в единственном экземпляре. Таким образом, дискурсивной модели, ставшей регулярной, в языковой системе соответствует сингулярная стемма. Языковые стеммы — это не только паремические выражения, но и другие дискурсы, кристаллизованные в языковом сознании. Теоретически все дискурсы-стеммы, которыми владеет языковое сознание, могут быть перечислены, как и слова.

Выводы по главе VI:

1. Среди единиц диктального плана можно выделить единицы тональные, иконические и кинемные — фонокинемы, наиболее сильные диктальные операторы, артикулирующие звук сообразно образу взаимодействия субъекта и объекта. Фонокинемы оказываются базовым материалом для построения дискурсивных моделей. Принцип построения дискурсивных моделей един на всех уровнях.

2. Для получения модели необходимо две исходных величины: некоторый исходный материал (в том числе копия ранее созданной модели), и оперативная константа, воздействующая на материал. Копия — вырожденный случай модели, образ, полностью определяемый прототипом.
3. В зависимости от характера симметрии, соотносящей планы выражения и содержания, установлены основные регистры дискурсивных моделей: диктальная, реальная, квазиреальная, ирреальная, аллгори-ческая, и категориальная модели.
4. Наряду с синтетическим и аналитическим способами моделирования смысла существует и каталитический способ. Осуществляя катализ, автор вводит в уже сформированное семантическое пространство особенный оператор — катализатор, создающий некоторую деформацию базового смысла.
5. Пословичные паремии служат матрицами, реализующими почти все регистры дискурсивных моделей. В пословицах выделяемы три ранга обобщения: универсальный (генерализация связи между сущностями), частный (ограничительный) и единичный (оценочный).
6. Паремии участвуют в построении литературного дискурса как в эксплицитном виде, так и в качестве глубинных матриц, определяющих построение целого произведения. Дискурс порождает новые паремии, которыми становятся однократные высказывания, получающие расширительное толкование и регулярное употребление. Особенное становится регулярным и, закрепляясь в языковом сознании, превращается в типовую форму. Дискурсивной модели, получившей регулярное использование, в языке соответствует сингулярная стемма.

ГЛАВА VII

Синергетика языка и дискурса

§ 1. Язык как фазовое пространство

Динамическая система традиционно определяется как система с множеством степеней свободы, т. е. она способна принимать разнообразные состояния, обычно поддающиеся математическому исчислению. Каждое из состояний системы есть фаза (шаг, этап) процесса ее изменений, являющаяся элементом ее фазовой траектории.

Синхронные срезы языка как динамической системы образуют его фазовые состояния в разные моменты развития, а диахрония — его фазовую траекторию. Языковая система неоднородна, в ней сосуществуют многие подсистемы с различными фазовыми характеристиками. Эти подсистемы настолько могут отличаться друг от друга и по структуре и по относительной скорости изменений, что все усилия по соблюдению единого принципа описания не приводят к желаемому результату.

Дискурс — это тоже элемент фазовой траектории языка, ее фазовый росток, который может, однажды появившись, навсегда исчезнуть, не оставив никакого видимого следа в системе, хотя отдельные фрагменты дискурсивного процесса фиксируются в сознании, обогащая собой систему.

Динамическое представление дискурса как процесса построения последовательности высказываний гораздо более очевидно, чем динамическое представление языка. В дискурсе каждая синтагма становится фазой в составе более крупной синтагмы. В итоге такой телескопической вложенности одних синтагм в другие фазовая траектория дискурса образует самоподобную, или фрактальную, структуру [см. Шредер, 2001].

Язык, по сравнению с эфемерным дискурсом, обладает несравненно более высокой устойчивостью. Если в дискурсе как в процессе мы достаточно определенно различаем фазы его построения, то какова фазовая характеристика языка? Не сводится ли она лишь к наличию фиксированных синтагматических фигур — копий сегментов фазовой траектории дискурса, которые, вероятно, будут обладать столь же характерной иерархией — телескопической вложенностью друг в друга.

В научной терминологии с понятием фазы связывается не только отрезок процесса, но и состояние субстанции, испытывающей изменения (фазовое состояние). Так, вещество под действием различных сил может

переходить из аморфной фазы в структурированную, из твердой, в жидкую, газообразную и обратно. По сути фазовый переход связан главным образом с изменением формы организации вещества.

Язык — это сложная динамическая система особого рода, которая, конечно, отличается от физических фазовых пространств. Вместе с тем, есть возможность провести здесь определенные аналогии. По существу традиции к языковым единицам применяются характеристики, присущие физическим объектам, когда, например, мы рассуждаем об устойчивых и застывших сочетаниях слов, о стереотипах («стереотип» буквально означает «затвердевший отпечаток»), о фразеологических сращениях, о стирании и слиянии языковых форм, и т. п. В языке есть компонент, обладающий текучестью. Это звуковая материя, подверженная тональным (частотным) и амплитудным модуляциям. В языке есть и дискретные формы, структурированные с разной степенью четкости. Понятно, что фазовые состояния, присущие компонентам языковой системы, мы можем уславливать, выделяя соответствующие образования в речи.

В какой же мере языковая система действительно обладает свойствами, характерными для фазовых состояний физических систем?

Среди языковых выражений мы наблюдаем несколько типов образований, которые напоминают фазовые состояния динамических систем физической природы. При этом они неоднородны по степени своей устойчивости.

1. Реоморфные (текущие) образования. Звуко-тональный компонент языка обладает высокой пластичностью и известной автономией: иногда общение, тесно связанное с ситуацией может ограничиться только «мычанием» — произнесением интонационных контуров, трудно передаваемых в письменной форме *Гм, Угу, Мм?* В речи дискретные конструкции структурированных высказываний неизменно сопровождаются тональными и амплитудными (акцентными) модуляциями. Среди бесконечного множества тональных модуляций могут быть, как известно, выделены такие, которые, оставаясь текучими, в то же время представляют собой типовые, регулярно воспроизводимые в данном языке акцентно-интонационные контуры, сопровождающие фразу и слово.

Кроме того, можно выделить и общую **тональность** присущую тому или иному регистру, или стилю, речи — нейтральному, возвышенному или сниженному. Каждый регистр обладает характерными для него модуляциями тона, образующими общую для него тональную доминанту.

Так, для сниженного регистра, наиболее привязанного к коммуникативно-регулятивной ситуации, доминантной является *импульсивная* модуляция, создающая рисунок резкого взлета и постепенного затухания колебания. Импульсивным модуляциям соответствуют и импульсивные построения речи: широкое использование междометий, синкопированный

синтаксис фразы с характерной разговорно-бытовой лексикой, наконец, редуция высказывания к его психологическому предикату.

Для среднего, нейтрального регистра характерен плавный, *циклический* рисунок тона с разной длиной циклов, корреспондирующей с правильно построенными предложениями различного объема.

Возвышенный регистр наиболее удален от актуальной ситуации речи и тональные модуляции в нем приобретают *периодический* характер, сходный с колебаниями маятника. Периодическим модуляциям соответствует ритмическая организация стихотворного произведения, а также повторы, антитезы и некоторые другие фигуры, свойственные возвышенному стилю.

Можно сказать, что тональности речевых регистров не совпадают по фазовой модуляции, образуя относительно самостоятельные фазовые траектории.

2. Аморфные образования. Сюда относятся прежде всего внутренне нерасчлененные междометные словофразы, функционально определенные, но диффузные по своей семантике. Например, среди французских междометий можно выделить:

- импульсивные, выражающие реакции субъекта: *Ah! Aïe! Bah! Eh! Fi! Hélas! Oh! Ouais! Ouf! Ouiche! Peuh! Pouah! Zut!*
- регулятивные, управляющие поведением: *Chiche! Dia! Euh! Hein? Hem! Hép! Hop! Hour! Hourra! Hue! Oust! Sus!*

К ним примыкают звукоподражательные словофразы, в том числе изображающие:

- природные шумы: *boum, brrr, chut, clic-clac, crac, crincrin, drelin, flon-flon, glouglou, gnan-gnan, paf, pan, patapouf, patati-patata, patatras, plaf, ploc, plof, prout, tac, tam-tam, teuf-teuf, tic-tac, vlan, vroum, zest;*
- крики животных: *beu, coquerico, coucou, miaou, ouah, hi-han, ronron.*

Формы онomatопеи имеют явную тенденцию к редупликации (самоподобному повторению); многие из них имеют не монофазовый, а двуфазовый вид: *clic-clac, crincrin, flonflon, glouglou, gnan-gnan, patapouf, patati-patata, patatras, tam-tam, teuf-teuf, tic-tac, coquerico, coucou, hi-han, ronron.*

В ряде случаев по форме, а иногда и по семантике, междометные фразы близки к фонокинемам, например: *Hem! Hép! Hop! Boum! Brrr! Chut! Pan! Tac!*

3. Гранулированные образования. Гранулы в языке — это кратчайшие дискретные функционально определенные единицы, которые служат и в качестве элементов высказывания и в качестве отдельных высказываний. Сюда относятся полнозначные морфо-лексические единицы и операторные слова с грамматической функцией. В большинстве своем гранулы-лексемы

производны от базовых фонокинем на разных ступенях деривации и композиции. Сравнительно небольшой процент из них происходит от форм онomatопеи, например, французские глаголы: *beugler* (мычать), *chuchoter* (шуткуаться), *cliqueter* (позвякивать), *coasser* (квакать), *croasser* (каркать), *piauler* (пищать), *ronronner* (мурлыкать), *vrombir* (жужжать), и т. д.

4. Амфиморфные (гибкие) образования. Это фразы и словосочетания разной степени сложности, гранулы которых организованы относительно их предикатного узла. В структурном отношении они амфиморфны — имеют ряд степеней свободы при воспроизведении. Их амфиморфизм обусловлен соображениями подстройки высказывания к контексту. Они легко поддаются всевозможным трансформациям, изменяющим порядок элементов, сдвигающим место предиката, а также опущениям, нормативным лексическим заменам, сопровождающимся сменой предикатного узла; ср.: *Важные гости приехали в Москву — Приезд важных гостей в Москву — Москва принимает важных гостей — Важный прием в Москве — Важный московский прием — В Москве важные гости*, и т. п. Для полипредикатных структур возможны и иные виды трансформаций.

5. Кристаллические образования. Это выражения с четко различимой устойчивой структурой являющиеся результатом фиксации высказываний разной степени сложности. Их нередко отождествляют с речевыми стереотипами, но, в отличие от стереотипов, кристаллизованные выражения относятся не к периферии языка, а к его матричным типовым структурам, несущим в себе генерализованные смыслы. Они обладают универсальной применимостью и долговечностью. Наименьшие элементы кристаллоформ, или гранулы, из которых они строятся — лексические единицы языка.

К кристаллизованным образованиям относятся все паремические микродискурсы — тавтологии, пословицы, поговорки, загадки, и макродискурсы — параболы (притчи, басни), фольклорные сказки и мифы. Последние, будучи достоянием лингвокультурного сознания социума, фактически являются крупноформатными единицами языка. Это образцы сформированных в ходе языковой истории дискурсивных моделей.

Многие сказки существуют в ряде вариантов, что вовсе не лишает их кристаллических свойств, но лишь говорит о важном свойстве кристаллов — полиморфизме.

6. Стереотипные образования. Это застывшие варианты трансформов, повторно воспроизводимые в речи. В отличие от кристаллических образований, стереотипноморфен, воспроизводится только в единственной форме. О стереотипах обычно говорят как о речевых штампах, тем самым подчеркивая их ограниченную применимость (стилистическую специализацию) и недолговечность: в большинстве своем стереотипные выражения сравнительно быстро выходят из употребления и заменяются новыми.

По удачному выражению Т. Г. Винокур [ЛЭС, 1990, 588], штамп является «готовым к употреблению и потому наиболее удобным знаком». Стереотип избавляет от рефлексии и обеспечивает автоматическое употребление речевых конструкций. Действительно, творческое усилие далеко не всегда оправдано, особенно в рутинной коммуникации (газеты, деловое общение): *усталые, но довольные, они возвращались домой; люди в белых халатах*; ср. французский перифраз *les travailleurs de la mer* (муженики моря) и штамп для описания хорошей погоды: *le soleil brille, les oiseaux chantent*.

Каждый функциональный стиль, принадлежащий той или иной социальной сфере коммуникации, располагает характерным набором стереотипов. Таковыми, при условии регулярного употребления, могут стать любые языковые выражения, сохраняющие при этом *буквальный* смысл — выражения вежливости и другие коммуникативные формулы: *Каким ветром вас принесло? Имею честь сообщить вам...* Ср. французские формулы: *Quel bon vent vous amène?; J'ai l'honneur de...; Mes amitiés à...; A toute à l'heure!* и т. п.

Стереотипными выражениями являются фразеологические сочетания: рус. *одержать победу, оказать услугу, потерпеть поражение, подвергаться опасности*; фр. *remporter une victoire, rendre un service, subir un échec, courir un danger*.

В стереотипы обращаются и целые тексты, в особенности, принадлежащие рутинной (деловой, официальной) коммуникации. Для этой сферы характерны шаблоны — стереотипы с переменными компонентами, состоящие из набора «дежурных» фраз и пробелов, в которые следует вписать имена, даты и некоторые другие сведения.

Стереотип легко доступен, он лежит «на поверхности» языка, как фрагмент его застывшей пластичной субстанции. Свою оценку языковым штампам дает Ш. Балли, говоря о том, что непреднамеренное употребление штампов является признаком невысокой культуры, образованный человек употребляет их не иначе, как в шутку: «Сказать о хорошей картине *un pur chef-d'oeuvre* — это штамп; оратор, называющий права человека *les immortels principes de 89* — напыщенный пошляк или прожженный демагог, спекулирующий на глупости слушателей. Язык газет переполнен штампами — да иначе не может и быть: трудно писать быстро и правильно, не прибегая к избитым выражениям» [Балли, 1961, 109].

7. Клишированные образования. Любой *образный* оборот речи может быть подвергнут фиксации и многократному воспроизведению в готовом виде, что в итоге приводит к его клишированию — обесцвечиванию, стиранию выразительности. Такова судьба метафоры и других риторических фигур, образующих, в частности, фразеологические единства: рус. *жизнь бьет ключом, устроить головомойку, ставить палки в*

колеса; фр. *la vie bat son plein, laver la tête à qn, mettre les bâtons dans les roues, c'est tiré par les cheveux*.

Клишируются многие метафоры, возникшие в поэзии, обращаясь со временем в совершенно банальные выражения. Ш. Балли [1961, 109], который, впрочем, не проводил строгой границы между функционально родственными штампами и клише, писал, что вряд ли найдется в наши дни поэт, который рискнул бы употребить такие выражения, как *astre du jour* или *flambeau des nuits*. Ср. рус.: *цветок моего сердца, утро нашей жизни, остров любви, не страшны нам бури и грозы* и т. д. Любая метафора, узнанная без контекста, является клишированной, например: *птенцы вылетели из гнезда, лев готовится к прыжку*, и т. п. Метафоры пополняют собой множество языковых шаблонов. Язык в данном отношении выступает, по выражению, приведенному В. Г. Гаком [1988, 17], как «кладбище мертвых метафор».

Клишируются и быстро обесцвечиваются сменяющие друг друга в коммуникации оценочные эпитеты (*потрясающий, сногшибательный*, ср. фр. *formidable, épatant*, и др.). То же явление наблюдается и в рекламе, когда представление товара сопровождается эксплуатацией эпитетов и метафор типа *уникальный, чудодейственный, непревзойденный, утренняя свежесть, аромат розы* и пр.

Клише тяготеет к монолитности, к нивелированию внутренней формы исходной единицы. Часто смысл выражения совершенно не соответствует форме или же вовсе утерян, и его замещает новое регулятивное значение. В пределе, в результате клиширования полнозначных расчлененных форм, сопровождаемого смысловой и формальной редукцией, язык приобретает новые междометия.

Во французском языке, наряду с множеством аморфных единиц — экспрессивных и регулятивных междометий — мы находим пестрый набор междометных клише, происходящих от самых разных слов и словосочетаний:

- отыменные: *Bougre! Bigre! Flûte! Casse-cou! Ciel! Dame! Bon Dieu, Vingt dieux, Milledieux! Par exemple! Ma foi! Mon oeil! Peste! Tonnerre de Brest! Des clous!*
- отадъективные: *Bon! Mince alors! Tout beau! A d'autres! C'est du propre!*
- прономинальные и адвербиальные: *Ça! Là! A bas! Eh bien!*
- отглагольные: *Allons donc! Dis donc! Plaît-il? Tiens! Tope-là! Voyons! Halte!*
- сращения, контаминированные из разных корней: *Crénom! Diantre! Morbleu! Parbleu! Pardi! Pardieu! Saperlotte! Sapristi!*

Смысл этих выражений, даже при их совпадении с грамматически расчлененным прототипом, не бывает буквальным, ср. фр.: *Tiens!* — это не «бери», а «смотри-ка». *Dis donc* — это не «скажи-ка», а «послушай», *Ma foi* — не «моя вера», а «кстати говоря» и т. п.

Междометия в современном языке непродуктивны в морфологическом отношении, но они значимы как образцы для создания фраз с нивелированной образностью посредством клиширования. Каждое новое поколение использует слегка обновленный набор междометных клише.

8. Амальгамы. Многие расчлененные выражения с течением времени постепенно утрачивают свою внутреннюю форму и тяготеют к монолитности, как и клише. Их компоненты испытывают сращение и слияние. В итоге выражение приобретает вид амальгамы.

Фразеологические сращения можно квалифицировать как полуамальгамы. Для них характерно наличие архаического элемента, лексического компонента, утратившего свое исходное значение и употребляемого только в составе этих выражений: рус. *попасть впросак*, *бить баклуши*, *не видеть ни зги*; фр.: *prendre la poudre d'escampette*, *chercher noise à qn*, *sans coup férier*, *vivre au diable yauvert* и др. Признаком полуамальгамы является отсутствие артикля и другие отклонения от грамматической нормы также в застывших глагольных сочетаниях французского языка, имеющих буквальный смысл: *avoir faim*, *mettre fin*, *porter malheur*, *avoir droit*, *prendre part*, *faire date*.

От частого и длительного употребления может быть амальгамирован в той или иной степени речевой стереотип. Если русское *здравствуйте* пока сохраняет следы своей внутренней формы, то выражения *спасибо* и *пожалуйста* испытали амальгамацию в большей мере.

Амальгамы широко распространены в лексике. Фр. *aujourd'hui* — «сегодня», восходит к ст.-фр. *au jour de hui* «день этого дня», где *hui* < нар.-лат. *hodie* и далее к лат. *hoc die* «этого дня». Ср. рус. *сегодня* (< сего дня). Фр. *gendarme* — редукция старой формы *gens d'armes* («вооруженные люди»).

Во многих словах современного языка стерты границы между аффиксом и корнем. Таковы русские глаголы: *взять*, *поднять*, *помнить*, *забыть*, французские *répéter*, *comprendre*, *souvenir* и многие другие.

Амальгамация приводит к неразличимости частей ранее расчлененной формы и представляет собой необратимый процесс. В этой связи стоит отметить удивительную способность греко-латинских корневых морфем сопротивляться амальгамации и служить исходными гранулами для построения множества новых и новых слов — терминов науки и техники, заметная доля которых перекачивается и в язык повседневного общения.

Все описанные языковые образования, как об этом говорилось, обладают разной степенью устойчивости, образуя в совокупности неоднородный фазовый портрет языковой системы.

§ 2. Динамика отношений языка и дискурса

Отметим, что не только фазы как состояния динамической системы, но и сами переходы между состояниями являются фазами того же единого процесса. Только фазы-состояния характеризуются относительной устойчивостью по сравнению с фазами-переходами. Поэтому тот или иной процесс может быть описан, по-видимому, как в терминах сменяющих друг друга состояний, так и в терминах переходов между ними.

Фазовые переходы могут быть плавными и скачкообразными. Плавный фазовый переход можно характеризовать как *интерполяцию* исходной и результирующей фаз: профаза плавно перетекает в эпифазу. Это происходит потому, что интерполяция, заполняющая промежуточный интервал, содержит в себе характеристики и той и другой фазы. Тем самым она обеспечивает плавность и постепенность перехода.

При скачкообразном переходе происходит жесткое переключение системы с одного состояния на другое, или *трансполяция*. В результате изменяется исходная ориентация системы (ее поляризация) или другие свойства. Траектория трансполирующего процесса будет выглядеть как последовательность расщеплений (бифуркаций) и метаморфоз, тогда как интерполирующий процесс, состоящий из последовательности фаз, создаст гладкую траекторию преобразований.

Фазовая траектория дискурса содержит и гладкие и скачкообразные переходы, сопряженные со структурным ветвлением и сопровождающей его семантической дивергенцией компонентов. В дискурсе эта траектория выглядит прежде всего как фундаментальная фазовая прогрессия, имеющая совершенно строгий линейный порядок (профаза — эпифаза). В этой линейной прогрессии каждая присоединяемая эпифаза обращает все, что ей предшествует, в свою оперативную базу. Нелинейные явления заявляют о себе тогда, когда из имеющейся оперативной базы избирается не последний, а некоторый другой сегмент в качестве профазы, к которому и присоединяется новая эпифаза, в результате чего исходная фазовая траектория претерпевает расщепление. Так примитивно рекурсивный характер, свойственный линейному построению, становится собственно *дискурсивным* (расходящимся, разветвленным). При сохранении общей линейной основы, обусловленной линейностью речевого канала, создается расходящийся дискурсивный узел.

Фазовое ветвление может многократно повторяться в дискурсе. При этом каждый сегмент является фазой в составе более крупного сегмента (синтагмы), что в итоге создает телескопическую, фрактальную структуру, организованную по принципу вложенности одних компонентов в другие.

Язык в диахроническом плане тоже описывает фазовую траекторию, которая, очевидно, содержит и гладкие и скачкообразные переходы. Только по своему масштабу она не сопоставима с отдельным дискурсом, который

выглядит лишь элементом, фазовым ростком диахронической траектории языка, содержащим зерно его эволюции.

Можно полагать, что не всякий дискурс оставляет свой след в системе, а только такой, который отвечает, по меньшей мере, двум условиям: а) данный дискурс не был простым воспроизведением языковой модели уже кристаллизованной в языковом сознании, но содержал некоторую инновацию; б) он стал по тем или иным причинам общеизвестным.

В синхронии языковая система образует не траекторию, а *фазовый спектр*, состоящий из совокупности подсистем, имеющих разную степень пластичности и разную скорость изменений, которые, в частности, проявляются в разного рода лексических и паремических приращениях, возникающих в дискурсе. При этом, разумеется, происходит и утрата некоторых элементов, безвозвратно выходящих из употребления или же сливающихся с другими элементами. Метастабильный (относительно устойчивый) характер языковой системы контрастирует с эфемерностью дискурсивного процесса.

Дискурс со всеми его моделями рождается в недрах языковой системы в процессе деятельности рефлексии. Дискурс — это проекция тех преобразований, которые имеют место в системе, проекция в одномерное пространство речевого канала, где фазовый спектр языка сплющивается в фазовую траекторию.

Если для дискурса фундаментальным является линейный порядок, то для языковой системы таковым является ее полярная организация: единицы языка группируются по принципу оппозиций.

Языковая система, имеющая устойчивое операторное ядро и изменчивую периферию, в целом обладает свойством *метастабильности*, противостоящей *реологичности* (текучести), присущей образному полю сознания. Метастабильность можно определить как пластичное фазовое состояние, промежуточное между текучим и застывшим состояниями. Язык сохраняет и структурированность, и способность варьировать соотносительную ориентацию своих элементов. В диахронии язык как динамическая метастабильная система постоянно испытывает дрейф, обновляется, подстраиваясь ко все новым и новым текучим образам мира.

В эволюции относительно устойчивых форм языковой системы можно обнаружить две противоположных по направленности тенденции.

С одной стороны, это тенденция к *кристаллизации* единиц, к четкой артикуляции их матричной основы и всех компонентов, выступающих в качестве гранул и гранулированных структурных блоков. При этом соблюдается основной — рекурсивный — принцип построения: материалом для единиц высших уровней являются значимые *формы* единиц низших уровней. Даже форма, претерпевшая амальгаму, вовлекается в качестве исходной гранулы в процесс образования производных форм.

С другой стороны, существует противоположная тенденция к *стереотипизации* и дальнейшему клишированию единиц, к стиранию их соб-

ственной матричной значимости, к аморфности, что ведет к частичному обращению системы в конгломерат, или агрегат, состоящий из стереофрагментов дискурсивных моделей различных уровней. Если единица аморфна, то и ее означающее произвольно, она становится тривиальным знаком, определяемым по отношению ко всем другим единицам чисто дифференциально, вне всякой связи с ее внутренней организацией, но лишь на основе той звуковой субстанции, из которой она состоит. В итоге и строительным материалом для модели становится единица, взятая не как форма, а как *субстанция*.

Восхождение от низшей ступени моделей к высшим — это путь к образованию кристаллической фрактальной структуры: фундаментальная текучая материя гранулируется на стадии диктальной модели, и каждая последующая модель строится из множества кристаллизованных различным образом диктальных гранул. Через каждую модель, в силу ее фрактальной организации, «просвечивают» модели, относящиеся к предшествующим фазам построения. При этом низшие формы, встраиваясь в высшие модели, имеют тенденцию к семантическому расщеплению; прежнее синкретическое значение всякий раз подвергается дальнейшей дифференциации. Первичное выражение действия становится обозначением процесса или предмета с ним связанного. Значения изменяются по линии исходного — производного, единичного — общего, конкретного — абстрактного. В высших формах расчлененное представление находят смыслы, которые в низших моделях выражались только сопряженно.

Движение материала от высших моделей к низшим в виде клишированных фрагментов нарушает этот стройный порядок. Клише жестко фиксирует значение, блокируя его дальнейшее развитие. Клишированные блоки перестают быть прозрачными с точки зрения внутренней формы и, следовательно, утрачивают свою фрактальную разработанность. Собственная форма в них больше не играет решающей роли. В этом плане можно провести подходящую аналогию. Из истории мы знаем, что при постройке жилищ использовался не только природный материал, но и фрагменты разрушенных архитектурных ансамблей, когда художественно оформленные мраморные плиты, колонны и даже статуи использовались лишь как строительный материал, как субстанция, наравне с глиной, деревом и камнем, для постройки домов.

Нечто подобное происходит и в языке, когда фрагменты высших моделей используются не как формы, а как субстанция. Тонко разработанные фрактальные единицы утрачивают свою ценность. На первое место выдвигаются их практические свойства как материала: монолитность, размер, доступность и другие, совершенно не отвечающие их собственной форме. В языке появляются стереотипные, застывшие образования, используемые как единое целое, как строительные блоки, блоки-гранулы, в готовом и неизменном виде. Различные фазы *редукции* исходной формы

мы наблюдаем в застывших языковых образованиях от дискурсивных штампов до клишированных и амальгамированных коммуникативных формул и междометий. Вырождение формы сопровождается вырождением семантики, которая приобретает все более выраженную функциональную специализацию и одновременно становится все более диффузной из-за того, что исчезает соответствие между смыслом и формой. В пределе клише вырождаются в междометия, необратимо опускаясь на уровень диктально-регулятивной модели.

Такое положение, конечно, тоже должно иметь свое обоснование. Первое, что может быть реальной причиной образования штампов и клише — это переключение субъекта с процесса рефлексии на процесс коммуникации в стандартной ситуации, где достаточно ранее наработанных стереотипных форм. Субъект при этом как бы отдыхает от рефлексии, требующей известного умственного напряжения. Активность рефлексии сопряжена с нестандартными ситуациями. Она включается там, где стандартного решения недостаточно, и только рефлексия способна его найти.

Примечательно, что применение паремического выражения (пословицы, афоризма) в докладе, изобилующем штампами, соответствующими стилю и сфере сообщения, неизменно вызывает оживление аудитории. Такие факты свидетельствуют об активизации рефлексии, как у говорящего, так и у слушателей, посредством *катализирующего* действия паремии, создающей на фоне коммуникации особенный регулятивный — игровой — эффект. Кроме того они говорят о необходимости принципиального разграничения стереотипных и кристаллизованных выражений.

Клише оправдано там, где оно уместно, где оно дает возможность автоматизировать одну деятельность и совершать параллельно ей другую. Позитивная роль клише состоит в том, что оно не только освобождает от рефлексии, но иногда и высвобождает рефлексию от контроля над деятельностью рутинного характера. Как бы там ни было, но и при клишировании и при кристаллизации языковое сознание обогащается за счет новых единиц, возникших в дискурсе, и затем снова запускает их в дискурсивный процесс. При этом оно реализует разные возможности: клиширование есть адаптация различных единиц к определенной функции, их регуляризация в языковой игре, в игре по правилам, которые задает окружающий мир. Кристаллизация связана в первую очередь с собственным креативным потенциалом языка и, соответственно, с игрой-импровизацией, она запечатлевает творчески созданные единицы, дискурсивные инновации, как сингулярные единицы языковой системы.

Образцы материала, служащие для построения моделей, фиксированные в языковых формах — словах, паремиях, стереотипах, клише и других фрагментах речи, вполне осознаваемы носителем языка. Но кроме самих образцов существуют и операции рефлексии над ними, которые субъект производит неосознанно. Глубинные операторы, которые рефлексия при-

водит в действие при построении моделей и которые, надо полагать, составляют ядро системы, могут быть выведены лишь косвенно, на основании сопоставления моделей как дискурсивных образов, того материала, из которого они производятся, и тех предполагаемых прообразов, которым данные модели соответствуют.

§ 3. Синергетические эффекты в динамических системах

Из принципа Кюри вытекает важное положение, касающееся креативной роли динамической среды в формировании объекта. Объект принимает такую форму, которая оптимально приспособлена к данной среде — симметризуемая инстанция подстраивается к симметризирующей. При длительном устойчивом взаимодействии *несимметричных* по отношению друг к другу динамических систем происходит наработка промежуточной инстанции, соизмеряющей взаимодействие этих двух систем, изначально несоизмеримых друг с другом. По своей сути такие промежуточные системы являются адаптивными.

В технике известны самые различные адаптирующие устройства — относительно сложные, предназначенные, например, для считывания записей видеоряда, и более простые, такие, как обычные механические инструменты. Всякий инструмент обеспечивает двустороннюю подстройку: он подходит и к объекту действия, и к человеку, то есть обладает двоякой симметрией. Таким образом, адаптивная система функционально *амфисимметрична*, т. е. симметрична по отношению к каждой из согласуемых ею систем. Вся история развития орудийной деятельности человека свидетельствует о неустанной обработке орудий, совершенствовании их амфисимметричного момента.

Для орудийной деятельности человека на ее ранних этапах характерно производство множества однотипных орудий при сравнительно медленной наработке их разнообразия. Лишь в историческую эпоху, сопряженную со значительными культурными изменениями среды, стремительно нарастает процесс специализации орудий и их множественное разнообразие. Значительными усилиями многих поколений человечество пришло от примитивных орудий к современным высокотехнологичным адаптирующим устройствам, интерполирующим действия человека и мира. Параллельно с развитием орудийной деятельности шло становление внутренней адаптивной системы, связанной с рефлексией и ее инструментом — языком.

Сторонники синергетического подхода рассматривают язык как комплексную адаптивную систему. Канадский лингвист М. А. Беланже [1995, 44] считает, что язык со всеми его подсистемами выполняет адаптивную функцию своеобразно выразительным нуждам говорящего и мыслящего субъекта. Действительно, регулятивное высказывание и как промежуточ-

ная инстанция между человеком и социальным миром, и как интерполяция между двумя ситуациями деятельности — текущей и предстоящей [Бернштейн, 1990, 438], обладает тем же свойством амфисимметричности по отношению к согласуемым ею инстанциям.

Язык обеспечивает подстройку двух разнонастроенных инстанций, двух сознаний, вступающих в коммуникацию, образуя амфисимметричную структуру, в точности подходящую и для одной инстанции и для другой. При синхронизации двух сознаний речевое высказывание выступает как сложное интерполирующее действие: оно согласует и процесс общения сознаний, и образы ситуаций, в разной степени известных коммуникантам. Поэтому в ходе диалога возможны различные смысловые переходы от согласования личностей до сопоставления ситуаций при посредстве высказываний одного и того же типа — интерполирующего. В языке проявления амфисимметричности можно усмотреть и в том, как в высказывании отображаются параметры объекта и говорящего субъекта, и в валентности языковых единиц, и в самой категории ценности, которая, по выражению Ф. де Соссюра, обладает свойством соотносить между собой предметы обмена [1990, 193], сами по себе разнородные. Наличие в языке амфиморфных образований — высказываний с гибкой структурой (поддающейся трансформациям) — это проявление того же адаптивного аспекта языка — подстройки структуры высказывания к контексту, точно так же, как и подвижность ремы при его актуальном членении.

Формирование адаптивной системы — это эффект каталитического действия относительно устойчивой динамической среды, которая может придать соответствующую форму однородной, инертной и даже хаотической субстанции. О явлении катализа обычно говорят в связи с химическими реакциями. Катализатором называют вещество, ввод которого в химический раствор вызывает реактивное взаимодействие веществ, до этого пребывавших в инертном состоянии.

Катализирующим действием обладают не только внедренные элементы, но и внешние факторы: температура, давление, магнитное поле, гравитация и другие физические силы, вызывающие структурные изменения в веществе, в том числе изменение его фазовых характеристик или стационарной симметрии. Так, вода при нагревании переходит в газообразную фазу, а при охлаждении — в кристаллическую. Помещение проводника в магнитное поле вызывает явление электрической поляризации, помещенные стали в электрическое поле вызывает ее магнитную поляризацию, и т. д.

Благодаря каталитическим эффектам в природе практически не существует абсолютно чистого хаоса, т. е. система даже с максимумом энтропии (характеризуемая симметрией самого высокого порядка) оказывается подверженной некоторому слабому воздействию того или иного катализирующего параметра. Отсюда явления образования ячеистой структуры в жидкости, грануляции вещества и т. п. Катализ может обусловить как

структуризацию, так и деградацию, распад системы. Эффектом катализа, как правило, бывает фазовый переход скачкообразного характера, в результате чего происходит мгновенное изменение ориентации элементов системы относительно друг друга. Катализ — это не только регулярные явления, переходы материи из одного состояния в другое, но и рождение *сингулярных* явлений, качественно новых веществ и объектов, являющих собой особенную организацию материи.

Сингулярное явление возникает в результате калибровочного действия параметрической матрицы — некоторого устойчивого сочетания параметров среды. Субстанция, попавшая в фокус ее действия, подстраивается сообразно той ориентации, которую ей задает этот параметрический метатип.

Такие явления относятся физиками к области *калибровочной симметрии первого рода*, когда динамическая среда индуцирует образование специфического заряда — **интерполента**, стремящегося уравновесить сопрягаемые полюса — устойчивые параметры среды. Параметрическая матрица в физическом смысле может сочетать разнообразные параметры, такие как температура, давление, магнетизм и т. д., и вызывать разнообразные сопряженные явления, устойчивость которых зависит от устойчивости самой конфигурации параметров. С распадом параметрической матрицы исчезает и тот калибровочный эффект, который она оказывает на среду. Но она может оставить свои следы в виде тех или иных объектов, испытывавших ее действие. Так отступление моря ввиду поднятия суши оставляет округленные и отшлифованные камешки, свидетельствующие о калибровочном действии морских волн.

О *калибровочной симметрии второго рода* говорят при обратном направлении симметризации, когда объект, приобретая устойчивость относительно среды, начинает действовать как **экстраполятор**, сообщая частицам среды характеристики своего заряда, в результате чего в его окружении возникает множество объектов, симметричных по отношению к нему.

Эффекты калибровочной симметрии второго рода, очевидно, имеют много общего с явлениями *автокатализа* — возникновения самоподобных форм [Пригожин, 2004, 19].

Автокатализ наблюдается на разных уровнях и в разных типах саморазвивающихся систем. Так, на химико-биологическом уровне — это самовоспроизведение того или иного фермента [Хакен, 2003, 79]. Автокатализ как редупликация или полирепликация широко представлен в биологии, начиная с простейших одноклеточных и заканчивая высшими организмами.

Закон редупликации распространяется и на экономику, когда при появлении нового продукта его запускают в серийное производство. Тенденцию к множественному самовоспроизведению имеют инновации и в области культуры. В вырожденном случае происходит просто периодическое

повторение некоторого явления, например, многократное исполнение музыкального произведения, а в языке — многократное повторение нового выражения. В социальной жизни та же закономерность проявляется как мода, когда некоторая инновация, например, в одежде, вызывает устойчивое подражание в обществе.

При этом не столь существенно то, какие именно причины вызывают данное явление. Конечно, на социальном уровне можно говорить о разного рода «потребностях», «нуждах», на биологическом уровне — о «потребностях в сохранении рода» и пр. Но, например, на уровне физических процессов и химических реакций такая интерпретация явно не обладает никакой объяснительной силой. Приходится говорить о законах самоорганизации систем, действие которых, в свою очередь, подчиняется принципам симметрии, организующим материю.

В однородной, стабильной среде автокатализ дает самотождественные копии, но если среда оказываться неоднородной, изменчивой, то она налагает свой отпечаток и на результаты автокатализа. И. Пригожин [2002, 19] в качестве примера автокатализа приводит размножение популяций муравьев, когда под влиянием меняющейся среды параллельно с увеличением численности популяции происходит не только специализация в поведении, но даже отдельные особи становятся слепыми.

Автокаталитические процессы в языке тоже не сводятся лишь к буквальному копированию той или иной инновационной формы, но связаны с образованием множества производных единиц, приобретающих функциональную специализацию. Так, на уровне предложения можно наблюдать автокатализ оператора-предиката, от которого образуются самоподобные предметные переменные. В результате функциональной специализации они в дальнейшем приобретают формы, соответствующие их позициям в структуре предложения.

В недифференцированном виде единый оператор-предикат означает одновременно и команду, и действие, и отношение, и предмет, с которым надо нечто сделать.

На ступени первичного расчленения оператор-предикат подвергается автокатализу (редупликации), образуя первофразы смысл которых можно обобщенно выразить квазиформулой «Do-do!», что может означать: 'делай дело', или 'делающий делает', или 'дело делается'. Когда в ситуации несколько предметов, то все они получают свое первоначальное представление через ее базовый предикат сообразно его валентности. На ступени морфологической дифференциации слов это дает уже высказывания типа *Игрок играет игру, Рисовальщик рисует рисунок, Певец поет песню*.

Возникновение языка как сингулярности на фоне живой природы само по себе сопряжено с комплексом условий, срабатывающих как катализатор внешнего порядка, наделяющий звучащую материю свойством выражать различные смыслы. Но принцип катализа продолжает свое дей-

ствие и в развитии языка, и в построении высказывания, дискурса. Даже само высказывание выступает как катализатор ситуации социального взаимодействия, побуждая людей к мысли и поступку.

С каталитическими эффектами связана деятельность рефлексии, которая на своей первой ступени выглядит как мысленное сопряжение противоречащих друг другу, несовместимых сенсорных образов мира, что образует в итоге параметрическую матрицу — **метатип**, производящий калибровку диффузной звуковой субстанции — ее артикуляцию в соответствии с порожденными таким образом сопряженными смыслами.

В дискурсе наблюдаются все виды каталитических явлений, оговоренные выше. Во-первых — это катализ как самопорождение нового смысла посредством ввода в базовую структуру особенного оператора. Во-вторых — это помещение типового выражения в особенный контекст, сообщаящий ему дополнительную калибровку и тем самым изменяющий его смысл. В-третьих — это автокатализ как редупликация и образование производных величин от базовой. В-четвертых — это композиция значимых единиц, в том числе паратрагическая, индуцирующая сопряженные смыслы.

Сравнивая адаптивный и креативный аспекты в деятельности языкового сознания, можно видеть, что в адаптивном плане сознание нацелено на приведение всего сущего к единым правилам игры, на выражение разнобразного через ограниченный набор стандартных единиц. Креативный план, напротив, ориентирован на игровую импровизацию, на нестандартное представление уже известного, на создание инноваций. Эти два момента в построении дискурса дополняют друг друга: креативность опирается на результаты адаптации, а адаптация использует инновационные достижения креативного плана.

§ 4. Язык как метастабильный компонент психики

По В. Гумбольдту [1984, 324], «языки возникли не по произволу и не по договору, но вышли из тайников человеческой природы и являются саморегулируемыми и развивающимися звуковыми стихиями». Эти слова Гумбольдта предвосхитили идеи синергетики более чем за полтора века до их научного оформления. Основоположник общего языкознания уверенно связывает происхождение языка со становлением самосознания у человека и с развитием рефлексии: «Язык начинается непосредственно и одновременно с первым актом рефлексии» [Гумбольдт, 1984, 301].

Духовной рефлексии — способности сознания оперировать своими собственными образами — в физической речи соответствует произносительное членение звука, его артикуляция. Артикулированные звукокомплексы (расчлененный звук) фиксируют те образы, которые создаются деятельностью

рефлексии. Лишь приобретая артикулированный характер, звук приобретает способность выражать нечто отличное от себя, т. е. символическую функцию, образуя язык как *промежуточный* мир между человеком и его внешним окружением, служащий для регуляции отношений между ними.

Рефлексия могла возникнуть только в результате развития и усложнения высших психических функций, когда человек приобрел, в частности, способность одновременно удерживать в сознании образ текущей, наличной ситуации и образ не воспринимаемой, но воображаемой ситуации, в первую очередь — предстоящей. Столкновение этих образов как различных фаз деятельности субъекта порождает третий образ — образ фазового перехода, такого, который обеспечил бы перетекание наличной ситуации в предстоящую.

Отсюда необходимость зафиксировать тот абстрактный, амодальный, эфемерный образ действия, интерполирующего наличную и предстоящую ситуацию, действия, которое «вертится в мозгу», не получая никакой опоры, и которое ищет и находит свою материализацию, но не во внешнем жесте, движении, а в его свернутом звуковом аналоге, в речевой артикуляции. Далее рефлексия, получив опору в артикулированном звуке, получает и дополнительные возможности сопрягать не только актуальные для человека, но и вообще любые ситуации, устанавливая между ними вероятные фазовые интерполяции. Чем дальше друг от друга отстоят образы, тем сложнее и причудливее оказывается их интерполяция, формирующая различные фазовые траектории, которые находят свое выражение в дискурсивном процессе.

Рефлексия, однажды утвердившись, вовлекает в сферу своей деятельности множество различных образов, спонтанно текущих в сознании, удерживает, сопоставляет, фиксирует, преобразует их; наконец, на высших ступенях своего развития, она получает возможность избавиться от инерции стереотипов; рефлексия импровизирует, создает принципиально новые образы, не имеющие аналогов в реальности.

Рефлексия — это психический аналог игрового взаимодействия человека с миром, аналог *балансирования* субъекта в динамической среде. Физическое игровое действие — это саморегуляция субъекта относительно изменения текущей ситуации. Действие рефлексии — это психическая саморегуляция относительно динамики образов ситуации. И в том и в другом случаях рождается игровая импровизация, которая в дальнейшем находит свое закрепление либо в типовых реакциях на повторяющиеся процессы, либо в *метастабильном* компоненте сознания, имеющем ту же функцию.

Сознание отражает мир. Рефлексия определяет подстройку субъекта к образу мира — фазовую синхронизацию динамического субъекта с динамическим миром. Главное назначение рефлексии — обеспечить равновесие субъекта в любых взаимодействиях с миром. Рефлексия — это стихийно

возникший компонент усложненной психики, который выделился в особую психическую инстанцию, возвысившуюся над сознанием. Рефлексия — это сознание сознания. Именно поэтому сама рефлектирующая инстанция принципиально неосознаваема. Осознаваемы только результаты действия рефлексии, создающей собственные опорные образы, которые образует *метастабильную* зону в динамическом пространстве образов сознания.

Точно также игровая деятельность человека образует метастабильную культурную зону в физическом пространстве с того момента, как в его сознании фиксируются типовые взаимодействия с повторяющимися ситуациями, и появляется возможность их игрового воспроизведения, удвоения с использованием объектов, замещающих объекты предполагаемой ситуации. Культура трудовой деятельности и связанное с ней изготовление орудий возникают на базе игровой культуры в физическом пространстве.

Язык как лингвокультурный компонент психики — ближайшая к рефлектирующей инстанции игровая система, состоящая из метастабильных образов.

Отличительная черта метастабильных образов — их относительная устойчивость в общем потоке образов сознания. Устойчивость эта заключается не в некоем их статическом положении, а в первую очередь в характере их оформленности. Образы структурированные противостоят образам расплывчатым и аморфным, в силу чего именно структурированные образы рефлексия может использовать в качестве опорных, производя свои операции над текучим — реологическим — континуумом сознания. Очевидно, что если есть образ, подходящий для фазовой синхронизации, то его следует удержать, зафиксировать, если такового нет, то его надо создать. Одно из направлений деятельности рефлексии — это наработка устойчивых образов и их отграничение от всех прочих.

Вероятно, рефлексия не сразу выделила из всего множества образов мира амодальный моторный образ (кинему), как устойчивый и оформленный образ фазового перехода, и, следовательно, способный выражать соответствия типа интерполяции образов текущей и предстоящей ситуации, но, выделив, она закрепила его в артикулированном звуке, противопоставив его другим регулярно воспроизводимым, но нерасчлененным или слабо расчлененным звуковым сигналам — диффузно-тональным и иконическим. То, что рефлексия сделала свой выбор на образе взаимодействия субъекта с миром, обусловлено фундаментальностью этого образа по отношению к любой деятельности человека. То, что рефлексия зафиксировала этот образ в звуке (фонокинеме), связано, по-видимому, со звукосигнальным взаимодействием субъектов в коллективе, где речевая регуляция легко обращается из регуляции поведения другого в саморегуляцию и обратно.

Речевая регуляция есть не что иное, как моделирование поведения сообразно динамике ситуации, и элементарное высказывание представляет собой микромодель ситуации, назначением которой является синхронизация

действий субъекта с внешними процессами. Оработанные в речи модели взаимодействия субъекта и объекта закрепляются рефлексией в сознании как метастабильные сущности. Сознание получает в свое распоряжение своего рода динамические константы — **стеммы**, являющиеся базовыми величинами для воспроизведения в речи в неизменном или же измененном виде, что дает новые модели, которые в свою очередь, фиксируются в языковом сознании как стеммы. В результате рефлексия создает в потоке сознания «остров» из метастабильных образов взаимодействия субъекта с объектом. Он постоянно пополняется все новыми единицами, что и образует в итоге языковую систему как комплексный метастабильный компонент сознания, а вместе с ней и возможность разнообразного игрового удвоения мира посредством обращения языковых форм в дискурсивные модели.

Важнейшее достижение рефлексии в том, что она, в ходе своей эволюции, обратила ассоциативное мышление, доминирующее в пространстве образов сознания, в дискурсивное. Дискурсивная форма мышления — это не просто следование одного высказывания за другим. Это опора каждого высказывания на ему предшествующие, благодаря их закреплению в языковых структурах. В потоке образов сознания, не получивших языкового представления, возможности дискурсивного мышления оказываются ограниченными.

На первой ступени образования метастабильного образа еще нет различия между инструментом рефлексии и моделью ситуации, между адаптивной и креативной функциями, как и между регулятивной и информирющей. Впрочем, и на современном уровне наших знаний о языке эти понятия сливаются и перетекают друг в друга. Поэтому нет ничего удивительного в первичном синкретизме того образа взаимодействия, который послужил архетипом для построения всех последующих дифференцированных форм.

Первообраз, схваченный рефлексией, выражает одновременно и прямой, буквальный смысл, т. е. взаимодействие, и, по дополнительности, сопряженный с ним смысл — ситуацию взаимодействия. Этот момент сохраняется и в дальнейшем, но с развитием языковой системы он получает все более мощную опору, что усиливает возможности построения ситуативно-независимого дискурса.

Момент, о котором идет речь, связан с каталитическими эффектами в деятельности рефлексии. Можно сказать, что и на инициальной, и на последующих ступенях рефлексия действует главным образом именно в *режиме катализа*, создавая сопряженные смыслы, возникающие в дискурсе самопроизвольно, независимо от рационального сознания, которое действует преимущественно в режиме анализа и синтеза.

Анализ традиционно отождествляется с разложением, расщеплением целого, в то время как он является процедурой извлечения смысла, дающей распознавание образов на основе имеющихся в сознании операторов

анализа — образцов, эталонов, мер. Дискурсивная модель реальности является аналитической моделью именно в смысле анализа как процедуры извлечения смысла прообраза, а не его расщепления. А вот катализ как раз и включает в себя момент расщепления целого, разрушения исходных связей между частями целого и его существенной перестройки в том или ином отношении. Но главное то, что в результате катализа происходит индукция сопряженных смыслов, которые иногда поддаются восстановлению в эксплицитной форме, например, путем замещения эллипсов, посредством интерполяции. Поэтому, вероятно, и Л. Ельмслев [1999] в своей глоссематической теории использовал термин «катализ» для обозначения процедуры интерполяции текстовых лагун, что, в принципе, не противоречит сути этого явления.

Глубинная суть самодействия рефлексии заключается в создании сопряженного смысла через сочетание языковых операторов. Смысловое пространство сознания (в соответствии с принципом Кюри) симметризуется по дополнительности с этой языковой параметрической матрицей, действующей как калибровочный катализатор — **метатип**, в фокусе которого и возникает сопряженный смысл. Метатип как один из моментов фазового пространства сознания — это граница раздела между текущей сферой сознания и некоторой лагуной в ней; это своего рода мембрана, ограничивающая данную лагуну и придающая ей тот контур, который создается взаимодействием языковых операторов. Конфигурация этой границы раздела и определяет сопряженный смысл, который противостоит всей совокупности образов и в то же время согласуется с нею благодаря амфисимметричному характеру данной конфигурации.

Метатипы, наработанные рефлексией, фиксируются в качестве элементов системы и используются далее как типовые эталоны для аналитического распознавания образов. Подвергаясь дальнейшей калибровке, эти же формы выступают как базовые величины при построении производных, то есть, поставляют материал для построения других моделей, которые затем отлагаются как метастабильные формы (стеммы) в фазовом пространстве языка.

§ 5. Типы дискурсивного моделирования

Термин «моделирование» буквально означает 'придание формы, создание'. Модель — это то, что получается в результате моделирования. Моделируя речевые выражения, а затем фиксируя и систематизируя их в языковом сознании, рефлексия тем самым моделирует не только дискурс, но и язык, то есть совершенствует язык как инструмент, как адаптивную систему и одновременно усиливает его креативный потенциал. Следует постоянно учитывать эту двоякую направленность в деятельности реф-

лексии, состоящую в моделировании образов мира и в их фиксации, систематизации в сознании, и по возможности не смешивать дискурсивные модели и соответствующие им языковые копии — **стеммы**, или динамические константы языка, которые могут быть снова обращены в модели, подвергаясь тем или иным преобразованиям сообразно ситуативному контексту или независимо от него. В деятельности языкового сознания постоянно происходит взаимопротекание: «модель → стемма → модель» и «стемма → модель → стемма».

Это взаимное протекание, однако, не исключает возможности провести онтологическое различие между дискурсивной моделью и ее метастабильным языковым аналогом для того, чтобы исключить понимание термина «модель» в его широко распространенном и вполне нормальном бытовом значении «образец».

Образцом в речевой деятельности является не модель, произведенная индивидом, а стемма — метастабильная единица системы, прошедшая социальное определение. Стемма, в отличие от модели, привязанной к своему субъекту-индивиду, отличается анонимностью, обобщенностью и категоричностью. Стемма — носитель социальной значимости. В стемме акцент делается не на действиях и операциях, а на отношениях и свойствах, выступающих как ценностные характеристики представленных в ней величин.

Стемма, имея статус психической единицы, обладает некоторыми свойствами, общими с текстом. Текст, как и стемма, фиксирует дискурсивную модель, но, объективно, в виде письменной копии. В этом плане он является внешним, физическим аналогом стеммы. В отличие от метастабильной стеммы, текст стабилен в своей фиксации. Стемма как динамическая константа подвержена самопроизвольному варьированию и дрейфу в плане семантики и формы. Текст может быть подвергнут произвольным изменениям по усмотрению индивида. Стемма — элемент системы и содержится в памяти индивидов. Текст — элемент внешней лингвокультурной базы языкового сознания.

Текст — чрезвычайно удобный способ внешней фиксации модели при производстве и редактировании дискурса больших объемов, заведомо превышающих объем оперативной памяти человека, тот порог, за которым мысленное многократное и разнообразное редактирование дискурса становится невозможным. Текст позволяет сделать дискурс обозримым, а работу с ним — неограниченно продолжительной.

Ранее мы подвергли рассмотрению виды дискурсивных моделей в порядке их регистровой градации, где модель высшего порядка строится на базе низшей, обращая ее в свой материал. При этом происходит восхождение от наиболее простого, конкретного и единичного ко все более сложному, абстрактному и генерализованному.

Для того, чтобы дать типологическое разграничение моделей, нам необходимо произвести дальнейшее уточнение принципов их построения.

Рефлексия, опираясь на язык, действует в согласии с принципами симметрии. Подчеркнем, что деятельность рефлексии не детерминирована принципами симметрии, а именно *согласуется* с ними. Моделирование — это всегда преобразование, согласующееся в том или ином аспекте с принципами симметрии.

В ходе этого преобразования, в частности, проявляет себя закон сохранения симметрии, установленный Н. Ф. Овчинниковым [1971]: при понижении симметрии на одном структурном уровне она компенсируется на другом. В динамических системах этот закон проявляет себя следующим образом: «Структура старой фазы продолжает существовать в новой, но в преобразованном виде. Наоборот, элементы структуры новой фазы уже существуют в старой и лишь проявляются при фазовом переходе» [Шубников, 2004, 364].

При фазовых переходах отношения симметрии принимают динамический вид, проявляясь, в частности, как фазовая симметризация или диссимметризация структурных компонентов изменяющегося объекта. Именно на эти моменты, существенные для формирования моделей, мы обратим прежде всего наше внимание.

Симметризация — это преобразование, состоящее в *уподоблении* одного объекта другому в том или ином отношении. Объекты эти могут быть самой различной природы. Диссимметризация дает эффект *расподобления*. В частном и наиболее важном для нас случае — это расподобление объекта по отношению к самому себе (или к собственной копии).

Симметризация лучше всего иллюстрируется теми случаями, когда один и тот же прообраз выражается разными языковыми формами или когда разные прообразы выражаются одной и той же языковой формой.

1. В первом случае прообраз является константой — выступает как **прототип**, которому уподобляются языковые средства, подгоняются под него как строительный материал будущей модели. Построение модели диктуется прототипом, определяющим выбор и адаптацию языковых средств, что дает выражение прообраза в терминах языковой системы. Использование разных типов операторов дает различное перекодирование прообраза и его отличные друг от друга дескриптивные **модели-версии**. Построение модели-версии аналитическое: континуум прообраза сканируется в терминах языковых операторов. Полученные дескрипции могут значительно расходиться по своему содержанию, так как создаваемый образ строится из тех средств выражения, которые избирает говорящий или которые оказываются ему доступными. Естественно, что каждая версия не будет полностью отражать смысловой инвариант. Версии, как правило, дополняют друг друга.

Прототип активизирует комбинаторные потенции языка на всех его уровнях. Предельными и вырожденными случаями здесь можно считать схему и копию. Схема — наиболее обедненная версия прообраза. Копия — его полное обращение, буквальное повторение, удвоение, при условии использования точно такого же материала. Языковыми средствами возможно дать полное обращение (копию) только языкового же прототипа. Сюда можно отнести, например, прием заимствования слова или выражения при переводе (его перенос из оригинала в текст перевода). Перевод с одного языка на другой может быть выполнен в ряде версий.

2. Во втором случае объект, подлежащий моделированию, уподобляется языковому средству, взятому как константа. Этот случай относится к калибровочной симметрии второго рода, когда языковой оператор действует как экстраполятор, сообщая объекту свой смысловой заряд. Тем самым перцептивный прообраз оказывается представленным через языковую форму. Происходит удвоение объекта, но не имитирующее его собственные качества, а утверждающее его ценностные характеристики в системе человеческой деятельности. В результате полученный образ, или **модель-экстраполяция**, оказывается не описанием объекта, а его эвалюативным аналогом, который ставится в соответствие исходному объекту.

Такое обращение объектов, связанных с ситуацией деятельности, в своего рода эвалюативные дубликаты проявляет себя, например, в образовании первичного значения слова, в основе которого лежит образ взаимодействия человека с предметом, предпочтительный в обычной (типовой) ситуации, где предмет — это прежде всего то, что следует схватить, что следует привести в движение, чем надо рубить, сверлить или резать, что следует воткнуть, что следует расщепить, что надо произвести и т. д.

Множество предметов оказываются представленными в языковом сознании через одну и ту же словесную модель-экстраполяцию, если они наделяются в ситуации деятельности одной и той же функцией. Множество ситуаций могут быть представлены через одну и ту же дискурсивную модель-экстраполяцию, принявшую вид паремического высказывания с расширительным смыслом. Смыслом аллегорической паремии является не образ реальности, а социальная эвалюация той или иной ситуации.

Модели, полученные на основе симметризации, относятся к **аналогическому** типу. В их образовании участвуют процедуры анализа и синтеза.

При диссимметризации можно выделить два случая расподобления:

1. К некоторой базовой величине, взятой в качестве языкового материала, применяется оператор, определяющий изменение исходной структуры — расподобление, что дает, в результате **модель-дериват**. Применение одного и того же оператора к разным базовым величинам дает дериваты одного и того же структурного типа. Применение разных операторов к одной и той же ба-

зовой величине даст производные разных типов. Все они будут соотноситься с базовой величиной как со своим архетипом, содержащимся в их «внутренней форме». Хотя истинный архетип как первичная *непроизводная* величина может быть глубоко упрятан во «внутренней форме» деривата, если она носит многоступенчатый характер. Дискурсивная модель-дериват отличается от базовой языковой стеммы-архетипа в структурном и в смысловом отношении.

2. Исходная величина сохраняет свою структуру в качестве инварианта, подвергаясь действию языковых операторов, создающих для нее матричный контекст, что образует **модель-трансполент**. Расподобление здесь реализуется как семантическое расщепление исходной языковой формы. Смысловое расподобление может повлечь некоторые вариации в форме базовой стеммы-архетипа, не затрагивая, однако, ее структурного инварианта.

Обе эти модели имеют каталитическую природу. При деривации катализ происходит за счет внедрения в исходное выражение некоторого оператора, изменяющего форму, при трансполяции — за счет применения к нему контекстной матрицы.

Модели, построенные на принципе диссимметризации, относятся к **гомологическому** типу. Модель-дериват гомологична своей базовой стемме и, в пределе, — архетипу как непроизводной величине. Все модели-трансполенты тоже гомологичны своей базовой стемме, хотя в основе их порождения лежит калибровочная симметрия, связанная с моделями другого типа, о котором речь пойдет ниже.

Указанный выше принцип сохранения симметрии должен быть дополнен принципом Кюри, согласно которому симметрия объекта определяется симметрией среды, ее калибровочным воздействием. Между динамической средой и объектом, попавшим под ее воздействие, устанавливаются отношения типа *симптосимметрии* (симметрии взаимной дополнительности). Сочетание параметров среды создает определенную конфигурацию — калибровочную матрицу, под которую подстраивается то фазовое пространство, которое попадает в фокус действия этой конфигурации.

В деятельности сознания, как уже об этом говорилось, калибровочная матрица действует как метатип, образованный сопряжением противоречивых перцептивных образов. Неразрешенное противоречие локализует некоторую *лауну* в пространстве языкового сознания, подлежащую заполнению согласно закону *компенсации симметрии*, для чего необходима более тонкая работа рефлексии по интерполяции полюсов данного сопряжения. Если это удастся, то рефлексия выстраивает амфисимметричную дискурсивную структуру, интерполирующую две несимметричные инстанции, реализуя тем самым принцип компенсации симметрии через производство дискурсивной модели.

Получаемая при этом **модель-интерполент** оказывается фазовой репликой на индуцировавшую ее параметрическую матрицу метатипа. Модель-интерполент, по определению, симптосимметрична по отношению к своему калибровочному метатипу.

Но параметрическая калибровочная матрица может быть образована и сопряжением метастабильных языковых форм, создающих смыслопорождающий фокус. Такая структура обеспечивает имманентные механизмы калибровки фазового пространства сознания, выступая в качестве комплексного оператора моделирования. Она реализуется в речи как дискурсивная **модель-метатип**.

Самая общая характеристика этой модели такова: она выражает, но не обязательно обозначает, или она выражает не то, что непосредственно обозначает, индуцируя некий **сопряженный** смысл. Модель-метатип открывает простор для игровой импровизации.

Метатип может состоять только из диктальных сущностей, которые выражают нечто, но ничего не обозначают. Метатипичны «дыр бул щил /убежур» А. Крученых и «заумные» пассажи В. Хлебникова: *Гагагага гэ-гэгэ! /Гракахата гороро /Лили эги, ляп, ляп, бэмь. /Лилибибиби нираро...*

В отличие от предшествующих моделей, каждая из которых создает некоторую «картину» реальности, метатип создает рамку, контур для картины. Иногда эта рамка художественно оформлена. Это всегда матрица, которая формирует смысл, но не денотативным способом, хотя может использовать в качестве своего материала денотативно определенные образы. Сюда относятся и вопросительные конструкции, и загадки, выдвигающие «преформы» для подстановки неизвестных величин.

Эта модель выполняет функцию, сравнимую с функциями абстрактных языковых операторов: союзов, предлогов, аффиксов, отрицания и других модальных операторов, глаголов действия и отношения. Элементы метатипа постоянно вмешиваются в другие построения, что заставляет думать о фундаментальном характере именно модели-метатипа. Это единственная модель, способная представить то, чего нет — ввести смысловую лакуну в дискурс через отрицание и увести от представления реального пространства в пространство ментальное. Примеры тому — отрицательные выражения. Когда мы говорим: *нет дождя; поезд не пришел; никто этого не знает*, мы совершенно не думаем о том, что пользуемся не версиями реальности, а ее метатипами. В самой природе не существует никаких «не», точно так же как и не существует никаких противоречий. Многие дискурсивные эллипсы тому пример. Пустые ячейки высказываний говорят о принципе метатипа. Все говорящие молчания (*Cum tacent — clamant*) — это случаи модели-метатипа.

Модель, построенная на противоречии, — самый важный пример модели-метатипа.

Смыслом паратрактивной конструкции, в частности, разного рода паралогизмов, небылиц, загадок, является не само противоречие и не «бессмысленность». Смысл здесь — это то, что могло бы быть разрешением противоречия. Это сопряженный смысл. Основное назначение метатипа — в создании сопряженных смыслов — «синергий». То, что паралогическое утверждение расценивается как нечто нелепое, не исключает умственной активности по поиску вероятного сопряженного смысла — основания, оправдывающего паралогизм. Основание может быть подыскано даже для небылицы; например, *слепой увидел, немой закричал*. При наличии некоторых условий и слепой может прозреть, а немой заговорить.

В загадках тоже требуется найти основание странного сближения далеких друг от друга объектов; в загадке поиск направлен на величину, вероятную при заданных параметрах: *Крыльями машет, а подняться не может → Ветряная мельница; Без тела — говорит оно, без языка — кричит → Эхо*.

Множество загадок и небылиц хранятся как стеммы-метатипы в сознании, образуя своеобразный полигон для тренировки дискурсивной рефлексии в сопряжении и осмыслении логически несовместимого.

Модель-метатип противостоит моделям аналогического и гомологического типов.

Представляя собой калибровочную параметрическую матрицу, она является **номологической**. Она носитель **номоса** — контекстно-матричного принципа управления смыслом. К номологическому типу относится и модель-интерполент, находящаяся с моделью-метатипом в отношении симптосимметрии.

Если модель-метатип действует в автономном режиме, то она реализует свое смыслопорождающее свойство. В составе дискурсивного контекста метатип — это уже контекстная матрица, вызывающая изменение смысла, семантическую перекалибровку других единиц, попадающих в фокус ее действия. Метатип, взятый в качестве контекстной матрицы, способен так подействовать на денотативно определенное выражение, что оно будет означать совершенно не то, что привычно означает. Единица, попадающая в фокус метатипа, испытывает, в соответствии с принципом Кюри, диссимметризацию, переориентируется, подстраиваясь к своему метатипу. Один из распространенных каталитических эффектов при этом — контекстная трансполяция языковых выражений, которая дает также упомянутую выше модель-трансполент. Таким образом, модель-метатип в качестве контекстной матрицы представляет собой контекстный трансполятор смысла.

Попадая в разные контекстные матрицы и, следовательно, в разные номосы, одно и то же высказывание подвергается трансполяции. Разные метатипы придают ему разные смыслы. Например, французская фраза

Les enfants vont à l'école, в зависимости от своего номологического определения может означать: 1) 'дети ходят в школу', 2) 'дети идут в школу', а также 3) 'дети всегда ходят в школу'.

В результате транспозиции образуется ряд высказываний, находящихся в отношении **аллономии** — одинаковых по форме, но различных по смыслу. Ср. аллономию русской фразы *Он играет на скрипке*: 1) 'он умеет играть на скрипке' и 2) 'он сейчас играет на скрипке'.

Аллономами будут паремия *Штопай дыру, пока невелика* и бытовая рекомендация *Штопай дыру* (на свитере), *пока не велика*; ср. паремию *Немазанное колесо скрипит* и замечание о неисправности — *Немазанное колесо скрипит*.

Наоборот, разные выражения, относясь к одной и той же контекстной матрице, выражают один и тот же смысл, т. е. находятся в отношении **изономии**, например: *Он хорошо играет на скрипке* и *Он хороший скрипач*; ср. также паремии: *Куй железо, пока горячо* и *Коси коса, пока роса*.

В номологическом плане сопоставимы и паремии, принадлежащие разным языкам.

При тождестве номосов (этнокультурных контекстов) в разных языках выражение одного и того же смысла разными формами дает **изономию**: рус. *И волки сыты, и овцы целы* и фр. *Ménager la chèvre et le chou* ('угодить и козе и капусте').

При их несовпадении одна и та же форма выражает разные смыслы, что дает **аллономию**: ср. рус. *Водить кого-либо за нос* ('обманывать'), но фр. *Mener quelqu'un par le bout du nez* ('полностью подчинить себе', хотя дословно — 'вводить за кончик носа').

К явлениям транспозиции как семантической перекалибровки единиц относятся и разнообразные случаи контекстного переосмысления высказываний, и сдвиги в значении слов — нормативные и окказиональные. Многие привычные единицы в языке устойчиво сохраняют свою полисемию и существуют в таком качестве только за счет возможностей контекстной транспозиции. Метафора и метонимия — результаты той же контекстной перекалибровки.

Метонимия — это аллономическая калибровка, т. е. семантическое расподобление единицы посредством помещения ее в разные контексты, ср.: *язык — орган речевой артикуляции* (англ. *tongue*), *язык — средство общения* (англ. *language*).

Метафора — **изономическая** калибровка, т. е. семантическое уподобление разных единиц, помещенных в один и тот же контекст; ср. *На ветках блестели капли росы* — *На ветках блестели бриллианты росы*.

Из всех лингвистов XX века только З. Хэррис в своем дистрибутивном анализе дискурса дошел до уровня калибровочной контекстной матрицы.

§ 6. Базовая аксиоматика языкового сознания

Рассматривая язык как систему ценностей, следует рассуждать о нем не только в плане формальных синтагматических и парадигматических отношений, но и в плане содержательных отношений, возникающих между его единицами как выразителями ценностей мира, то есть в аксиологическом плане. Эти ценности ($\alpha\xi\iota\alpha$) представлены в лексике как отдельные величины. Высказывание, выражающее отношения между ценностями, является **аксиомой** ($\alpha\xi\iota\omega\mu\alpha$) в самом общем смысле этого слова, если оно принимается в качестве исходного для построения дискурса или организации деятельности.

Аксиомы — это не только «утверждения, принимаемые без доказательств», это соотношения значимых единиц, запечатленные в корпусе типовых высказываний, которые создает и которыми оперирует языковое сознание при отражении мира и управлении деятельностью человека.

Аксиомы как устойчивые предикативные единицы языка представляют интерес как в функциональном плане, так и в конструктивном — в качестве сегментов дискурса.

В аксиоматике языкового сознания можно выделить два класса аксиом:

- **базовые аксиомы**, кристаллизованные в языке;
- **оперативные аксиомы**, которые могут строиться и использоваться в дискурсе, не переходя в разряд регулярных языковых единиц.

Базовая аксиоматика сосредоточена, в частности, в паремических единицах языка, а также в других единицах, регулярно воспроизводимых и определяющих видение мира человеком и его поведение; все эти единицы, представляющие собой языковые стеммы, при их использовании в функции базовых аксиом выступают как **аксиостеммы**. Те же стеммы, как мы знаем, могут использоваться и не в аксиоматическом плане, а в чисто конструктивном — в качестве материала для построения разных по смыслу высказываний.

В базовую аксиоматику входят, прежде всего, фундаментальные соотношения между ценностями, оформленные как элементарные **тавтологии** и **паралогизмы**. Они находят свое выражение в соответствующих высказываниях, которыми, несмотря на то, что они чаще всего выглядят в речи, как абсолютно банальные формулировки, вовсе не следует пренебрегать при описании деятельности языкового сознания.

Эти формулировки призывают, в частности, соблюдать принцип единообразия в языке (*Il faut appeler un chat un chat* — *Надо называть вещи своими именами*) и, в то же время, учитывать неоднозначность мира (*Il y a des manières et des manières* — *Манеры манерам рознь*).

В аксиомах-тавтологиях утверждается либо тождество, либо неравенство величин по их соотносительной силе (достоинству). К ним относятся:

- тавтология тождества: $A = A$ (величина равна только самой себе): *Ребенок есть ребенок; Солдат всегда солдат; Что сделано, то сделано;*
- тавтология неравенства: $A \neq B$ (одна величина не равна другой величине): *Попытка — не пытка; Бедность не порок; Жизнь прожить — не поле перейти.*

Тавтология тождества утверждает за величиной статус константы и всякий раз подтверждает этот статус, сопоставляя величину с самой собой: A всегда есть A и только A .

Тавтология неравенства имеет сравнительные варианты, отражающие порядковые (степенные) отношения неравносилности между ценностями:

- $(A > B) = A$ сильнее, чем B ;
- $(A < B) = A$ слабее, чем B .

Отсюда мы имеем аксиомы, утверждающие сравнительное неравенство ценностей по их достоинству: *Лучше поздно, чем никогда; Лучшие синица в руке, чем журавль в небе; Старый друг лучше новых двух; Одна голова хорошо, две — лучше; Время — лучший лекарь; Хуже всех бед, когда денег нет; Хуже всякого глухого тот, кто не хочет слышать.*

Паралогизмы как элементарные компоненты аксиоматики противостоят тривиальным логическим тавтологиям, противоречат им, разрушают очевидные и непосредственно данные в опыте отношения. Если тавтологии обеспечивают устойчивость, консерватизм системы, то паралогизмы дают импульс к ее развитию, к порождению новых смыслов; в этом плане они оказываются важнее, чем аксиомы-тавтологии. Паралогизмы — носители изначального принципа противоречия, принадлежащего языку как динамической системе. Они способствуют многократному усилению выразительности языка при ограниченном количестве используемых языковых средств.

Паралогизмы обобщают парадоксальные соотношения между величинами:

- парадокс отождествления различного, или «нетождественное равенство», $A = B$: *Время — деньги, Жизнь — театр, Как посеешь, так и пожнешь;*
- парадокс расщепления единого, «тождественное неравенство», $A \neq A$: *Сколько голов, столько умов; фр.: Autant de têtes, autant d'avis.* Сюда относятся и все высказывания со странным употреблением оператора «и», создающим диссоциацию единого: *Бывают поэты и поэты; Бывает любовь и любовь; фр. Il y a des manières et des manières;* смысл их в том, что одна и та же величина проявляет себя по-разному. Тож-

дественное неравенство может быть доведено до антиномии: *Язык мой — друг мой, язык мой — враг мой.*

Заметим, что многие выражения паралогического происхождения вовсе не воспринимаются как странные, они выглядят как совершенно нормальные и привычные, хотя и продолжают отождествлять различное (*Время — деньги*) и разрушать тождество (*День на день не приходится*). При этом о нетождественном равенстве ($A = B$) просто говорят как об эквивалентности.

Подобные выражения переходят в разряд привычных, утверждаются в качестве таковых в силу того, что говорящий владеет ключом к их расшифровке, т. е. всегда подразумевается некоторое дополнительное основание, условие, правило, или закон — **номос**, оправдывающий паралогичность конструкции, дающий возможность обратить ее в регулярную аксиому. Паралогизм претерпевает нейтрализацию, оказываясь в составе аксиомы с номологическим параметром:

$A = B$, при C — « A равносильно B , при выполнении условия C »;

а также:

$A \neq A$, при C — « A не равно самому себе, при выполнении условия C ».

Условием равносилности или неравносилности может быть место, время, общее происхождение или взаимозависимость сопоставляемых сущностей, причем во многих случаях данное условие не формулируется специально, но подразумевается: *Учение — свет; Какое дерево, такой и плод; Что посеешь, то пожнешь; Клин клином вышибают; За одного битого двух небитых дают; Что ни город, то норы.* Эти аксиомы — результаты опыта, непосредственных наблюдений. Само же условие их действительности нередко требует глубокого осмысления.

Аксиомы неравносилности — « A сильнее (слабее), чем B » — трансформируются в высказывания, выражающие зависимость и влияние одного объекта на другой. Эта трансформация происходит путем обращения одной величины в условие для другой: « A является условием для B », что имеет следующие варианты:

- A является условием появления/исчезновения B ;
- A является условием изменения/неизменности B ;
- A является условием выполнения B , ср.:

Есть цветочки — будут и ягодки; Нет дыма без огня; Кто ищет, тот найдет; Где тонко, там и рвется; Где согласие, там и победа; Капля камень точит; Копейка рубль бережет; Любишь кататься — люби и саночки возить; Взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Многие пословицы выражают также валидность действия (или оценки) при заданном, сформулированном условии: *Куй железо, пока горячо; Ломи дерево, пока молодо; Лиха беда — начало; Всякому овощу свое время; Друг в беде — настоящий друг; Победителей не судят; Собака, которая лает, не кусает.*

Все аксиомы с номологическим параметром выражают одну и ту же общую идею: Утверждение «А» действительно, при условии «В», что можно выразить общей формулой: «А действительно, при В».

Для паралогизмов, фиксирующих совмещение несовместимого, например, *Носить воду решетом; Писать вилами по воде; За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь*, тоже можно дать общую формулу: «А не действительно, при В».

К единицам базовой аксиоматики языкового сознания относятся прежде всего паремические микродискурсы (пословицы, поговорки, загадки) и макродискурсы (притчи, сказки), обладающие в системе наибольшим консерватизмом. Кроме паремических дискурсов в базовую аксиоматику входят микродискурсы, обобщающие тривиально известные знания о мире — результаты практического опыта и научно установленные факты; среди них народные приметы, трюизмы, и другие высказывания с общим смыслом: *Волга впадает в Каспийское море; Земля вертится; Осенью птицы улетают на юг*, и т. п. Все подобные высказывания о действительности прошли этап санкционирования общественным сознанием. В свое время формулировка *Земля вращается вокруг Солнца* не была аксиомой, напротив, это было дерзкое высказывание, противоречащее практическому опыту восприятия мира.

Базовая аксиоматика языкового сознания имеет несколько источников расширения. Во-первых, это имманентное расширение, за счет построения новых дискурсивных моделей, которые затем переводятся в статус базовых аксиом. Во-вторых, это внешняя текстовая база языка — корпус дискурсов, зафиксированный в виде текстов, принадлежащих к данной языковой культуре. Тексты, вошедшие полностью или частично, в состав языковой аксиоматики из внешней лингвокультурной памяти, характеризуются как «прецедентные» тексты [Караулов, 1987; Слышкин, 2000]. Среди них видное место занимают общеизвестные и воспроизводимые в точности или с вариациями тексты литературы. Будучи выразителями тех или иных соотношений между ценностями, они одновременно являются и запечатленными в сознании образцами построения дискурсивных моделей. В-третьих, это межязыковые заимствования. Факты обращения к текстам на других языках заслуживают особого внимания. Это могут быть не только общеизвестные тексты, но и совершенно неизвестные для данного социума тексты-прототипы, которые нередко претерпевают значительную трансформацию, получая не только переводные версии, но и коренную переработку, отрываясь от породившей их культуры.

§ 7. Оперативная аксиоматика дискурса

При построении дискурса на первый план выдвигается его **оперативная аксиоматика**, устанавливающая отношения между теми разнообразными величинами, которые вводятся в дискурс по воле говорящего вне зависимости от требований системы, а иногда и вопреки социально санкционированным правилам и нормам.

Построению дискурсивной модели любого регистра всегда предшествует или сопутствует ряд допущений, определяющих, в частности, меру соотношения данной модели с реальностью. Оперативные допущения могут быть заданы словесно, в виде оговорок, например, в научном рассуждении — при посредстве таких операторов, как *представим себе, допустим, как известно*. В других случаях они подразумеваются. Читатель чаще всего о них догадывается, исходя из характера оформленности самой модели. Так, уже по началу текста можно догадаться о том, что последует фольклорная сказка, благодаря характерной для нее стереотипной интродукции: *Жили-были старик со старухой, и было у них три сына...*

В дискурсе языковая стемма может получить свой динамический аналог — **реому**, в которой исходные свойства и отношения транспонированы в процессы, в фазовые состояния и фазовые переходы. Так, стемма *Писатель пишет романы*, имеющая обобщенный смысл, может быть транспонирована в событийное высказывание, в реому, например: *Этот писатель пишет романы* или *Писатель начал (закончил) писать роман*.

Реома, в свою очередь, может быть обращена в оперативную аксиому, если она выступает в качестве посылки для дальнейшего дискурсивного построения, т. е. в **аксиореому**. Среди аксиореом повествовательного дискурса обычны такие, которые, в противоположность событийным по содержанию реомам, выражают общее положение дел.

Системная аксиостемма отличается тем, что выражает типовые отношения между ценностями, например, в стемме *Художник рисует картины* обобщенно представлены профессиональное свойство и типовое действие субъекта. Реома дает событийное представление конкретного действия: *Художник рисует картину*. Для аксиореомы характерно представление некоторого положения дел или состояния героя повествования: *Художник в последнее время совсем не рисует картин*.

В повествовательном дискурсе аксиореомы задают место, время действия, вводят его актантов, ср. начало одной из новелл у А. Моруа:

En 18... un étudiant s'arrêta, rue Saint-Honoré, devant la vitrine d'un marchand de tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet: *la Cathédrale de Chartres*. Manet n'était alors admiré que par quelques amateurs, mais le passant avait un goût juste... (A. Maurois. La Cathédrale)

Все высказывания этого фрагмента — аксиомы. В них заданы с нужной степенью определенности время (*En 18...*), место действия (*rue Saint-Honoré*) и почти все актанты данного дискурса (*étudiant, marchand, toile de Manet*), а также аксиома-предпосылка к развитию действия (*Manet n'était alors admiré que par quelques amateurs*).

По мере необходимости в дискурсе используются и базовые аксиостеммы, либо как отправные точки, либо как смысловые обобщения, что особенно характерно для жанра басни. Кроме того, привлекаются и аксиомы расширенной текстовой базы — аксиолеммы. Это, как правило, цитаты или перефразированные высказывания из письменных источников, служащие в качестве дополнительных опорных компонентов. По ходу развития дискурса некоторые из его аксиом, утрачивая свою валидность, могут быть отменены, заменены другими, действующими на следующем отрезке дискурса.

Языковая аксиоматическая база претерпевает в дискурсе разного рода превращения. Некоторые аксиостеммы продолжают использоваться, не изменяя своего системного статуса, то есть, как генерализованные высказывания. Другие же подвергаются обращению в событийные высказывания. Наблюдается и обратный процесс: обращение событийных высказываний в аксиостеммы. В мифе, например, как об этом говорится у Я. Э. Голосовкера [1987, 40], «все — аксиома и, наоборот, все общепринятые аксиомы могут быть отброшены». Сказанное справедливо в той или иной мере для модели любого порядка, а не только для модели ирреальности с ее имманентной паралогикой.

Характер фазовых отношений между ценностями существенно влияет на построение дискурса: одни ценности остаются действительными величинами на протяжении всего дискурса, другие действительны лишь на протяжении отдельных его отрезков. Третьи лишь на мгновение появляются в семантическом пространстве и исчезают. Поэтому об оперативных аксиомах дискурса следует говорить с учетом фазовой динамики его смысла. Точно отграничить оперативные аксиомы от неаксиом можно только в составе дискурса, в контексте которого одно высказывание становится основанием (аксиомой) для построения другого. Несомненная реома в контексте может, по усмотрению автора, приобрести функцию аксиомы, если она послужит посылкой для развития дискурса. Даже в составе одного и того же дискурса аксиоме может противостоять сходная с ней реома, например: *Его сестра играет на фортепьяно* (аксиома 'умеет играть'). *Это его сестра сейчас играет на фортепьяно в соседней комнате* (процессуальная реома).

Вообще говоря, в зависимости от контекста, высказывание с одной и той же формой может претерпеть в речи множественную транспозицию. Например, для стеммы «*в горах сходят лавины*» возможен ряд двойников-аллономов, в частности, это может быть:

- реома: *В горах сходят лавины* (Смотрите!);
- аксиома — *В горах сходят лавины* (И уже разрушены дороги);
- аксиолемма — *В горах сходят лавины* (Это возможно);
- аксиостемма категориального порядка — *В горах сходят лавины* (Это — истина);
- стемма-аллегория — *В горах сходят лавины* (Большое дело сопряжено с риском).

К этим аллономиям можно присовокупить и другие, например, стемму-фантазмагорию: *В горах сходят Лавины* (где Лавины — некие фантастические чудовища).

Но эта же стемма может выступать и в коммуникативной функции, выражая и буквальные, и суггестивные смыслы, например:

- сообщение (Знайте!),
- предупреждение (Будьте осторожны),
- намек (Туда ехать не надо),
- запугивание (Откажись от путешествия!),
- сомнение (Так ли это?),
- пренебрежение (Ну и что же? Подумаешь!),
- подтекст (Оставайся дома), и пр.

Не следует забывать о том, что любое паремическое выражение, имеющее сегодня системный статус и регулярно воспроизводимое, в свое время возникло в конкретном дискурсе как инновация, как однократное высказывание в мифе, басне, притче или другом произведении. Для значительного числа таких выражений известен их дискурсивный первоисточник. Среди них выражения библейского происхождения (*Возвращение блудного сына; Вавилонское столпотворение*) и выражения из басен (*Ай Моська, знать она сильна...*), а также литературно-хроникальные (*Перейти Рубикон*) и литературно-поэтические (*Вернемся к нашим баранам; Остаться у разбитого корыта*).

Важно, что такого рода выражения *свертывают* в себе смысл исходного дискурса и затем, оторвавшись от своей исконной почвы, продолжают быть его носителями уже в качестве независимых, автономных единиц, хранящихся в языковом сознании, в его «дискурс-алфавите».

Значимость единиц языковой аксиоматики не ограничивается чисто формальными признаками. Приобретая системный статус, каждый микроили макродискурс представляет собой высказывание, носящее сверхличностный характер и обладающее, вследствие этого, непререкаемой авторитетностью в коммуникативном процессе. Часто это азбучная истина, возражать которой бессмысленно, разве что, приводя другой не менее авторитетный элемент аксиоматического корпуса в качестве контрвысказывания.

Выводы по главе VII:

1. В языковой системе мы наблюдаем образования, представляющие собой различные фазовые состояния субстанции: реоморфные (звуко-тональные) и аморфные (междоментные выражения), гранулированные (лексика), кристаллизованные, амфиморфные (гибкие), стереотипные, клишированные, амальгамы.
2. В диахронии языковая система выглядит как фазовая траектория, а в синхронии как фазовый спектр, состоящий из совокупности форм, имеющих разную степень пластичности и разную скорость изменений. В эволюции языковых образований есть две противоположных тенденции: в сторону кристаллизации и в сторону клиширования, с деградацией форм.
3. При длительном устойчивом взаимодействии несимметричных по отношению друг к другу динамических систем происходит наработка промежуточной адаптивной системы, амфисимметричной по отношению к каждой из симметризуемых ею систем. Язык образуется как адаптивная система, обеспечивающая фазовую синхронизацию деятельности субъекта и процессов, происходящих в мире.
4. Рефлексия — это психический аналог игрового взаимодействия человека с миром, спонтанного балансирования субъекта в динамической среде, это саморегуляция субъекта относительно динамики образов ситуации. Рефлексия нарабатывает в континууме сознания «остров» из метастабильных образов взаимодействия субъекта с объектом, что и образует в итоге языковую систему как метастабильный компонент сознания.
5. Языковые инновации возникают как эффект смысловой калибровки звуковой субстанции и образованных в ней форм. Они имеют тенденцию к фиксации и самоподобной редупликации посредством автокатализа. Возникшие дискурсивные формы фиксируются в системе как метастабильные динамические константы — стеммы. Внешним, физическим аналогом стеммы (психической единицы) является текст — письменная копия дискурса. Текст позволяет сделать дискурс зримым и удобным для редакционной обработки.
6. Моделирование — это преобразование, согласующееся с законом сохранения симметрии. Языковая стемма может выступать в качестве прототипа (константы), архетипа (базовой производной величины) или метатипа (калибровочной матрицы). На основе симметризации — по принципу уподобления образа и прообраза — образуются аналогические модели (версия и экстраполяция). На основе диссимметризации — по принципу расподобления исходной величины — образуются гомологические модели (дериват и трансполент). Модель-метатип

создается посредством комбинаторики языковых единиц как параметрическая (контекстная) матрица. Модель-метатип, как и симптосимметричная по отношению к ней модель-интерполент, является номологической. Модель-метатип действует также как контекстный трансполент, образуя формы, находящиеся в отношении аллономии.

7. В аксиоматике языкового сознания используются два класса аксиом: аксиостеммы — базовые аксиомы, кристаллизованные в языке, и аксиреомы — оперативные аксиомы, строящиеся в дискурсе. Фундаментом базовой аксиоматики являются элементарные тавтологии и паралогизмы. Она включает паремии и высказывания, обобщающие тривиально известные знания о мире, и имеет внутренние и внешние литературные источники расширения. Аналогом языковой стеммы в дискурсе может стать высказывание-реома с событийным смыслом. Реома может приобрести функцию аксиреомы — авторского установления отношений между ценностями. В контексте дискурса высказывание может претерпеть разнообразную трансполяцию, образуя высказывания-аллономы. Отдельная реома может быть фиксирована в системе как базовая аксиома.

ГЛАВА VIII

Самоорганизация дискурсивных структур

§ 1. Процедуры рекурсии и дискурсии: уподобление и расподобление

Как уже нами отмечалось ранее, нелинейные моменты заявляют о себе тогда, когда фазовая траектория дискурса претерпевает расщепление. В результате примитивно рекурсивный характер, свойственный чисто линейному построению, образованному путем последовательного присоединения элементов, становится собственно *дискурсивным* — расходящимся, разветвленным. Само слово «дискурс» (фр. *discours* от лат. *discursus*) этимологически означает 'разбегание, разветвление, противопоставление'. На общей линейной основе, соответствующей линейности речевого канала, создается расходящийся дискурсивный узел. При многократном расщеплении фазовой траектории, каждый полученный сегмент является фазой в составе более крупного сегмента (синтагмы), что в итоге дает фрактальную структуру дискурса, состоящую из вложений одних сегментов в другие. Это телескопическое, самоподобное строение дискурса, предоставляющее возможность сравнительно легко свертывать дискурсивную структуру в ретракты различного объема (вплоть до отдельного высказывания, словосочетания и слова), обусловлено тем, что в основе всей дискурсивной конструкции лежит процедура рекурсии. Намеченное разграничение понятий рекурсии и дискурсии, разумеется, требует уточнения.

Мы исходим из того, что рекурсивная процедура построения модели состоит в многократном применении *одного и того же оператора* к исходной языковой базе. Именно рекурсия лежит в основе фундаментальной фазовой прогрессии дискурса, которая создается посредством многократного присоединения эпифазы к профазе. Рекурсия всегда создает самоподобные структуры. Все случаи повторения слов и повторения структур связаны с рекурсией. Фрактальное (телескопическое) строение дискурса — результат действия рекурсии.

Суть дискурсивной процедуры заключается в последовательном применении к базовой единице *разных операторов*, что, вообще говоря, вносит нарушения в фундаментальное самоподобие структур. В ходе ветвления дискурсивной структуры возникают явления формальной и смысловой дивергенции.

В противоположность линейно действующей рекурсии, дискурсия действует нелинейно, создавая расщепления, разветвления фазовой траектории речи, но также и сходящиеся дискурсивные узлы. Можно также сказать, что рекурсия — это частный случай дискурсии, тяготеющий к монотонному построению. Поэтому рекурсию невозможно отличить от дискурсии, если мы имеем дело только с одним оператором, применяемым к базе.

Если рекурсия определяет самоподобие языковых сущностей, то дискурсия создает их саморасподобление.

Произвольное рекурсивное перечисление еще не образует дискурса, например, последовательность междометий (*А! Эх! Ой!*), произвольный набор слов (*книга, шапка, приказ, столы*). Точно так же не образует дискурса и произвольный набор высказываний, например, поговорок. Для того чтобы образовался дискурс, необходима смысловая опора высказываний друг на друга либо в плане линейной, либо в плане полярной размерности, иначе не будет эффекта внутренней самоорганизации дискурса. Нет дискурса без дискурсии, но его нет и без рекурсии.

Когда в модели применяется многократно один и тот же оператор, то ее построение совпадает с фазовой прогрессией, где к профазе последовательно присоединяются новые эпифазы. Если параллельно вступает в действие другой оператор, то рекурсия продолжается лишь как присоединение на базовом уровне, но она отменяется на более высоком операторном уровне.

Вступающая в действие дискурсия никогда полностью не отменяет рекурсию, так как последняя неизменно выступает в качестве основы всего построения, реализуясь как самоподобие, в частности, на структурном уровне, при повторении типовой фразовой структуры: $N + V, N + V, N + V \dots$

Такая рекурсия может поддерживаться и на уровне лексического наполнения, например: *Кошка спит. Собака спит. Лошадь спит...* К лексической базе здесь применяется один и тот же оператор: *А, В, С — спать*. При другом варианте наполнения образуется собственно дискурсия, например: *Кошка просыпается. Кошка прыгает. Кошка играет...* В этом случае к одной и той же базовой величине (рекурсивно повторяемой) применяются разные операторы: *А — просыпаться, прыгать, играть*. Дискурсию мы всегда наблюдаем на фоне рекурсии.

В синтаксических построениях рекурсия может действовать по линии придаточных предложений — структурных вложений, образуя в литературном тексте чрезвычайно сложные конструкции [см. Анисимов, 1988, 164 и след.].

Если ограничиться простыми примерами, то можно обратить внимание на рекурсивную вложенность при цитировании и передаче чужой речи косвенным способом, ср.: *Он сказал: «Я приеду, когда найду время»* и *Он сказал, что придет, когда найдет время*. И та и другая конструкции имеют две ступени рекурсивного вложения: *А (что В (когда С))*. То, что оформлены они по-разному, в данном случае непринципи-

ально: рекурсия выполняется на уровне структурном, но не обязательно на уровне лексико-синтаксическом. Такая конструкция может быть расширена, например: *Я слышал, как он сказал, что придет, когда найдет время, которого у него мало.* Здесь уже четыре ступени рекурсивного вложения: А (как В (что С (когда D (которого E))))).

Каждая из ступеней рекурсии, вероятно, станет более очевидной, если приведенную выше сложную конструкцию разложить на простые: *Я слышал. Он сказал. Он придет. Он (возможно) найдет время. Времени у него мало.* Осуществляя такое разложение, мы одновременно как бы смещаем и тональность высказывания с нормативно-нейтрального уровня в сторону импульсивного, разговорно-бытового, где каждая фраза несет свое ударение и имеет ритмическую самостоятельность. В результате преобразования рекурсивные вложения на структурном уровне исчезли. Рекурсия сохранилась только на линейном фазовом уровне — на уровне операции присоединения и частично на структурном — в повторении типовой структуры предложения. Утрата рекурсии вложения обнажила организацию фрагмента по типу собственно дискурсии, где господствует разнообразие операторов: *слышал / сказал / придет / найдет / (имеется) мало.* Вместе с тем, и в последовательности простых конструкций рекурсия отчасти проявляет себя на лексико-синтаксическом уровне, в семантическом согласовании высказываний посредством лексических повторов: *он — он — он — у него; время — времени.*

Повторение как рекурсия — это прямой повтор, структурный или лексический, в том числе тавтология. Повторение в плане дискурсии — это синонимический и местоименный повторы, транспозиция и деформация (трансформация) высказывания. Операции контекстного свертывания и развертывания носят дискурсивный характер.

В литературном дискурсе, как об этом уже говорилось ранее, автор сравнительно редко говорит непосредственно от своего лица, рекурсивно порождая (в качестве вспомогательных операторов дискурса) своих посредников (рассказчиков), от лица которых как бы и ведется повествование. Введенный таким образом рассказчик может ввести своего собственного говорящего посредника, что даст рассказ в рассказе, а если тот введет и посредника третьего порядка, то в результате получится тройное последовательно рекурсивное вложение. Но, заметим, что *параллельное* порождение разных рассказчиков (как, например, у М. Ю. Лермонтова в «Герое нашего времени») уже представляет собой нелинейное явление, дающее дискурсивное ветвление и отход от самоподобного вложения. Очевидно, что рекурсия и дискурсия могут многократно чередоваться; рекурсивное самоподобие чередуется с дискурсивным ветвлением.

Таким образом, в комплексных дискурсивных структурах можно наблюдать разные уровни и аспекты взаимодействия рекурсии и дискурсии.

Рекурсия ответственна за *копирование* — точное воспроизведение готовой модели, за циклическое повторение, за структурное тождество языковых единиц. Дискурсия ответственна за *моделирование* — измененное представление копии, за расподобление и за комбинаторику языковых единиц.

Самоподобие — это единство уподобления и расподобления при формальной и семантической адаптации системной единицы к дискурсивному контексту. Поэтому даже в вырожденных случаях рекурсии, например, при прямом повторении выражений, в живой речи срабатывает, как правило, дискурсивный фактор, создающий некоторую поляризацию двух копий единицы, попавших в речевой канал, в результате чего они подвергаются дискурсивному *расподоблению* — смысловому, а затем и формальному.

В рутинной коммуникации рекурсия набирает силу, становится доминантной, нейтрализуя дискурсию, нередко создавая лишь иллюзию дискурса, состоящего на самом деле из копий избитых речевых оборотов, из штампов, клише и «чужих» слов.

Рекурсия — это вырожденный случай дискурсии, обеспечивающий динамическую устойчивость, себестождественность языковой системы.

В деятельности рефлексии рекурсия является сдерживающим фактором для творческого потенциала дискурсии, ограничивая его таким образом, чтобы формообразование и смыслопорождение не слишком далеко уходило от базовых аксиом языка и тем самым не превращало дискурс в нечто совершенно непонятное.

§ 2. Дискурсивное расподобление языковых единиц

Расподобление языковых единиц в дискурсе — это эффект их контекстной калибровки, приводящий к таким изменениям смыслового и формального плана, которые затем закрепляются в системе. В дискурсивном расподоблении лексических единиц можно выделить несколько случаев.

Прежде всего — это расщепление смысла слова без изменения его собственной формы и грамматических параметров, но только в результате трансполирующего эффекта разных дискурсивных контекстов. Характерные примеры — различная контекстная семантизация имен существительных, от конкретно-предметной до абстрактной и терминологической. Так, фр. слово *langue* 'язык', переходя из одного стандартного контекста в другой, получает разные смыслы: 1) Подвижный продолговатый орган, находящийся во рту: *la langue, organe du goût; lécher avec la langue.* 2) Плоский и вытянутый предмет: *langue de feu, langue glaciale* 3) Орган речи: *rôle de la langue dans l'articulation des sons; se mordre la langue.* 4) Система средств выражения и общения, присущая данному социуму (или индивиду): *langue parlée, écrite, langue maternelle, langue nationale et étrangère, langue littéraire, vulgaire, la langue d'un écrivain, d'un individu.*

Аналогично происходит и смысловое саморасподобление глагола в результате его дискурсивной транспозиции, приводящее к закреплению за одной и той же лексемой ряда производных значений:

arriver 'причалить' / 'прибыть' / 'случиться';
mener 'гнать' / 'вести' / 'управлять';
tirer 'извлекать' / 'тянуть' / 'стрелять';
verser 'опрокидывать' / 'наливать'.

Второй случай — это дискурсивное расщепление смысла без изменения формы слова, но с изменением его грамматических характеристик. Сюда относятся, в частности, случаи лексической дивергенции с изменением грамматического рода: нем. *das Band* 'лента, связка' и *der Band* 'книжный том'; *der See* 'озеро' и *die See* 'море'; фр. *la mémoire* 'память' и *le mémoire* 'научное сочинение'; *le mode* 'образ действия' и *la mode* 'мода'; *une aide* 'помощь' и *un aide* 'помощник'.

Сюда же примыкают и примеры синтаксически обусловленной амбивалентности глаголов языка, в которых разные фазовые характеристики действия выражаются одной и той же лексемой: фр. *monter* 'поднимать' и 'подниматься'; *finir* 'заканчивать' и 'заканчиваться'; *sortir* 'вынимать' и 'выходить'; *passer* 'проводить', 'проходить' и 'передавать, пропускать'; ср. англ. *to pass* с теми же значениями; *to end* 'заканчивать' и 'заканчиваться'; *to drop* 'падать' и 'ронять'. В русском языке смысловые дивергенции такого рода закреплены в морфологических показателях или же выражаются различными лексемами.

Третий случай — это расщепление значения, которому сопутствует изменение собственной формы слова — фонетическая диссимилиация — без изменения его грамматического уровня: нем. *Knabe* 'мальчик' и *Knappe* 'оруженосец'; *Reiter* 'всадник' и *Ritter* 'рыцарь'; *scheunen* 'бояться' и *scheuchen* 'пугать'; фр. *la chaise* 'стул' и *la chaire* 'кафедра'; *le col* 'воротник' и *le cou* 'шея'; *panser* 'связывать' и *penser* 'думать'; рус. языковой и языковой, снежный и снеговой, объять и обнять, слушать и слышать, вон и вне, и т. п.

Наконец, расхождение в дискурсивном употреблении приводит к изменению грамматического ранга слова. Сюда можно отнести примеры синтаксической конверсии: фр. *pouvoir* 'мочь' и *le pouvoir* 'власть'; *manger* 'есть' и *le manger* 'еда'. Такие примеры особенно многочисленны и разнообразны в английском языке: *to end* 'заканчивать' и *the end* 'конец'; *to cook* 'варить' и *the cook* 'повар'; *to drink* 'пить' и *the drink* 'питье'; *to drop* 'падать' и *the drop* 'капля'. При образовании имени от глагола происходит семантическое уплотнение слова.

Но грамматический ранг слова может изменяться и в сторону вырождения, или десемантизации. Классический пример семантического вырождения, приводящего к грамматикализации, — французское неопределенное

местоимение *on*, восходящее к ст.-фр. форме существительного *от* 'человек' (от лат. *homo*). Эта форма приобрела регулярное употребление в конструкциях типа *on parle*, *on dit*, *on chante*, вероятно, не без влияния немецкого языка, где такие конструкции были распространены и ранее (*man sagt*, *man singt*), с совершенно аналогичной грамматикализацией имени существительного *Mann* в значении 'человек'. Семантическое вырождение претерпели в европейских языках полнозначные глаголы со значениями 'иметь' и 'быть', участвующие в образовании аналитических временных форм, а также и другие глаголы, за которыми закрепились функции вспомогательных, например, глаголы со значением 'держат' (порт. *ter* от лат. *tenere*), а также со значениями 'желать' и 'становиться' (англ. *will*, нем. *werden*) при образовании сложной формы будущего времени. В русском языке вспомогательный глагол для образования сложной формы будущего времени (*буду*, *будем*) по своему происхождению не является глаголом бытия; он, по-видимому, восходит к полнозначному глаголу со значением 'побуждать' (ср. санскр. *budh* 'будить').

Многочисленны примеры грамматической десемантизации при образовании союзов и предлогов: рус. полнозначное *не смотря на* и предлог *несмотря на*; *в виду* и *ввиду*; *в течении* и *в течение*; *благодаря* (глагол. форма) и *благодаря* (предлог); *хотя* (глагол. форма) и *хотя* (союз); ср. французские десемантизированные формы в составе служебных слов: *grâce à*, *afin que*, *pourvu que* и т. п.

Все случаи дискурсивного расподобления без изменения собственной формы слова — это примеры аллономии лексических единиц, возникающей в результате калибровочного действия дискурсивной матрицы.

Контекстная аллономия слова может быть доведена до антиномии, например: *Язык мой — друг мой*, *язык мой — враг мой*; другой пример из стихотворения П. Элюара: *La nuit où l'homme se soumet / La nuit où l'homme se libère*.

Дискурсивное расподобление на уровне высказывания, как уже об этом говорилось, тоже дает аллономию единиц, например, паремия *Новая метла чисто метет* и бытовая констатация, оценка предмета — *Новая метла чисто метет*. Многие паремии вначале были обычными реально-бытовыми высказываниями, которые затем приобрели расширительное толкование в других ситуативных контекстах.

Но и внутри реально-бытового уровня мы имеем все те же эффекты смыслового расподобления высказываний, когда говорим: *Идет!* (дело), *Идет!* (трамвай), *Идет!* (костюм), *Идет!* (= согласие).

Аналогичное расподобление претерпевают и высказывания из литературных произведений, приобретающие расширительное толкование (с сохранением исходной формы или же с вариациями): *Revenons à nos toutons*; *Сражаться с ветряными мельницами*; *Остаться у разбитого корыта*. Это расподобление идет в направлении генерализации смысла — от низшего (квазиреального) регистра к высшему, аллегорическому.

§ 3. Самоподобные явления в дискурсе

Как уже отмечалось, инициальная ступень становления языка изобилует самоподобными построениями, которые образуются в результате автокатализа диктального оператора, в результате чего высказывание часто выглядит как фазовая редупликация. Рудименты этой примитивной ступени широко представлены в высказываниях «детского» языка (*tu-tu!* — о поезде, *gav-gav!* — о собаке, *ням-ням!* — о еде) и вообще в звукоподражаниях: *ку-ку!*, *тук-тук!*, и т. п. Ср. фр.: *crincrin, flonflon, gnan-gnan, tam-tam, teuf-teuf, coucou, ronron*. Редупликация происходит и с регулятивными междометиями: *ну-ну!*, *но-но!*, выражающими побуждение, предостережение. Нередко эпифаза в таких высказываниях отличается от профазы: рус.: *пиф-наф!*, *тук-так!*, *бу-бух!*; фр.: *clic-clac, patati-patata, tic-tac, coquerico, hi-han*. Эти отличия указывают на тенденцию к формальному расподоблению фаз при редупликации, которая сопровождается некоторой семантической дивергенцией. В самоподобных явлениях уподобление и расподобление сопутствуют друг другу.

По наблюдениям Э. Сепира [1993, 82–83], редупликация глагольного корня с изменением второго элемента характерна для обозначения такого объекта, от которого следует дистанцироваться, например: англ. *riff-raff* ‘подонок’, *wishy-washy* ‘жидкий на расправу’, *rolly-polly* ‘пухлый’, *harum-skarum* ‘беспечный’, *sing-song* ‘бубнить’, а также манджур. *porpon-parpan* ‘подслеповатый’ и рус. *чудо-юдо*. Э. Сепир отмечает, что в некоторых африканских и индейских языках редупликация обладает грамматической релевантностью: в готтентотском *gam-gam* — каузатив от *gam* ‘говорить’, *go-go* ‘пристально рассматривать’ от *go* ‘смотреть’; в чинукском *iwi-iwi* ‘осматриваться’ от *iwi* ‘появляться’; в языке квакиутль *metmat* — ‘есть моллюски’ от корневого элемента *met-* ‘моллюск’. В русском языке удивительным образом сохранился момент древнейшей фазовой редупликации в дискурсивном употреблении двулксемных глагольных предикатов: *жили-были, судили-рядили, ходил-бродил, думал-гадал, шумел-гремел, ищи-вищи*; причем в современной речи имеют место не только классические фольклорные редупликации, но и множество инноваций [см. Юдаева, 2005], по отношению к которым можно с одинаковым успехом говорить как об уподоблении, так и о расподоблении единиц.

Примеры детского языка и звукоподражания, как правило, вызывают у слушающих усмешку. Психолингвистическое обоснование этого явления было бы интересным, особенно если вспомнить, что каждый, попав в среду с неизвестным языком, тут же перейдет на паралингвистические и чисто диктальные средства, несколько не смущаясь этим. Использование ономапии и редупликации — это возврат к игровому началу речи, к тому уровню рефлексии, на котором речь выглядела действительно как игра, забава. При общении с детьми взрослые нередко преобразуют полнозначные слова в усеченные, подстраивая их под «детский» язык и придавая им форму редупликаций. Так,

во французском детском языке слово *dormir* (спать) преобразуется в *dodo* (спи), а слово *lait* (молоко) в *lolo*. Любопытно, что французское детское *dada* (лошадка) произошло от некогда существовавшей формы понукания лошади, от регулятива *da-da!*, соответствующего русскому *но-но!*

Следует полагать, что примитивная фазовая редупликация — это первый шаг к выработке единиц, производных от базовой фонокинемы. Все элементы ситуации изначально выражаются через ту же форму, что и базовое предписываемое действие. В этой связи можно вспомнить о той стадии формирования значения в филогенезе, которую Л. С. Выготский называл «мышлением в комплексах». Речь идет о той фазе «комплексного мышления», когда одним и тем же словом выражается и вся ситуация, и все вещи, имеющие к ней отношение. Такой комплекс представляет собой «обобщение вещей на основе их соучастия в единой практической деятельности, на основе их функционального сотрудничества» [Выготский, 1934, 125].

Редупликация на примитивных этапах становления фразовой структуры есть не что иное, как расщепление единого образа ситуации посредством автокатализа базового предиката, порождающего серию собственных копий. На последующих этапах каждая из этих копий приобретет специальную форму — форму актанта предложения, в зависимости от того места, которое будет занимать соответствующий предмет в структуре действия. Но нередко и в современных языках различие между глаголом-предикатом и отглагольным именем регулярно определяется лишь синтаксической позицией слова, например, в английском: *to help — the help* (помогать — помощь), *to count — the count* (считать — счет), *to break — the break* (разбивать — перерыв), и т. п. На этапе примитивной редупликации (*Do-do!*) различие между базовой и производной величинами (предикатом и актантом), вообще говоря, тоже есть, но оно остается незаметным, так как является чисто позиционным и зависит от интонационной модуляции компонентов.

Возможность чисто *тонального* расподобления структурных частей сохраняется и в грамматически оформленном предложении: при актуальном членении высказывания любое слово может быть обращено в рему, подразумевающую нечто «новое», то есть в некую величину, функционально отличную от исходной.

Если следовать далее принципу автокатализа, то и в грамматически оформленном высказывании современного языка можно усмотреть его первичную самоподобную основу. Эта автокаталитическая первооснова нередко «всплывает» на поверхность. Она проявляется в тавтологических сочетаниях типа *делать дело, писать письмо, прясть пряжу, печь печенье, варить варенье, учить ученика, читатель читает, слушатель слушает, знак значит, косарь косит* и т. п.

Можно предполагать, что в языковом сознании хранятся простейшие фрактальные матрицы глагольных предикатов. В каждой такой матрице вокруг предикатного центра группируются гранулы его актантов, представ-

ляющие собой его редупликации: *рисовальщик рисует рисунок, ткач тклет ткань, учитель учит ученика учению, строитель строит строение* и т. п.

В современном состоянии языка стало нормой комбинаторное оформление высказывания с использованием предметных слов, производных от разных базовых операторов. Ср. *Учитель учит ученика* и *Писатель учит читателя*. Здесь вполне можно говорить о суперпозиции структур, образованных от разных предикатов, об их совмещении в одном предикатном узле. Подстановку на место тавтологических форм базового предложения элементов, заимствованных из других базовых предложений, можно рассматривать как дискурсивное расподобление структуры-первоосновы. Это значит, что предложение *Старик учит мальчика грамматике* имеет в основе форму **Учитель учит ученика учению*, а самоподобную первооснову предложения *Человек пишет книгу* можно приблизительно выразить, как **Писатель пишет писание*; и т. д.

В дискурсе современного языка лексическое самоподобие фраз уступает место структурному самоподобию: из сегмента в сегмент может повторяться одна и та же структура предложения, заполняясь разными словами. Самоподобие сохраняется в качестве организующего принципа стихотворной поэзии — в рифме и метрике.

Но и словесное самоподобие продолжает удерживаться в различного рода выражениях (*делать дело, варить варенье*), в том числе и в поговорках: *ребенок есть ребенок, рука руку моет, клин клином вышибают, рыбака рыбака видит издалека*.

Комплексная структура высказывания организуется телескопически — путем вложений одних структур в другие. При этом выявляется еще один аспект самоподобия — формальное и семантическое свертывание.

По линии свертывания структур образуются градуальные оппозиции форм, подобных друг другу, каждая из которых представляет собой ту или иную ступень ретракции исходной структуры. Это можно проследить, например, в ходе компрессии предложения в словосочетание, а словосочетания в слово:

Эта помощь взаимная > взаимная помощь > взаимопомощь;

Эти цветы растут из-под снега > растущие из-под снега цветы > подснежные цветы > подснежники.

Форма единицы, претерпевающая свертывание, подстраивается к тому контексту, в котором она должна быть употреблена. Свернутое высказывание обычно становится частью другого высказывания в виде ретракта, как в известном примере *Dieu invisible créa le monde visible*, где простые нераспространенные предложения *Dieu est invisible* и *Le monde est visible* претерпев соответствующую ретракцию, заняли свое место в структуре единого распространенного.

Не только отдельное предложение, но и целый дискурс может быть подвергнут разным ступеням и разным планам ретракции. Например, известная басня «Ворона и лисица» может получить разного рода кратчайшие ретракты: ретракт, выражающий мораль: *Лесть вредна*; ретракт, выражающий суть самого сюжета: *Ворону обманула лисица*; наконец, ретракт, сводящийся к заголовку: *Ворона и лисица*.

§ 4. Дискурсивное самоопределение слова

Изначально слово, примененное к объекту, не есть просто его название, «знак». Оно *свертывает* в себе смысл той коммуникативной ситуации, в которой оно употребляется в соответствии с тем местом, которое объект занимает в этой ситуации. Имя объекта действия — это характеристика данного объекта в адаптивном плане: «вот какую роль играет этот предмет». Предметное слово включает в себе своего рода инструкцию, выражает то, что «надо сделать с предметом, как следует с ним поступить». В основе первичного значения слова лежит образ взаимодействия человека с предметом в типовой ситуации, где предмет — это то, что следует схватить или оттолкнуть, что следует проткнуть, расщепить или, наоборот создать из частей, и т. д. Первичное ситуативное определение слова является одновременно и ценностным, аксиологическим.

Модель, в которой слово изначально применяется для именования, представляет предмет не как объект чистой манипуляции, а как ценность, которая резюмируется общей аксиологической формулой: «как поступать с данным предметом», имеющей различные варианты выражения. Часто объект речи, в том числе и неодушевленный, представлен как самодействующий: *Этот нож плохо режет*. С этим фактом, вероятно, связано то, что на протяжении многих веков инструменту, оружию, деревьям, камням и другим предметам могли приписываться магические свойства. И в современном языке множество имен существительных выражает своей формой то место, которое соответствующий предмет занимает в человеческой деятельности: *еда* — то, что едят; *питье* и *пиво* — то, что пьют; *резец* — то, чем режут; *отвертка* — то, чем отвертывают; *спальня* — место, где спят, и т. д. Многие слова, разумеется, утратили свою первичную мотивировку, восходящую к соответствующему образу взаимодействия человека с миром (ср. *нож* от **нзить, пронзать*), как за счет стирания своей внутренней формы, так и по причине различного рода сдвигов в значении, которые обусловлены главным образом теми контекстами, в которых данные слова нашли свое вторичное регулярное употребление и новую семантическую калибровку.

В дискурсе постоянно имеют место калибровочные моменты, когда контекст воздействует на семантику той или иной формы. В результате

происходит семантическое самоопределение формы относительно других единиц данного контекста.

Это явление совершенно не изучено и, тем не менее, оно широко известно и интуитивно используется в практике чтения и осмысления слов в контексте. Читая текст, мы легко восстанавливаем пропущенные буквы в словах, исправляем и другие искажения при опечатках, догадываемся о значении слова, не обращаясь к словарю. Все это оказывается возможным именно за счет того, что слово самоопределяется в контексте. Это самоопределение — результат калибровочного действия контекстной матрицы: именно контекст «чеканит» значение нового слова, а знакомому слову нередко придает ориентацию, не совпадающую с уже известной. Даже в самых простых фразах дифференциация значения происходит за счет контекстного самоопределения слова:

Карета ехала по проспекту. — Проспект = 'место, где ехала карета'.

Каждому делегату конференции выдали по проспекту. — Проспект = 'то, что выдали каждому делегату конференции'.

Процесс контекстного исчисления значения слова протекает в целом стихийно, произвольно, что является прекрасной иллюстрацией деятельности рефлексии, неподотчетной сознанию. Сознательное и нередко многократное обращение к тому контексту, где встретилось не совсем понятное слово, характерно для восприятия текста на иностранном языке.

Иногда в результате произвольной контекстной семантизации возникает и ложное значение, что было в свое время замечено Г. В. Колшанским [1980, 102]: «Можно сказать, что роль контекста настолько всемогуща, что он может даже творить значение слова, неизвестного, скажем, читателю, но создаваемого (и зачастую ложно) контекстными условиями. Известный пример в этом случае — строчка из песни о Байкале: “Эй! баргузин, пошевеливай вал”, которую, как правило, прочитывают в смысле “некто управляет лодкой”, поскольку окружение для слова *баргузин*, *пошевеливай вал*, дает основание по обычному контексту приписывать имени при глаголе в такой позиции функцию деятеля (баргузин — рулевой) при действительном значении ‘баргузин — вид ветра’. Контекст способен не только помогать выбирать действительные значения из множества словарных значений языковой единицы, но и воздействовать на образование нового значения слова только по словесному окружению без обращения к действительному значению — к номинации, к денотату слова». Контекст, как об этом пишет Г. В. Колшанский [1980, 102–104], выступает и в качестве необходимого условия для семантизации метафоры, а также для индивидуального словоупотребления и индивидуального словотворчества.

Традиционные словарные дефиниции — это специально подобранные, канонизированные контекстные фрагменты для определения значения слов. В конкретном дискурсе определение слова происходит в опера-

тивном порядке и, как правило, бессознательно, лишь за счет процесса рефлексии. При этом слово действует как **эндотропа**: свертывает в себе содержание своего контекста.

Это кумулятивное свойство слова хорошо иллюстрируется известным примером из английского фольклора — «This is a house that Jack built», в котором контекстные свертки представлены эксплицитно. Начиная со второй фразы, каждое новое слово здесь самоопределяется относительно предшествующего дискурса, причем в ходе этой процедуры происходит самоподобное разворачивание дискурса с четким ступенчатым наращиванием его фрактальной структуры:

Вот дом, который построил Джек.

А это пшеница, которая хранится в доме, который построил Джек.

А это крыса, которая ест пшеницу, которая хранится в доме, который построил Джек.

А это кошка, которая ловит крысу, которая ест пшеницу, которая хранится в доме, который построил Джек.

А это собака, которая гоняет кошку, которая ловит крысу, которая ест пшеницу, которая хранится в доме, который построил Джек.... (и т. д.)

Слово самоопределяется в своем контексте, свертывая в себе его смысл.

Однажды самоопределенное, слово продолжает свою жизнь в дискурсе и по мере своих дальнейших появлений в разных контекстах тоже свертывает их в себе, насыщается их семантикой. При каждом повторе в разных фразах дискурса слово испытывает семантическое приращение. Это значит, что даже в самом простом тексте слово, повторяясь, усложняется в семантическом отношении.

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тащить...

Если мы дополним этот текст с учетом повтора одного слова *репка*, то получим следующую картину:

Посадил дед репку. Выросла репка, которую посадил дед, большая-пребольшая. Стал дед репку, которую он посадил и которая выросла большая-пребольшая, из земли тащить...

Отметим, что самоопределение слов в высказывании — это, на самом деле, процесс взаимный. Так, для фразы *Посадил дед репку* мы получим формально два самоопределения: *репка* = *то, что посадил дед* и *дед* = *тот, кто посадил репку*.

В результате того, что слово свертывает в себе смысл дискурсивных сегментов, оно на каждой ступени этого свертывания становится «больше самого себя», следовательно, повторение слова в дискурсе не столь простая

операция. Это вовсе не тривиальное повторение понятия, но своеобразная динамическая дивергенция слова, его семантическое расподобление с уплотнением содержания, которое в пределе может увенчаться и формальным расподоблением. Так, например, прилагательное «языковой», вращаясь в лингвистических контекстах и насыщаясь их содержанием, в итоге приобрело форму «языковой» с подвижкой ударения на последний слог.

Согласно выводам Л. С. Выготского [1934, 306], сделанным им при исследовании механизмов внутренней речи, смысловое превалирование фразы над словом, всего контекста над фразой не исключение, но постоянное правило; а «обогащение слова смыслом, который оно вбирает в себя из всего контекста, и составляет основной закон динамики значений». Во внутренней речи и синтаксический и семантический аспекты испытывают свертывание, остаются только исключительно уплотненные единицы — «идиопредикаты», смысл которых лучше всего понятен только оперирующему ими самому индивиду. При обращении внутренней речи во внешнюю они могут быть развернуты.

В этой связи следует вспомнить и открытое Л. С. Выготским [1934, 308] явление, которое он называл «влиянием смысла»: смыслы слов «как бы вливаются друг в друга и как бы влияют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или его модифицируют... Аналогичные явления мы наблюдаем особенно часто в художественной речи. Слово, проходя сквозь какое-либо художественное произведение, вбирает в себя все многообразие заключенных в нем смысловых единиц и становится как бы эквивалентным произведению в целом. Это легко пояснить на примере названий художественных произведений... Такие слова, как «Дон-Кихот» и «Гамлет», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина», выражают закон влияния смысла в чистом виде. Особенно ясным примером закона влияния смыслов является название гоголевской поэмы «Мертвые души»... Проходя красной нитью через всю ткань поэмы, эти два слова впитывают в себя... глубочайшие смысловые обобщения отдельных глав поэмы, образов и оказываются вполне насыщенными только к концу поэмы. Но теперь эти слова означают уже нечто совершенно иное по сравнению с их первоначальным значением. *Мертвые души* — это не только умершие и числящиеся живыми крепостные, но и все герои поэмы, которые живут, но духовно мертвы».

Свертывание дискурсивных контекстов в идиоматические предикаты и оперирование ими как семантическими ретрактами — это характерные и существенные моменты в деятельности языковой рефлексии. Если представлять содержание слова с учетом свертывания всех тех контекстов, в которых оно регулярно употребляется, то в конечном счете и системная значимость слова, в силу динамического характера его семантики, выглядит, по удачному выражению Н. В. Иванова [2002, 55], как «непрерывный процесс смыслового самоопределения слова в языке».

Наше представление самоподобных явлений в дискурсе, хотя иногда и выглядит забавно, открывает еще одну исключительно важную сторону языка, связанную с деятельностью дискурсивной рефлексии и языкового сознания, которые, благодаря процедурам свертывания, обладают возможностью оперировать предельно сжатыми смыслами, но также, как мы увидим далее, и семантически пустыми выражениями, что не делает их менее важными для речевой деятельности.

§ 5. Слово как символ

В. фон Гумбольдт писал в свое время, что для постижения сути языка «надо абстрагироваться от того, что он функционирует для обозначения предметов и как средство общения» [Гумбольдт 1984, 69]. По его убеждению, «весьма вредное влияние на интересное рассмотрение любого языкового явления оказывает ограниченное мнение о том, что язык возник в результате договора и что слово есть не что иное, как знак для существующей независимо от него вещи или такового же понятия». Эта точка зрения верна лишь в определенных границах: «Слово, действительно, есть знак, до той степени, до какой оно используется вместо вещи или понятия. Однако по способу построения и по действию это особая и самостоятельная сущность» [Гумбольдт 1984, 304]. Среди важнейших свойств языка Гумбольдт выделяет его *символизм* [там же, 160].

Эмиль Бенвенист тоже пришел к выводу о том, что принцип знака нельзя считать единственным принципом языка. Как универсальная семиотическая матрица, *моделирующая структура* [Бенвенист, 1974, 87], язык совмещает в себе и знаковое, и символическое. Знак, по Бенвенисту, является принадлежностью системы, он должен быть узан; его смысл есть значение, которое задано предварительно, является итогом конвенции. Символ же создается и раскрывает свой смысл только в процессе речи, в дискурсе. Далее этот смысл может быть закреплён в виде знака, однако опознаваемого всеми членами коллектива, что не отменяет применения по отношению к данному выражению нового семантического преобразования, новой символизации.

Буквально греческое слово «символ» (συμβολον) означает часть предмета, разделенного пополам, при условии, что каждая из частей служит основанием для установления взаимного доверия, для распознавания «своего» при встрече, когда их обладатели могут сложить (συμβαλλειν) эти части вместе. То есть, изначально словом «символ» обозначается одна из частей целого, подлежащая соединению с остальной частью, и, следовательно, находящаяся с нею в отношении дополнителности. Отсюда возможность символического представления целого и в самом широком смысле. Так, горсть земли, увезенная человеком, становится символом его родины. Обычно сим-

волом той или иной сферы деятельности выступает характерный или специфический для нее объект: молот — символ труда, меч — символ войны, парус — символ флота, Эйфелева башня — символ Парижа, и т. д.

Для П. А. Флоренского «символ — такая реальность, которая несет в себе энергию другой реальности, не данной нам непосредственно» [Флоренский, 2000, 306]. Рассуждая о синергетическом характере слова, о том, что слово концентрирует в один фокус историческую волю целого народа, П. А. Флоренский [1998, 279] определяет символ как «бытие, которое больше самого себя», как «нечто, являющее собою то, что не есть он сам, большее его, и однако существенно через него объявляющееся». Характеристика слова как синергетического феномена в точности подходит, согласно Флоренскому, под «онтологическую формулу символа как сущности, несущей энергию иной сущности, каковою энергией дается и самая сущность, та, вторая» [Флоренский, 1998, 285].

Итак, языковой символ есть особая, синергетическая сущность, которая несет в себе смысл другой сущности, не данной нам непосредственно. Отсюда, например, слово «книга» как символ — это не то же, что обозначение соответствующего предмета. Для разных людей и в разных ситуациях оно получает разные смыслы: книга — это продукт писательского труда, результат работы типографии, компонент библиотеки, источник знаний, предмет украшения интерьера, пища для ума, товар для продажи, лучший подарок и т. д.

Слово в своем знаковом аспекте — это форма, известная заранее и используемая в точно определенной функции. Значение знака задано заранее, предваряет коммуникацию. Знак отождествляет образ, означаемый в момент речи, с уже означенным (эталонным) образом. Знак приводит новый образ к известному, в результате чего происходит семантическая редукция: индивидуальность, новизна образа погашается, так как знак попросту клиширует его. В этом смысле знак изотропен, так как в разных контекстах он остается самим собой.

«Окном» в мир для нас является не знак, а символ. Знак — это, скорее, штора с картинкой, которая закрывает от нас мир.

Слово-символ эндотропно, оно свертывает в себе смысл тех контекстов, в которых оно употребляется. Однажды получив самоопределение в дискурсе, символ сохраняет его как свое смысловое содержание. Языковой символ — динамическая сущность. В процессе дискурсивного освоения мира человеком слово-символ постоянно обогащает свое содержание. Это может происходить на протяжении всей жизни индивида. Среди именных символов наибольшую устойчивость приобретают те, которые относятся к определенной сфере деятельности, например, специфические термины, или оказываются важными в лингвокультурном плане, что характерно для имен литературных персонажей и исторических личностей.

Человеческому мозгу, как известно, свойственна способность оперировать нечеткими понятиями. Сами того не замечая, мы оперируем мно-

жеством символов, имеющих диффузную, «облачную» семантику, не заботясь о точности и однозначности. Часто нам бывает достаточно лишь идентификации некоторой предметной области. Это видно на примере того, как функционирует в общем языке специальная терминология. Мы можем слушать или читать о морских приключениях, не вникая в значение таких слов, как *рея*, *фок-мачта*, *кливер*, *бак*. Даже после обращения к специальному словарю, значение подобных слов со временем снова становится для нас диффузным, что не мешает смысловому восприятию дискурса, очевидно, потому, что семантизация целого проходит для нас на достаточно адекватном уровне. То же происходит и с любыми терминами, точное содержание которых известно только специалисту, при их проникновении в коммуникативный процесс и в литературу. Для слов, с которыми мы встречаемся впервые, достаточно бывает лишь однократной контекстной семантизации, и это не нарушает понимания всего текста.

Различие знакового и символического аспектов слова может быть представлено на примере имени собственного. Слово как знак получает свое определение в терминах метаязыка: «данный звукокомплекс (данное имя) служит для указания на предмет, обладающий такими-то свойствами». Символ, в отличие от знака, получает интерпретацию в терминах не метаязыка, а языка-объекта, т. е. определяется через тот текст, к которому он изначально принадлежит: *Дон-Кихот* — это тот, кто сражается с ветряными мельницами; *Емеля-дурак* — тот, у кого все делается по щучьему велению; и только во вторую очередь к нему применимо собственно знаковое объяснение — через метаязык: «*Донкихот*» — это имя персонажа одноименного произведения Сервантеса. «*Емеля-дурак*» — имя героя русской народной сказки.

Слово, определяемое как знак, связывает произвольно и непосредственно звуковую оболочку с внелингвистической сущностью.

Слово как символ соизмеряет тонко разработанный смысл интекста с тонко разработанным смыслом контекста. Символ, в своем полном виде, определен дважды: номологически — от своей внешней, контекстной формы — и гомологически — от внутренней, интекстной формы.

Структурно полный символ амфисимметричен. Его интерполирующая сущность состоит, однако, не в линейном соединении фаз дискурса, она лежит не в плоскости синхронической синтагматики. Символ как свертывающий оператор подсоединен с одной стороны к тому дискурсу, в который он встроен и через который он обогащает свое содержание. С противоположной стороны символ замыкается на диахронии и несет в себе историю своего дискурсивного образования, которая отражена в его внутренней форме. В символе представлено единство «внешней» формы и «внутренней», или — дискурсивного **покрытия** символа с его дискурсивно-деривационным **основанием**.

Дискурсивное покрытие символа имеет ступенчатый, фрактальный характер, представляет собой пирамиду, состоящую из контекстов, каждый из

которых является вложением для высшего по отношению к нему обрамляющего контекста. С точки зрения своей внешней формы символ определяется сначала в контексте фразы, затем — во все более объемных, последовательно включающих друг друга сверхфразовых единствах вплоть до целого дискурса, структура которого может определяться внешним ситуативным контекстом и увенчиваться общим культурным контекстом [ср.: Иванов, 2002, 62].

Очевидно, что и основание символа — это потенциально многоступенчатое, фрактальное образование: одна внутренняя форма опирается на другую, исторически ей предшествующую. В пределе внутренняя форма восходит к глубинному оператору-архетипу, выражающему взаимодействие субъекта с объектом. То есть, она представляет собой ретроспективно направленную, сходящуюся пирамиду, которая завершается **корнем** символа, той гранулой, в которой заключена его первичная синергия. Если нам удастся проникнуть в символе до его глубинного предела, то это будет диктальная фонокинема, первичная дискурсивная модель-символ. Но, разумеется, не у всякого символа различим в его внутренней форме этот первичный, фундаментальный элемент.

Если символ сохраняет свое основание, то по его внутренней форме можно определить (до известного предела) историю его появления в языке. Многие слова сохранили в свернутом виде микроконтекст первичного закрепления формы за понятием: *самолет* — *то, что само летает*; *отвертка* — *то, чем отвертывают*. Исторически сложилось так, что для русского языкового сознания *сад* — *то, что посажено*, но то же понятие в английском языке имеет иное представление: *garden* — *то, что подлежит охране*. Некоторые символы лишены, однако, своего фрактально разработанного основания — различимой внутренней формы и определяются лишь с точки зрения их внешней формы — характерной для них типовой контекстной матрицы. Это касается прежде всего лексических заимствований. С точки зрения носителя русского языка слово *дирижабль*, например, не имеет языковой истории и в плане своей формы является чистым знаком (фр. *dirigeable* буквально значит 'управляемый'), а в плане содержания оно является культурным символом начального этапа воздухоплавания, как и слово *аэроплан*.

Обычно слова, пришедшие к нам из иностранного языка, воспринимаются вначале как символы с диффузным содержанием, как некие виртуальные емкости, подлежащие осмыслению и заполнению. Впоследствии они могут наполниться содержанием, но не обязательно тем, которое они имели в своей исконной среде.

Рефлексия в своей деятельности, по-видимому, опирается на внутреннюю форму символа: носитель языка, как правило, старается расшифровать внутреннюю форму иностранных заимствований, стихийно совершая их псевдокоррекцию, на основе ассоциативных аналогий с формами родного языка, что свидетельствует о стремлении рефлексии возвратить слову-символу его тонко разработанное фрактальное основание. Так, англ-

ийское *pullover* ('то, что натягивается сверху') французы превратили в *pull*, придав этому слову фонетическую форму, характерную для французского языка; в русском просторечье это слово превратилось в *полуверх*. А синонимичное этому слову англ. *sweater* (от *sweat* 'пот') в русском языковом сознании вполне естественно возводится к глаголу *свить* — *свивать*, тогда как буквально означает 'потник'. Уподобление заимствованных слов формам родного языка одновременно является их расподоблением.

Согласно закону взаимнеобратимости семиотических систем, один и тот же по форме символ в разных лингвокультурных системах означает не одно и то же [Бенвенист, 1974, 78]. Переходя из языка в язык, слово должно подчиниться новому лингвокультурному порядку — номосу данной системы, который проявляет себя как контекстное управление смыслом языковых выражений. Однако это происходит не сразу и не всегда.

На самом первом этапе знакомства с новым иноязычным словом оно является экзотизмом — символом иной лингвокультуры. Далее слово может сопротивляться ассимиляции, подчиняясь порядку прежней системы, т. е. находится с заимствующей системой в отношении **экономии**. Экзонимными являются слова, относимые к разряду ксенизмов, например, во французском языке это слова *izba* и *samovar*, заимствованные из русского языка. Для русских экзосимволами будут, очевидно, такие слова, как *камамбер*, *сидр*, *виски*, *эсквайр*. Экзосимволы, находясь в составе другого языка и даже имея при этом референциальную определенность, остаются символами иной лингвокультуры. Параметр экномии может сохраниться даже в случае перевода способом калькирования, что видно на примере слова *небоскреб*, которое продолжает символизировать иную реальность.

Ассимилированные заимствования, которые больше не воспринимаются как экзосимволы, можно распределить между двумя классами: слова, находящиеся со своими прототипами в отношении **изономии** — при тождественном контекстном управлении в разных языках, и слова с семантическим сдвигом, образующие отношение **аллономии**.

В область изономии, вообще говоря, попадают как полные заимствования, становящиеся интернационализмами, так и семантические — кальки, например, рус. *железная дорога* — калька с французского *chemin de fer*. Традиционные интернационализмы, сохраняя, вопреки закону необратимости, в разных языках идентичное значение, образуют отношение **тавтономии** (частный случай изономии): *лампа* во всех языках 'лампа'. Среди них есть единицы, перенесенные из языка в язык в форме, близкой к оригиналу, в том числе такие, которые произошли от составных выражений и претерпели слияние: *натюрморт* (от фр. *nature morte*), *мизансцена* (от фр. *mise en scène*), *шедевр* (от фр. *chef-d'oeuvre*).

Слова вступают в отношения аллономии, если попадают в разные номосы двух языков, испытывая при этом изменение семантики. Это может быть сужение значения, например, рус. *шампиньон* происходит от фр.

champignon ('гриб вообще'), или рус. *банда* от фр. *bande* ('лента, связка, стая, группа'). Примеры аллономии со сдвигом значения можно найти среди так называемых «ложных друзей переводчика». Так, русским существительным *журнал*, *лектор*, *шансонье* больше не соответствуют их французские прототипы: *journal* 'газета', *lecteur* 'читатель', *chansonnier* 'исполнитель куплетов'.

Предельным случаем аллономии является приобретение заимствованным словом *автономии* по отношению к исходной лингвокультуре в силу утраты связи с исконным номосом: рус. *перрон* совершенно оторвалось от фр. *perron* 'крыльцо', означая платформу на вокзале, т. е. фр. *quai*; в то же время французскому *plate-forme* соответствует рус. *тамбур*, оторвавшееся от фр. *tambour* 'барабан'.

Автономию символ может приобрести и внутри одной культуры, если он совершенно оторвался от своего первоисточника. Пример тому — слово *renard* 'лиса' во французском языке, производное от существовавшего некогда и претерпевшего редукцию идиосимвола *Reginhart* — имени центрального героя произведения XIII в. «Роман о Лисе» (*Le Roman de Renard*); слово *renard* вытеснило исконное слово *goupil* 'лиса' (от нар.-лат. *vulpes*) и в этом качестве приобрело автономию по отношению к исходному *Reginhart*.

Все модуляции значения заимствованных слов обусловлены дискурсивной калибровкой, расподоблением, сопровождающим их адаптацию в качестве символов новой лингвокультуры.

§ 6. Дискурсивные символы-архетипы

Целый дискурс тоже может фигурировать в качестве символа — как характерный представитель той или иной культуры.

Каждый этнос обладает своим корпусом дискурсов, включающим фольклор и литературу. Среди этих дискурсов выделяется такой, который стал базовым текстом, символом культуры и идеологии данного этнического сообщества — этноса или суперэтноса. В качестве дискурсов-этносимволов выступают миф, эпос или легенда, принадлежащие либо одному народу, либо группе соседних народов. Таковы эпос о Нартах у народов Кавказа, эпос о Манасе у киргизов, Калевала у финнов. Некоторые дискурсы приобрели совершенно определенный этносимволический характер при формировании нового этноса: миф о близнецах Ромуле и Реме — дискурс-символ римского этноса, легенда о Вильгельме Телле — дискурс-символ швейцарского суперэтноса, состоящего из разноязычного населения. «Песнь о Роланде» стала опорным дискурсом в формировании единого этноса на территории Франции. «Песнь о Сиде» стала символом консолидации испанского этноса, выстоявшего многовековое засилье мавров. Легенда об Уленшпигеле стала символом Фландрии. Библия — символ христианского суперэтноса, Коран — мусульманского. В. М. Жирмун-

ский [1979, 262] характеризовал древнегерманский эпос о Нибелунгах, который впоследствии проник в скандинавские страны, не как международный, а как межплеменной, общий для северно-немецкого суперэтноса, еще не имеющего отдельной государственности.

В Англии на роль дискурса-символа претендует легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, придуманная на основе мотивов из кельтской (британской) мифологии и получившая литературную разработку, начиная с XI века. Парадоксально то, что реальный прототип короля Артура был предводителем британских племен в их борьбе против англосаксов, германоязычных предков нынешних англичан. Образ Артура претерпел метаморфозу: из непримиримого врага он обращен в славного предшественника.

Судьба британской легенды об Артуре представляет собой иллюстрацию явления прецедентности, свойственного мифологии, литературе и вообще языку. Для мифов, как и для многих произведений литературы, характерно то, что им уже предшествовали некие дискурсы сходного содержания, которым, в свою очередь, предшествовали другие тексты-прототипы. Некоторые тексты действуют на протяжении веков как прецедентные лишь в рамках одного этноса или суперэтноса, другие же переходят эти границы и становятся достоянием носителей иного языка. На уровне межязыкового общения дискурс — это тоже символическое образование, являющееся окном в иную культуру.

Отметим как довольно частое явление возведение в ранг этнического или суперэтнического текста-символа именно заимствованного дискурса. Это произошло с легендой о короле Артуре, заимствованной англичанами у британских кельтов, с легендой об Уленшпигеле, заимствованной фламандцами у немцев в конце XVI в. Но и легенда о Ромуле и Реме имеет не латинское, а этрусское происхождение. Наконец, сама Библия из идиоэтнического базового текста превратилась в суперэтнический.

Отношения между параллельными дискурсами в разных языках зависят от степени ассимиляции переведенного дискурса. Некоторые тексты продолжают осознаваться как экзотомные, другие же ассимилируются, становятся органическими составляющими новой культуры, а иногда и приобретают независимость от своих прототипов — лингвокультурную автономию. Дискурс экзотомный и в переведенном виде остается фактом иной культуры и даже ее символом (например, «Песнь о Роланде» или легенда о Вильгельме Телле в переводах на русский язык).

Дискурсы, находящиеся в отношении изомонии, сохраняют тождество содержания. Они становятся важными составляющими языкового сознания, общими для ряда этнических языков, приобретая вневременной статус. В западной культуре такой общий, надэтнический статус имеют дошедшие до нас фрагменты греко-латинской мифологии, текст Библии, а также наиболее известные произведения мировой литературы (Шекспир, Сервантес, Лафонтен, Мольер), переведенные на разные языки. Для этих дискурсов ха-

рактально свертывание и хождение в виде афоризмов и паремий. Афоризм *Быть или не быть* в переведенной форме больше не воспринимается как экзотизм, как и поговорка *Сражаться с ветряными мельницами*. То же можно сказать и о множестве библейских паремий (*Метать бисер перед свиньями; Не судите да не судимы будете; Не хлебом единым жив человек*), в том числе и таких, библейское происхождение которых уже не осознается (*Не рой яму другому, сам в нее попадешь; Что посеешь, то и пожнешь*).

При аллономии отношения между дискурсом-источником и его иноязычной версией изменяются: произведение, хотя и воспринимается как производное от своего прототипа, но в нем часто происходит смысловая переакцентуировка, в том числе и аллегорическое смещение смысла, особенно в отношении фрагментов, ставших паремиями, и имен действующих лиц, ставших символами. Заимствованные символы могут не совпадать по смыслу со своими прототипами в исходной лингвокультуре: *Дон-Кихот* для испанского читателя символ наивности, а для русского — воплощение бескорыстия.

Дискурс приобретает автономию как переосмысленное произведение иной культуры, утратившее связь со своим источником. Такова, например, «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, источником которой послужила сказка братьев Гримм. Примечательно, что французы не дают перевода для пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», ограничиваясь пересказом ее сюжета, который нивелирует структурную композицию, и нейтрализует притчевый характер произведения: перевод завершается не «разбитым корытом», а морализующей сентенцией «кто хочет слишком многого, не имеет ничего». Паремия *Остаться у разбитого корыта* не была воспринята французами и осталась русской идиомой.

В сознании современного носителя языка, принадлежащего к западной культуре, имеется много имен и понятий, непосредственно восходящих к древней мифологии. Эти имена представляют собой мифосимволы, в которых свернуты смыслы соответствующих текстов, известных в той или иной степени говорящим. Многие из них продолжают употребляться при частичном или полном забвении содержания соответствующего им текста. Остается лишь отсылка к некоторому свойству мифологического героя или к той ситуации, в которой он фигурирует в качестве участника.

Из тысяч различных имен и реалий древнегреческой мифологии в русском языковом сознании лишь немногим более ста можно считать прецедентными для широкой коммуникации, т. е. в целом адекватно воспринимаемыми без обращения к специальным словарям. Среди них, в частности, фигурируют:

- мифологические божества: — *Аид, Аполлон, Атлант, Афродита, Вах, Гефест, Гей, Гименей, Гипнос, дриады, Зевс, Морфей, музы, нимфы, Посейдон, Прометей, титаны, Эрот;*

- герои: *аргонавты, Ариадна, Ахиллес, Галатея, Геракл, Дедал, Икар, Кассандра, Мидас, Одиссей, Орфей, Пандора, Пенелопа, Пигмалион, Пляды, Прокруст, Тантал, Эдип;*
- чудесные существа и чудовища: *гарпии, гиганты, грифон, демон, дракон, кентавр, Мегера, Медуза, Минотавр, сатиры, сирены, Сфинкс, Феникс, Харибда, Химера;*
- прочие понятия: *амазонки, Золотое руно, лабиринт, космос, Олимп, Парнас, хаос.*

Ряд греческих имен, пройдя через римскую культуру, функционирует в латинской транскрипции: *циклопы, Сизиф, Сцилла, Цербер, Геркулес.*

Из собственно латинских мифосимволов русская коммуникативная традиция удерживает всего около трех десятков. Среди них божества: *Аврора, Амур, Венера, Виктория, Купидон, Мания, Марс, Нептун, Термин, Сатурн, Фавна, Флора, Фортуна, фурии, Эскулап, Юпитер, Янус;* герои: *Рем, Ромул.* Некоторые мифосимволы латинского и греческого пантеонов находятся в отношении изомонии: *Юпитер — Зевс, Венера — Афродита, Виктория — Ника, Марс — Арес.*

Многие из имен греко-римской мифологии знакомы носителю языка, но не употребительны в речи. Другие же известны как названия созвездий (*Андромеда, Кассиопея, Орион, Персей, Пляды*) или благодаря представлению мифологических сюжетов в искусстве (*Похищение Европы, Гектор и Андромаха*). Ряд мифологических имен используется в наше время в качестве научных метафор (*химера, комплекс Нарцисса, Эдипов комплекс*). Некоторые из них давным-давно переосмыслены в имена нарицательные (*пигмеи, эпигоны*) или же перешли в общий словарный фонд с терминологическим значением: термин *мания*, обозначающий патологическое состояние психики, больше не связывается с именем римской богини загробного мира.

Из библейской мифологии в словаре под редакцией Е. М. Мелетинского выделено около 80 ветхозаветных и порядка 30 новозаветных мифосимволов. Кроме имен, входящих в божественную троицу, это имена библейских персонажей и святых: *Абрам и Сара, Авель и Каин, Адам и Ева, Давид и Голиаф, Самсон и Далила, Ной, Хам, Соломон; Ирод, Иуда, Мария Магдалина, Георгий Победоносец;* чудесные существа и чудовища: *ангелы, Змей, дьявол, Левиафан, Сатана, серафимы, херувимы, Вельзевул, Люцифер;* такие понятия, как *золотой телец, неопалимая купина, ад и рай, апокалипсис, апостолы, воскресение, голгофа, «конь блед», страшный суд, тайная вечеря, чистилище, мессия, антихрист.*

Многие из библейских реалий употребляются не самостоятельно, а в составе паремических выражений: *вавилонское столпотворение, геенна огненная, голубь мира, иерихонская труба, мафусаилов век, соломоново решение, Содом и Гоморра, Фома неверующий, хождение по мукам. Вет-*

хозаветное имя *Хам* и новозаветное *Иуда* сделались символами, оценивающими недостойное поведение.

В арсенал носителя русского языка в разное время также проникли мифосимволы из других культур: из добиблейской мифологии — *Молох*; из мусульманской — *аллах*, *Мухаммед*, *шайтан* (параллель ветхозаветного Сатаны); из буддийской — *шамбала*. Если *Молох* — это надэтнический символ, то пришедшие из западноевропейской мифологии *валькирии*, *вальпургиева ночь*, *вампир*, *Василиск*, *драконы*, *гномы* остаются в русском сознании экзосимволами, как и термины ислама. Зато такие символы чудесного, как *ковер-самолет*, *сапоги-скороходы*, *шапка-невидимка*, заимствованные из европейского и восточного сказочного фольклора, воспринимаются в качестве атрибутов русской сказки.

Аналогичное обобщение в символах получили и литературные дискурсы, в том числе из жанров исторических хроник и преданий, художественной прозы. Для символов этого рода тоже характерна разная смысловая насыщенность. Если такие имена, как *Цезарь*, *Ганнибал*, *Понтий Пилат*, *Робин Гуд*, *Гамлет*, *Шерлок Холмс*, *Мефистофель*, *Мюнхгаузен*, *Робинзон*, *Маугли* имеют достаточно определенное содержание, то имя *Фридрих Барбаросса* — это пример диффузного символа, в общем утратившего предметную определенность и известного лишь в связи с событиями начала Второй мировой войны.

Предметное содержание имени-символа размывается и становится диффузным ввиду забвения того первичного контекста, к которому он принадлежит. Это справедливо в отношении как мифологических реалий, так и исторических. Символы, претерпевшие характерное семантическое «выветривание», наблюдаются во множестве паремических выражений. С одной стороны, это мифологизмы: *Танталовы муки*, *Сизифов труд*, *Прокрустово ложе*, *ящик Пандоры*, *Троянский конь*, с другой — такие историзмы, как *Дамоклов меч*, *Пиррова победа*, *разрубить Гордиев узел*, *перейти Рубикон*.

Но те же символы, утратив предметную (эвокативную) определенность, сохраняют, однако, на протяжении веков свою суггестивную мощь. Это касается не только имен собственных, но и многих архаизмов, которые сохранились в языке до наших дней, особенно таких выражений, которые связаны опять-таки с мифологическими сакральными текстами. Именно поэтому евангелическое *хлеб наш насущный даждь нам днесь*, в котором сконцентрирована энергия древнейшего источника, производит столь сильный суггестивный эффект в сравнении с современным адаптированным текстом *хлеб наш насущный дай нам на сей день*. Отметим, что переводчики со старославянского не смогли подобрать точный эквивалент для слова *на-сущный* (лат. *panem supersubstantialem*) и перенесли его в перевод, не учитывая того, что в современном русском языке это слово приобрело оттенок канцеляризма, употребляясь главным образом в составе штампа *на-сущные потребности* (например, тех или иных категорий населения).

Символ, обладая свойством эндотропности, свертывает в себе не только свой непосредственный контекст. В его смысловых напластованиях отлагаются и характеристики системы, к которой он принадлежит. На разных уровнях своего содержания символ свертывает с разной степенью обобщенности параметры поэтического произведения, идиолекта, социального подязыка и всей системы в целом. В последнем своем качестве термин «символ» имеет предельно широкое применение. То есть, символом той или иной лингвокультуры в равной мере являются и целый текст и даже буква алфавита, если они содержат идиоматические признаки, характерные именно для данной лингвокультуры.

§ 7. Поэтический идиосимвол и модель-интерпретация

Л. С. Выготский говорил о том, что концентрация смысла в слове ведет к его индивидуально-личностному своеобразию: «В сущности, вливание многообразного смыслового содержания в единое слово представляет собой всякий раз образование индивидуального, непереводаемого значения, т. е. идиомы» [Выготский, 1934, 310]. Это в полной мере относится к словам поэтического дискурса, имеющим особенное употребление.

В поэтическом дискурсе могут быть выделены такие слова, которые можно отнести к числу авторских идиосимволов, в силу их явно неординарной роли в формировании смысла. Например, у Марины Цветаевой наблюдается особенное употребление слова «час», которое, переходя из произведения в произведение, набирает идиосимволическую мощь. При этом оно всякий раз оказывает на свой контекст катализирующее влияние, придавая возвышенную тональность дискурсу.

Час у Цветаевой — это не отрезок времени, это особенное состояние мира, имеющее непреходящую ценность: *час нестареющий*. Это и *час ученичества*, который в жизни каждой торжественно неотвратим, это и *одиночества верховный час*.

Это и *ночь*, которая дарит поэту вдохновение: *Наподобие крови хлынула ночь!.. Слуховых верховий час: когда в уши нам мир — как в очи! Час, когда... больше не весим, не дышим; слышим*. Это также особенное, «ночное» состояние души: *В глубокий час души, в глубокой — ночи*. В ночи время останавливается, жизнь отныне измеряется новыми и новыми гранями слова *час: Есть час Души, как час Луны, совы — час, мглы — час, тьмы — час...*

Слово *час* у Цветаевой, в сопряжении с множеством других слов, становится фокусом, стягивающим все особенные моменты жизни в единый узел, символом, индуцирующим смутное и грозное состояние тревоги: *Час Души, как час грозы..., час Души, как час Беды..., час Души, как час ножа...*

Даже в контексте стихотворения «Поезд» — *В бессмертье что час — то поезд*, — где это слово может означать и буквально временной интервал, оно сохраняет свой идиосимболизм, который подхватывается через несколько стрóf восклицанием: *Не хочу в этом коробе женских тел ждать смертного часа*.

Наблюдения такого рода показывают, во-первых, то, насколько слово-символ отрывается в своем шествии по дискурсу от привычного нам слова-знака. Во-вторых, соответствующее впечатление читателя связано с постоянной контекстной *интерпретацией* слова-символа, происходящей бессознательно. Именно на моменте интерпретации мы остановимся более подробно.

Дискурсы разных периодов истории продолжают свое существование в свернутой форме — в символических словах и высказываниях. Со временем дискурсивный источник размывается в памяти носителей языка, особенно при переходе символического выражения от одного этноса к другому. И нередко этот процесс становится необратимым. Символ оказывается носителем смутного, приблизительного смыслового содержания, которое больше не может быть воспроизведено в развернутом виде в соответствии с дискурсом-источником. В других же случаях развертывание смысла, заложенного в символе, возможно либо за счет собственной памяти языкового сознания, либо посредством привлечения расширенной текстовой базы. Например, для библейских выражений такая обратная процедура в целом осуществима.

В процедуре раскрытия смысла символа вступает в действие еще один тип дискурсивной модели — **модель-интерпретация**. В задачу этой модели входит смысловое развертывание символа, дискретное представление его содержания.

Развертывание символа, как и развертывание любого дискурсивного ретракта (например, сложного предложения, сжатого до уровня словосочетания), допускает вариации. В зависимости от характера и возможностей процедуры развертывания, модель-интерпретация может реализовываться в следующих видах:

- а) через восстановление контекста первоисточника — воспроизведение «родного», исконного контекста данного символа;
- б) при наличии у символа внутренней формы возможно его толкование через развертывание этой внутренней формы в высказывание (*самолет — то, что само летает, подснежник — то, что растет из-под снега*); это «буквальная» интерпретация посредством восстановления фрактального основания символа, того первичного микроконтекста (метатипа), который впервые локализовал смысл, соответствующий первоначальной семантической лакуне в сознании и затем претерпел ретракцию, свернувшись в символ;

- в) через приписывание символу некоторого типового, стандартного для него контекста;
- г) посредством оригинальной интерпретации с соблюдением правил контекстной семантизации — через воссоздание общего тематического контекста, гомогенного по отношению к символу;
- д) посредством оригинальной интерпретации-импровизации — через создание некоторого контекста, не совпадающего по своим параметрам ни с первичным контекстом, ни с типовым, ни с тематическим.

Таким образом, интерпретация символа не обязательно является единственной. При построении модели-интерпретации языковой материал, обеспечивающий трактовку символа, может достаточно свободно варьировать.

По принципу интерпретации построены вольные переводы А. С. Пушкина, который не следовал буквально тексту-прототипу, а производил сначала компрессию смысла и далее работал с полученным таким образом ретрактом или символом, развертывая его уже по своему усмотрению.

Интересно в этом отношении пушкинское стихотворение «Пророк», прототипом которого послужил библейский текст «Видение пророка Исаии», в котором поэт выделил в качестве опорных лишь несколько моментов. Мы приведем этот текст в сжатом виде:

«Видел я Господа, сидящего на престоле высоком. Вокруг стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл... И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

И услышал я голос Господа: Пойди, и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их.

И сказал я: на долго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города и останутся без людей и великое запустение будет на этой земле... Но, как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, *остается* корень их, так святое семя *будет* корнем ее».

Пушкин увидел основу для художественного смысла в образе горящего угля, который серафим поднес к устам пророка, и в голосе бога: *...прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь... И коснулся уст моих... И услышал я голос Господа: пойди, и скажи этому народу...*

Этого было достаточно в качестве импульса для построения оригинальной фантазмагорической модели-интерпретации мифосимвола *Пророк*. В ней автор продемонстрировал выразительную мощь русских символов-архетипов, развивающих идею исходного символа в высоком ключе.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить пушкинский оригинал с его литературными переводами, выполненными на других языках. Обе модели-версии — и французская и английская — принадлежат мастерам поэтического слова.

THE PROPHET

Crazed by my soul's thirst
Through a dark land I staggered,
And a six-winged seraph
Halted me at a crossroads.
With fingers of dream
He touched my eye-pupils,
My eyes, prophetic, recoiled
Like a startled eaglet's.
He touched my ears
And a thunderous clangour filed them.
The shuddering of heaven,
The huge wingbeat of angels,
The submarine migration of sea-reptiles
And the bourgeoning of the earth's vine.
He forced my mouth wide,
Plucked out my own cunning
Garrulous evil tongue,
And with bloody finger
Between my frozen lips
Inserted the fork of a wise serpent.
He split my chest with a blade,
Wrenched my heart from its hiding,
And into the open wound
Pressed a flaming coal.

I lay on stone like a corpse.
There God's voice came to me:
"Stand, Prophet, you are my will.
Be my witness. Go
Through all seas and lands. With the Word
Burn the hearts of the people."

by Ted Hughes

LE PROPHETE

Tourmenté d'une soif spirituelle,
j'allais errant dans un sombre désert,
et un séraphin à six ailes m'apparut
à la croisée d'un sentier.
De ses doigts légers comme un songe,
il toucha mes prunelles;
mes prunelles s'ouvrirent
voyantes comme celles d'un aiglon effarouché;
Il toucha mes oreilles,
elles se remplirent de bruits et de rumeurs,
et je compris l'architecture des cieux
et le vol des anges au-dessus des monts,
et la voie des essaims d'animaux marins sous les ondes,
et le travail souterrain de la plante qui germe.
Et l'ange, se penchant vers ma bouche,
m'arracha ma langue pécheresse,
la diseuse de frivolités et de mensonges,
et entre mes lèvres glacées
sa main sanglante
mit le dard du sage serpent.
D'un glaive il fendit ma poitrine
et en arracha mon cœur palpitant,
et dans ma poitrine entrouverte
il enfonça une braise ardente.

Tel qu'un cadavre, j'étais gisant dans le désert,
et la voix de Dieu m'appela:
Lève-toi, prophète, vois, écoute,
.....
et parcourant et les mers et les terres,
brûle par la Parole les cœurs des humains.

par Prosper Mérimée

Из двух переводов верность образному содержанию оригинала в большей степени сохраняет перевод Мериме, который был современником Пушкина. Мы, однако, не будем останавливаться подробно на неточностях перевода в плане подстрочных соответствий, а обратимся к воссозданию в нем интересующих нас выразительных средств, которые можно сделать очевидными посредством обратного перевода.

Обратный перевод позволяет представить, с известной степенью приближения, то, как англоязычный или франкоязычный читатель или слушатель будет воспринимать смысл переводного текста, совершенно естественно отождествляя его со смыслом оригинала.

У Пушкина сказано:

*Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы
Как у испуганной орлицы.*

У Теда Хьюга имеем: With fingers of dream He touched my eye-pupils, My eyes, prophetic, recoiled Like a startled eaglet's. Обратный перевод: «Пальцами сна он коснулся зрачков моих глаз, мои глаза — пророческие — отпрянули как у испуганного орленка».

У Мериме: De ses doigts légers comme un songe, il toucha mes prunelles; mes prunelles s'ouvrirent voyantes comme celles d'un aiglon effarouché. Обратный перевод: «Своими пальцами, легкими как сон, он коснулся моих зрачков, мои пророческие зрачки раскрылись как у встревоженного орленка».

Потерян образ «орлицы» ввиду отсутствия специальных терминов в английском и французском языках. Но главное — потеря выразительности за счет отсутствия в них смысловых аналогов для идиосимволов. *Fingers — doigts, pupils — prunelles* — совсем не то, что *персты* и *зеницы*, которые несут в себе семантику священной древности, точно так же, как глагол *отверзлись* и эпитет *вещие*, не находящие себе точного соответствия в языках перевода, хотя фр. *voyant* 'зрячий' имеет и второе значение 'предвидящий'.

Точного соответствия не имеет и русский идиосимвол *десница*. Странно только, почему *десницею кровавой* переведено у Хьюга *with a bloody finger* (кровавым пальцем), а не *with a bloody hand*, тогда как Мериме сохранил *la main sanglante* (окровавленная рука).

*Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.*

У Теда Хьюга: «Stand, Prophet, you are my will. Be my witness. Go through all seas and lands. With the Word burn the hearts of the people». Обратный перевод: «Встань, Пророк, ты — моя воля. Будь моим свидетелем (глашатаем?). Иди по морям и землям. Словом жги сердца народа».

У Мериме: Lève-toi, prophète, vois, écoute, ... et parcourant et les mers et les terres, brûle par la Parole les cœurs des humains. Обратный перевод: «Встань, Пророк, смотри, слушай, ... и, обходя моря и земли, жги Речью сердца рода людского».

Ключевые для выразительности идиосимволы *виждь*, *внемли* не имеют аналогов в языках перевода. Мериме все же поставил на их место нейтральные глаголы *vois, écoute*, а Хьюг, очевидно, не счел возможным их употребить. Их отсутствие (а заодно и слабость выражения *you are my will*) он, по-видимому, решил компенсировать интерполяцией *be my witness*;

не совсем понятно то, что Хьюг использовал при этом слово *witness* 'свидетель', а не *herald* или *messenger* в значении 'вестник, глашатай'. У Мериме сегмент *Исполнишь волею моей* опущен.

Пронзительное *Глаголом жги сердца людей* вовсе не передано посредством английского *Word* (единственно возможного) у Хьюга и лишь частично отобрано у П. Мериме термином *Parole*. Вообще говоря, французский язык располагает здесь тремя возможностями: *mot* 'слово', *parole* 'слово, речь' и *verbe* — грамматический 'глагол', но также и сакральное 'Слово' — *Le Verbe de Dieu*. Ср. у В. Гюго: *Car le mot, c'est le Verbe, et le Verbe c'est Dieu* («Ибо слово есть Глагол, и Глагол есть Бог»).

Исторические причины стилистического расхождения французского и русского языков, в силу которых русский язык оказался богаче по своему стилистическому диапазону (в частности, он сохранил в обращении «высокую» старославянскую лексику), хорошо освещены в книге Ю. С. Степанова [1965, 235].

Далее мы рассмотрим пример модели-интерпретации мифосимвола *Феникс* во французской поэзии XX века. Поль Элюар, давая свою интерпретацию мифосимволу «Феникс» решает эту задачу средствами, присущими поэзии сюрреализма.

Phénix, oiseau fabuleux qui vivait en Arabie. Le Phénix s'immolait par le feu tous les cinq cents ans, et le nouveau jeune Phénix renaissait de ses cendres. En Égypte ancienne, le Phénix était associé au culte du Soleil. La tradition chrétienne des premiers temps adopta le Phénix comme symbole de l'immortalité et de la résurrection — Феникс, сказочная птица, жившая в Аравии. Феникс приносил себя в жертву огню каждые 500 лет. И новый, юный Феникс возрождался из его пепла. В древнем Египте Феникс ассоциировался с культом Солнца. В раннем христианстве Феникс считался символом бессмертия и возрождения.

LE PHENIX

Je suis le dernier sur ta route
Le dernier printemps la dernière neige
Le dernier combat pour ne pas mourir
Et nous voici plus bas et plus haut que jamais

Il y a de tout dans notre bûcher
Des pommes de pin des sarments
Mais aussi des fleurs plus fortes que l'eau
De la boue et de la rosée

La flamme est sous nos pieds
La flamme nous couronne
A nos pieds des insectes des oiseaux des hommes
Vont s'envoler
Ceux qui volent vont se poser

ФЕНИКС

По твоей дороге я шел последним
Последняя в мире весна последний снег
Последняя битва чтобы не умереть
И вот мы и выше и ниже всего.

Все можно найти в нашем костре
Сосновые шишки сухие лозы
Цветы что дождей не боятся
Грязь и росу.

Огонь под ногами
Огонь наш венок
Под ногами жуки птицы люди
Сейчас они улетят
А те что летят опустятся снова.

Le ciel est clair la terre est sombre
Mais la fumée s'en va au ciel
Le ciel a perdu tous ses feux
La flamme est restée sur la terre

La flamme est la nuée du coeur
Et toutes les branches du sang
Elle chante notre air
Elle dissipe la buée de notre hiver

Nocturne et en horreur a flambé le chagrin
Les cendres ont fleuri en joie et en beauté
Nous tournons toujours le dos au couchant

Tout à la couleur de l'aurore.

Небо прозрачно земля во мраке
Но дым летит к небесам
Небо теряет свои огни
А пламя осталось у нас на земле

Это пламя как облако сердца
Как цветущие ветки крови
Оно поет нашу песню
И дыхание зимы на стекле исчезает.

В страхе сгорают ночные печали
Радостно пепел зацвел
Мы отворачиваемся от заката

И все в свете зари.

P. Eluard

Перевод А. Ладинского

Исходный мифосимвол в произведении Элюара интерпретируется не в его исконном мифологическом контексте, а посредством импровизации; ему приписывается индивидуальный идиопозитический контекст, отражающий современную жизнь, но не в реальном (или квазиреальном) ключе, а в преломленном, ирреальном.

Если сравнить оригинал с переводом, то неверная тональность задана уже с первой строки. Перевод «По твоей дороге я шел последним», вместо авторского «Я последний на твоём пути», деформирует синтаксический параллелизм: «Последняя весна, последний снег». Этот параллелизм индуцирует вполне нормальную для такого дискурса семантическую неоднозначность интерпретации: буквальному смыслу «это — последняя весна и последний снег» сопутствует сопряженный: «ты — последняя весна, я — последний снег». Все это нейтрализовано в переводе.

Дискурс оригинала в своем разворачивании как бы питается энергией исходного мифосимвола — Феникса. Образы, представленные Элюаром, конкретны, субстанциональны: это не метафоры, не «как бы весна, снег, битва», не «как бы костер», не «как бы цветы и пламя» и т. д. Это действительно весна, снег, огонь, цветы и пламя, в котором трепещут и насекомые, и птицы, и люди. Поэтом создается сюрреалистическая картина, подобная картинам Сальвадора Дали и поражающая воображение; в ней люди транспонированы на уровень насекомых, которые барахтаются под ногами, в огне, готовятся взлететь, другие же летают, как на полотнах Марка Шагала, и, замороженные пламенем, попадают в него. Эта фантазмагория основана в своем построении, как и другие дискурсивные модели такого рода, на паралогических конструкциях, формирующих и второй символический план, демонстрирующий непреходящий характер высокого чувства, по контрасту с эфемерностью всего остального, сгорающего в ее огне.

Особенной символической мощью обладает образ цветов, которые находятся в костре наравне с сосновыми шишками и виноградными лоза-

ми, но не горят, они сильнее, чем вода: *les fleurs plus fortes que l'eau*. Вода, попав в огонь, испаряется и улетучивается, цветы не исчезают в этом огне, они *неопалимы* (аллюзия на мифосимвол *неопалимая купина* — *Le Buisson ardent*).

Автор же официального перевода написал бессмысленное и выпадающее из мифопоэтической системы Элюара: «цветы что дождей не боятся». Он стал просто перечислять предметы, которые находятся в костре, и не заметил внутренней антитезы, отмеченной союзом *mais*: *Mais aussi des fleurs plus fortes que l'eau*; то есть, все сгорает, но не цветы (они сильнее, чем вода).

Мы видим, что, как и у Марины Цветаевой, в дискурсе Элюара возникает повторяющийся идиосимвол. Это слово *flamme* — пламя, которое при каждом своем повторении впитывает очередной смысл, развивая динамику образа. Пламя охватывает лирических героев (*la flamme est sous nos pieds / la flamme nous couronne*), оно не гаснет при угасшем небе (*le ciel a perdu tous ses feux / la flamme est restée sur la terre*), пламенем пылает душа, и кровь обратилась в пламя:

La flamme est la nuée du coeur / Et toutes les branches du sang
(‘Пламя — облако души, пламя — ветвление кровеносных жил’).

Эти моменты остались не прочитанными переводчиком. Во-первых, уничтожив повтор слова *flamme*, переводя его то как «огонь», то как «пламя», он устранил и сам идиосимвол. Во-вторых, он нейтрализовал авторский образ, прибегнув к конструкциям сравнения, совершенно чуждым фантазмагорической модели: «Это пламя как облако сердца, как цветущие ветки крови». Переводчик, очевидно, не принял во внимание второе важное значение слова *coeur* — ‘душа’ и неудачно калькировал выражение *Et toutes les branches du sang*; при этом он попытался компенсировать эту неудачу неуместным эпитетом «цветущие»: «как цветущие ветки крови». Сравнительные обороты в переводе редуцируют исходный поэтический образ, обращая фантазмагорию в квазиреальность.

Les cendres ont fleuri en joie et en beauté (‘И прах расцвел в ликующей красе’) неуклюже переведено, как «радостно пепел зацвел», в результате чего размыт смысловой фокус образа — момент самовозрождения символического Феникса. У Элюара множественное число существительного *les cendres* значимо: это сакральный символ, связанный с религиозной мифологией (это именно ‘прах’, а не просто бытовое *la cendre* — ‘зола, пепел’). Глагол «зацветать» передает лишь начинательность процесса и тем самым нейтрализует масштабность общей картины.

Nous tournons toujours le dos au couchant означает не «мы отворачиваемся от заката», а ‘мы по-прежнему стоим спиной к закату (= лицом к восходу)’, что не одно и то же.

Мифосимвол «Феникс», принадлежащий к древней мифологической фантазмагории, в идиointерпретации Элюара претерпевает поэтическую метаморфозу: сливаясь с сюрреалистической фантазмагорией, он вырастает в образ вечного самовозрождения любви.

Обе рассмотренные модели-интерпретации мифосимволов (*Пророк* и *Феникс*) получили, мягко говоря, не совсем адекватные параллели в версиях-переводах. Общим для всех этих переводов является снижение в той или иной степени возвышенной тональности оригинала в сторону нейтрального регистра.

Если сопоставить степень расхождений, то ближе к оригиналу версия «Пророка» у Проспера Мериме. В ней, во-первых, точнее переданы детали, а во-вторых — французский язык оказался несколько богаче английского в плане воссоздания той акрофонии (высокого звучания), которая свойственна произведению Пушкина. Кое-где Мериме даже усилил этот момент, например, при переводе фразы *Как труп в пустыне я лежал* он использовал энергию глагола *gésir* (‘покоиться’) — *j'étais gisant dans le désert*. Тед Хьюг, по-видимому, мобилизовал все доступные средства английского языка и, тем не менее, его перевод в значительной степени выглядит как нейтрализация пушкинского акростиха.

Что касается русского перевода «Феникса», то можно сказать, что в нем утрачена поэтичность оригинала, созданная лаконичными и даже скупыми языковыми средствами, что могло отчасти ввести в заблуждение переводчика, направив его по пути выбора самых простых языковых соответствий. Это привело к упрощению авторской символики, к ее буквализации, «опредмечиванию», в том числе и изобретению таких неудачных формулировок, как «радостно пепел зацвел» и «цветущие ветки крови». В результате произошло переключение с фантазмагорической модели на метафорическую, квазиреальную и сброс тональности с уровня высокого стиля на уровень ниже нейтрального.

Разобранные примеры достаточно определенно демонстрируют лингвокультурную неравнозначность разных символических систем. Для их балансировки при переводе необходимо применение различного рода интерпретаций, позволяющих совершать более глубокие обращения разнотональных ценностей друг в друга. Таким переводчиком был, в частности, А. С. Пушкин, создавший свои «вольные» переводы произведений П. Мериме, А. Шенье, А. Мицкевича и других авторов, обладающие высоким художественным достоинством.

С творчеством А. С. Пушкина связан еще один любопытный пример дискурсивного моделирования одной и той же ситуации.

В стихотворении «Царскосельская статуя» Пушкин представляет скульптурное изображение девы с разбитым кувшином и затем интерпретирует его в мифопоэтическом (сказочном) ключе:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
 Дева печально сидит, праздный держа черепок.
 Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой.
 Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

А. К. Толстой, вступая в шуточный диалог с этим произведением, дает пародийную интерпретацию «чуда», возвращая образу его «истинную», материальную почву:

Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский
 В урне той дно просверлил, воду провел чрез нее.

Очевидно, что в интерпретации А. К. Толстого регистр модели нарочито снижен от мифопоэтического до реально-бытового, с которым контрастирует сохраненная размеренность стихотворного ритма, что и создает комический эффект.

Итак, слово-символ имеет две формы бытия: в составе своего дискурсивного контекста и обособленно от него. И в этом последнем случае символ представляет собой микромодель дискурса, он продолжает нести в себе смысл дискурсивного контекста, но уже имплицитно. Символ оказывается одним из способов хранения дискурса в языковом сознании. Когда со временем развернутая форма исконного дискурса начинает подвергаться эрозии, стираться в коллективной памяти, символ тоже испытывает процесс семантического «выветривания». Однако долго еще остается возможность интерпретации символа, компенсирующей семантические потери, — сначала на основе тех следов дискурса, которые сохранило языковое сознание, а впоследствии, по мере угасания доминанты исконного дискурса, символ продолжает быть катализатором языкового сознания, аттрактором для рефлексии, давая широкие возможности для импровизации.

§ 8. От дискурса к метатексту

Языковая система в своем фундаментальном метастабильном состоянии представляет собой систему значимостей, определяемых по отношению друг к другу чисто дифференциально; в системе нет ничего кроме оппозиций, кроме полярных отношений, которые носят множественный характер. Каждый элемент системы противостоит всем остальным. В этом состоянии вся система в целом характеризуется *изотропностью* — равновесностью, отсутствием избирательной ориентированности элементов по отношению друг к другу, а, следовательно, и собственная симметрия системы близка к полной симметрии. Те процессы, которые происходят на уровне подсознания, конечно, приводят, на фоне общего «равноправия» элементов к отдельным всплывкам аттракции как спонтанного возникновения и исчезновения центров притяжения, к самопроизвольному возник-

новению ячеистых автокаталитических образований. Радикальное изменение этого состояния с максимальной оппозитивной симметрией связано с появлением в сознании сильного устойчивого аттрактора, задающего катализирующий импульс. Катализатором системы может послужить некоторый образ внешнего мира, воспринятый сознанием, или образ, уже существовавший в нем, в том числе и некоторая языковая единица, попавшая в фокус рефлексии и выступающая в качестве аттрактора.

Когда катализатор вносит в систему свой параметр порядка, придающий ей ту или иную ориентацию, снижая тем самым степень ее симметрии, система испытывает гиперполяризацию и переходит в метастабильное *анизотропное* состояние. В этом состоянии изменяется сила энергетического сцепления тех или иных полюсов, попадающих в зону действия катализатора. В одних случаях она снижается, в других — акцентируется. На фоне полярных отношений образуются отношения порядка. Возникшая асимметрия требует уравнивающей компенсации за счет построения дополнительной языковой структуры, реализуемой в той или иной дискурсивной модели.

Из неопределенного изотропного состояния система переходит в такое реструктурированное метастабильное состояние, в котором активируются прежде всего те компоненты, которые необходимы для успешной коммуникации и построения дискурса.

Это динамическое коммуникативно-ориентированное состояние системы можно определить как *метатекст* [см. также: Борботько, 1981]. Метатекст представляет собой латентную фазу подстройки языкового сознания к осуществлению производства или восприятия дискурса.

Метатекст строится посредством активации и интеграции единиц, принадлежащих собственной дискурсивной базе языкового сознания, фиксированных в нем как языковые стеммы (целые микро- и макродискурсы, их ретракты различной степени конденсации) и дискурс-символы. Число текстовых единиц, которыми непосредственно владеет языковое сознание, по-видимому, настолько велико, что вряд ли средний носитель языка, обладающий обычным объемом памяти, способен не только воспринять все эти тексты, но и перечислить.

Указанная подстройка может затронуть и *дополнительную* текстовую базу, которая включает тексты, не фиксированные в языковом сознании, принадлежащие «внешней памяти» социума; это тексты разной степени доступности, отложившиеся как библиотечный литературный резерв, тексты, с которыми носитель языка знакомится в процессе общения и освоения литературы. Эти тексты имеют шанс обратиться, частично или полностью, в стеммы индивидуального, а затем и коллективного языкового сознания. Подвергаясь лемматизации (канонизации), они участвуют в построении расширенного метатекста, что усиливает креативные возможности языкового сознания.

Метатекст формируется как метатип, в фокусе которого порождается сопряженный смысл и затем эксплицируется в дискурсе. Основание метатекста состоит из ядерных операторов языка, а в его вершинной части образуется лагуна, соразмерная с порождаемым далее дискурсом. На первой стадии своего формирования метатекст образует неполную структуру, подлежащую достройке.

Структуризация метатекста завершается построением дискурса, дополняющего его до полной структуры; дискурс остается дополнением этого же метатекста вплоть до распада последнего. Дискурс может быть зафиксирован в виде текста и превращен из эфемерной сущности в элемент дополнительной текстовой базы. Далее он может быть обращен в элемент системной базы — переведен из статуса модели в статус языковой стеммы.

Языковое сознание может присвоить подходящий по объему дискурс в полной форме, а также свернуть его в некоторый ретракт — в реферат, в аннотацию, дающую лишь общее представление о его содержании и структуре, или же в символ этого дискурса (слово или афоризм). Сравнительная легкость этих преобразований наводит на мысль о том, что при свертывании используется телескопичность дискурсивной структуры, ее фрактальный, самоподобный характер. Метатексты, очевидно, тоже имеют телескопическое строение, и сознание может оперировать ими как в развернутом, так и в свернутом виде. Например, имена знаменитых авторов могут выступать как символы всего их творчества, образующего метатекст для каждого отдельного произведения. Поэтому и фразы типа «*читать Пушкина*» или «*читать Сервантеса*» звучат вполне осмысленно.

Символ как элемент языковой системы не сводится только к оболочке соответствующего ему дискурсивного покрытия, это не «папка», в которую упрятан фрагмент дискурса. Символ — это один из метастабильных узлов в структуре языкового сознания, из которого «видна» значительная часть всей структуры, весь метатекст, получивший свою свертку в данном символе.

Известно, что читатель следит не за словами, а за теми смыслами, которые они несут в себе. Символ — это «глаз» дискурсивной рефлексии, сквозь который она может видеть одновременно и ближайший контекст, и латентный метатекст и шире — всю систему. И как глаз не видит сам себя, так и рефлексия «не видит» символ в момент его активизации. Для того чтобы его увидеть, произвести дополнительную идентификацию или перекалибровку, рефлексия должна дистанцироваться от символа, перейти к другому узлу структуры.

Если мысленно произвести изъятие символа из породившей его контекстной матрицы, то на его месте останется не абсолютная пустота, но одна из фокальных точек, соответствующая смысловому содержанию символа, метатипически схваченному контекстной матрицей, то есть тому, что принято называть *концептом*. Символ становится диффузным для восприятия тогда, когда языковое сознание, индивидуальное или коллек-

тивное, не обладает метатекстом, содержащим тот дискурс-источник, в котором данный символ получил свою калибровку, соответствующую его концептуальному определению.

Метатекст — это условие как порождения, так и восприятия дискурса. В ходе смыслового восприятия дискурса слушающий надстраивает над дискурсом метатекст, обеспечивающий его интерпретацию. В простых случаях происходит автоматическое подключение к готовому метатексту (одной из типовых, стандартных настроек системы).

Стандартные метатексты определяют разные сферы и уровни рефлексии и коммуникации. Стандартный метатекст носит регулярный, устойчивый характер и служит для производства серии дискурсов. Разные индивиды располагают разными наборами стандартных метатекстов, что в значительной мере определяет коммуникативную мощь языковой личности, способность мгновенно подстроиться к той или иной сфере и обеспечить адекватное производство дискурса. Но, кроме того, каждый индивид обладает еще и собственным набором метатекстов, отличных от метатекстов всех остальных носителей языка как по составу текстовых компонентов, так и по характеру связи между ними. Взаимопонимание коммуникантов есть результат взаимной подстройки их метатекстов.

В связи с метатекстами стандартного характера можно говорить еще об одном случае порождения модели, когда рефлексия действует в регулярном режиме и ориентирована на построение непротиворечивого (и не противоречащего реальности) дискурса из готовых языковых единиц. Такая модель будет выглядеть как произвольная **компиляция** языковых единиц совершенно стандартного вида с соблюдением всех норм грамматического и семантического согласования между высказываниями. Модель-компиляция — это проекция языкового материала в дискурс, сочетание языковых выражений сообразно типовым и тривиальным ситуациям, без глубокого осмысления и без выдвижения особенных моментов. Творческая составляющая в такой модели близка к нулю. Модель-компиляция носит репродуктивный характер и по сути представляет собой набор копий существующих языковых единиц. Применение компилятивных текстов вполне оправдано на первых ступенях обучения иностранному языку; это учебные тексты, заданные элементарными тематическими фреймами (времена года, рабочий день, спорт, отдых и пр.).

В качестве любопытного примера компилятивной модели можно привести (в сокращенном виде) французский текст «*Le sermon en proverbes*» XVIII в., сплошь состоящий из паремических выражений:

Mes chers frères,

Cette vérité devrait faire trembler les pécheurs; car enfin Dieu est bon, mais aussi qui aime bien châtie bien. Il ne suffit pas de dire: je me convertirai; ce sont des propos en l'air; autant en emporte le vent. Un bon tien vaut mieux que deux tu

l'auras; il faut ajuster ses flûtes, et ne pas s'endormir sur le rôti; on sait bien où l'on est, mais on ne sait pas où l'on va, et quelquefois on tombe de fièvre en chaud mal; l'on troque son cheval borgne contre un aveugle...

Oui, mes frères, vous faites des châteaux en Espagne; mais prenez garde, le démon vous guette comme le chat fait la souris; chat échaudé craint l'eau froide; quand on sait ce qu'en vaut l'aune, on y met le prix; mais là-dessus les plus clairvoyants n'y voient goutte. La nuit tous les chats sont gris et quand on est mort c'est pour longtemps...

Choisissez d'être à Dieu ou au diable; il n'y a pas de milieu; il faut passer par la porte ou par la fenêtre; vous n'êtes pas ici pour enfilez des perles, mais pour faire votre salut; le démon a beau vous dorer la pilule, quand le vin sera versé, il faudra le boire; et c'est au fond du pot qu'on trouve le marc.

Au reste, à l'impossible nul n'est tenu; je ne peux pas vous sauver malgré vous. On dit que ce n'est rien de parler, le tout est d'agir... Je vais tâcher de faire mes orges, et de tirer mon épingale du jeu; alors, quand je serai sauvé, arrive qui plante, allez au diable, je m'en lave les mains.

(Trésor de la poésie populaire)

Этот текст, конечно, имеет игровое происхождение, он и выглядит как нарочитое сочетание паремических выражений, что говорит о предварительно заданном правиле игры — требовании употреблять только пословичные изречения, послужившим конструктивным импульсом. Повидимому, при отсутствии некоторого катализатора, задающего конструктивный импульс сознанию, трудно произвести даже компилятивный текст. Это хорошо известная ситуация, когда говорят: «скажите что-нибудь», что в ответ всегда вызывает состояние озадаченности.

Нами был проведен эксперимент, участникам которого предлагалось продолжить написание текста с заданными начальными фразами, поставившись при этом уйти от изложения стандартных ситуаций. В результате была выявлена стойкая тенденция у всех участников к порождению именно компилятивной модели, не выходящей за пределы стереотипных, тривиальных смыслов. Данные эксперимента указывают на то, что рефлексия у подавляющего числа людей не поднимается выше уровня «игры по заданным в социуме правилам», то есть, не выходит на уровень личностного сверхсознания, а если и отклоняется от них, то только «вниз», в сторону примитивной спонтанной игры ассоциаций. Испытуемых перед лицом пустой страницы заставляет производить компиляцию «инерция стереотипа» в их языковом образе мира, подобно которому и строится дискурс.

Условием формирования нестандартного метатекста является переход рефлексии из регулярного режима в режим импровизации. Нестандартные метатексты могут создаваться как на базе системы, так и с привлечением расширенной текстовой базы, преломляя в себе «голоса» разных дискурсивных источников. Нестандартный метатекст характеризуется высоким динамизмом и, очевидно, подвергается многочисленным модуляциям и расширениям в процессе производства соответствующего ему дискурса; о дина-

мике метатекста могут свидетельствовать, в частности, авторские комментарии в сносках, ссылки на литературу, интерполяции лингвокультурного характера. Для адекватного восприятия порожденного таким образом нестандартного дискурса необходима соответствующая подстройка языкового сознания реципиента, постижение им тех принципов языковой игры, на которых построен данный дискурс и соответствующий ему метатекст.

Метатекст — не формальная когнитивная структура типа фрейма, но тонально определенная настройка сознания, а, следовательно, имеющая определенную регистровую доминанту, что вовсе не исключает стилиевой эклектизм, свойственный, например, художественным произведениям. Язык может перестраиваться в теоретически бесконечное множество метатекстов.

Выводы по главе VIII:

1. В построении дискурса предпочтительно различать участие двух процедур: рекурсии как повторного применения оператора к базовым величинам и дискурсии как применения разных операторов к исходной величине. Рекурсия задает фундаментальную фазовую прогрессию, основу, на которой затем действует дискурсия, создающая фазовое ветвление. С рекурсией связано самоподобие конструкций, в которые дискурсия вносит моменты расподобления на уровне слова и на уровне высказывания.
2. Самоподобные явления в дискурсе наблюдаются в процессах дискретного представления смысла при автокаталитическом порождении первичной структуры предложения от базового предикативного оператора, а также в процессах свертывания дискурсивных структур.
3. В дискурсе происходит семантическое самоопределение слова, при этом слово проявляет свое эндотропное свойство — свертывает в себе содержание своего контекста.
4. Живое слово языка имеет символический статус. Знак — это клишированный, омертвевший символ. Символ свертывает в себе содержание на различных уровнях: на уровне контекста, всего дискурса, индивидуального творчества, языковой подсистемы и системы в целом. Все эти семантические пласты символа являются относительно независимыми друг от друга. Поэтому символ способен выступать и как контурная емкость со смутным смыслом. Переходя из языка в язык, слова чаще всего подчиняются номологическому фильтру нового языка и изменяют свое значение.
5. Целый дискурс тоже может фигурировать в качестве символа данной лингвокультуры и распространяться не только в переведенном виде, но и в свернутом — в виде афоризма, мифосимвола и т. д.

6. При дискурсивном развертывании символа образуется модель-интерпретация. Символ может иметь единичную (первичную или типовую) интерпретацию и множественные индивидуально-личностные интерпретации. При сравнении поэтических интерпретаций мифосимволов и их переводов выясняется неравнозначность близких по культуре языков в плане выразительных средств.
7. Для производства дискурса необходима соответствующая подстройка языковой системы, в процессе которой затрагивается и системная, и дополнительная текстовая база языкового сознания. В результате образуется метатекст — динамическое состояние системы, в котором активируются прежде всего те компоненты, которые необходимы для успешной коммуникации и построения дискурса. Метатекст имеет телескопическую структуру и является условием как порождения, так и восприятия дискурса.

Заключение

В процессе выявления принципов формирования дискурсивных структур язык предстал перед нами как игровая символическая система, позволяющая моделировать смыслы в широком диапазоне и способная к самоорганизации, самоорганизации, самообогащению.

Язык как лингвокультурный компонент психики является сложно организованным орудием рефлексии. Рефлексия — психический аналог игрового балансирования субъекта в динамической среде — сформировала в потоке сознания «остров» из метастабильных образов взаимодействия субъекта с объектом, поставив им в соответствие артикулированную звуковую субстанцию. Рефлексия создает из этого диктального материала все более усложненные дискурсивные модели, которые сознание копирует и присваивает как стеммы — динамические константы языка, а затем на их основе строит новые дискурсы.

В диктальную базу языка входят, кроме звукоподражательных единиц и фонокинем, фиксирующих образы взаимодействия субъекта со средой, также тонально-диффузные единицы, например, экспрессивные междометия и функционально эквивалентные им амальгамированные клише. К таким нерасчлененным выражениям носитель языка переходит тогда, когда в коммуникации, по той или иной причине, все другие моделирующие средства оказываются исчерпанными, или же в них попросту нет нужды. Не требуя работы рефлексии, они превосходят по своей доступности даже фразовые стереотипы.

Тонально-диффузные выражения обеспечивают ситуативно связанную коммуникацию за счет богатства своих интонационных вариаций. Но интонация сопровождает и любое структурированное речевое произведение. Тем самым фонетический уровень, традиционно считающийся низшим уровнем системы, оказывается одновременно и высшим. Вероятно, прав был М. М. Бахтин, утверждая, что сознание человека тонально. Базовая диктальность языка продолжает обрамлять и удерживать в себе содержание любой сложной структуры: исходный звукотип как бы «растягивается», саморасподобляется, принимая все более причудливые фрактальные формы. Языковая система, развиваясь, как бы расцветает внутри себя. И то, что на ранней ступени ее эволюции было в зачаточном состоянии, принимает все более развернутые и определенные дискурсивно сотворенные формы, которые вовсе не исчезают бесследно наподобие отчужденных лепестков, но система сохраняет их след в языковых стеммах, чтобы затем воспроизвести или же произвести на этой основе новые дискурсивные модели.

Языковые единицы рекурсивно вырастают друг из друга, приобретая те взаимные различия, которые им придаются в ходе дискурсивного расподобления. Система, несмотря на то, что в ней доминируют полярные отношения, легко перестраивается в метатекст принимая телескопическое (фрактальное) строение, как и порождаемый ею дискурс, что обеспечивается за счет взаимодействия рекурсии и собственно дискурсии. В глубинном фундаменте рефлексии находится столкновение образов сознания, порождающее калибровочный метатип, который, схваченный рефлексией, поставляет материал для образования всех последующих типов моделей в соответствии с принципами симметрии, модусы которой определяют игру диктального и семантического планов языка.

Фундаментальные операторы диктального регистра — фонокинемы, фиксирующие образы взаимодействия субъекта со средой, составляют системное ядро языка. Со структурой фонокинем в значительной мере корреспондируют формальные и смысловые параметры комплексных дискурсивных структур, как в плане операций, так и в принципах построения моделей. Эти соответствия, конечно, носят самый общий характер, они не отличаются абсолютной строгостью и однозначностью, как, впрочем, и многие другие соотношения между единицами языка. Тем не менее, общность между структурой фонокинемы и принципом организации модели того или иного типа, по-видимому, носит регулярный характер, в частности:

- кинеме «эндотропа» (свертывание) соответствует дискурсивная модель-символ;
- кинеме «экзотропа» (развертывание) — модель-интерпретация;
- кинеме «апокопа» (отчуждение) — модель-экстраполяция;
- кинеме «анакопа» (присвоение) — модель-версия;
- кинеме «анастрофа» (жесткое извлечение смысла) — модель-метатип;
- кинеме «энклиза» (ввод оператора с каталитическим эффектом) — модель-дериват;
- кинеме «синкопа» (расщепление смысла с тем же эффектом) — модель-трансполент.

Отметим также, что по своему происхождению все кинемы являются моделями-интерполентами, структурно выражающими различного рода фазовые переходы.

Живое слово языка, в противоположность застывшему, клишированному знаку, имеет статус символа — эндотропной дискурсивной микро-модели. Символ свертывает содержание на уровне своего ближайшего контекста, всего дискурса, индивидуального творчества, языковой подсистемы и системы в целом. Все семантические пласты символа являются относительно независимыми друг от друга. Поэтому символ способен выступать и как контурная емкость с диффузным обобщенным смыслом.

Переходя из языка в язык, символ подчиняется номологическому фильтру нового языка и изменяет свое значение. Целый дискурс тоже может фигурировать в качестве символа данной лингвокультуры, распространяясь не только в переведенном виде, но и в свернутом; его смысл концентрируется в слове, паремии, афоризме, и т. д. Сопоставление переводов поэтических идиосимволов обнаруживает неравнозначность даже близких по культуре языков в плане выразительных средств. Чем сложнее модель дискурса, чем разнообразнее поэтические средства, формы, примененные при его построении, тем в большей степени смысл разлит по всему дискурсу и тем меньше шансов на его построение другими средствами.

Чем выше рефлектирующий потенциал индивида, тем сложнее и содержательнее будут дискурсы, которые он способен воспринимать и производить. Поэтому игнорирование фактора рефлексии в преподавании языка, когда оно сведено только к обучению коммуникации, приводит к усвоению всего лишь языковых стереотипов, знаков, клишированных фраз, отвечающим речевому поведению в типовых, прагматически обусловленных коммуникативных ситуациях, для которых и в самом деле достаточно использования указанных стереотипов. Но такое «коммуникативное» знание языка сразу же приводит в тупик при попытке понять любой нормальный по сложности литературный текст.

Развитие компонента рефлексии в языковом сознании усиливает и коммуникативную мощь носителя языка, расширяет поле социальной коммуникации за пределы хорошо известных стандартных ситуаций. Расширенная коммуникация, в свою очередь, дает пищу для рефлексии и обогащает ее аппарат, позволяя интегрировать в одной языковой личности мировидение многих индивидов, перевести коллективное в индивидуальное, но также и сделать индивидуальное достоянием коллектива.

Разграничивая уровни социального, регулярного надсознания и личностного, «импровизационного» сверхсознания, не следует жестко привязывать мыслительную деятельность индивида только к уровню импровизации, а коллективное сознание только к уровню регулярной игры. В действительности за индивидом и за социумом сохраняются несколько возможностей.

Один и тот же индивид может действовать и в регулярном режиме надсознания, в полном согласии с социально установленными правилами, и в режиме творческой импровизации, создавая нестандартный, но качественный продукт. Но тот же индивид может опуститься на стихийный уровень и нарушать общие правила не из творческих побуждений, а в силу того, что он попадает под влияние спонтанных процессов подсознания и тающих в нем глубинных мотивов, диктующих в том числе и антисоциальное, деструктивное поведение. Такое поведение будет не вне-разумным, а просто неразумным.

Кроме того, могут создаваться более серьезные ситуации, когда не отдельные индивиды, а значительная часть социума в своем мышлении и поведении входит в стихийный режим, опрокидывающий систему общепринятых ценностей. В истории известны и такие критические моменты, когда весь социум «сходит с ума», когда происходит его сброс со стандартного уровня на уровень несбалансированного спонтанного поведения, что чревато крупными катаклизмами. Но бывают и периоды, когда социальная атмосфера оказывается исключительно благоприятной для импровизации, когда весь социум оказывается как бы настроенным на творческую волну.

Если все эти моменты не учитывать, то, конечно, в ряде ситуаций легко смешать творческую импровизацию и нестандартное спонтанное поведение, поскольку оба эти режима расходятся с социально санкционированными регулярностями. Граница между ними для неискушенного человека может быть недостаточно очевидной.

Рефлексия изначально диалогична: прежде чем стать сознанием сознания, она возникла как расщепление сознания на две инстанции, вступающие между собою в незримый диалог. В ходе этого диалога рефлексия сталкивает противоречащие друг другу в том или ином отношении образы и развивает дискурс, обеспечивающий их интерполяцию.

Если коммуникацию рассматривать не в плане тривиального обмена информацией, но именно как диалог, то можно говорить о ней как о *коллективной рефлексии*. Построение единой языковой модели мира есть результат деятельности коллективной рефлексии, осуществляемой коллективным субъектом. Наличие иллюзий в восприятии и моделировании мира не исключает возможности организовать адекватное поведение человека, если один и тот же фрагмент действительности представлен во многих ракурсах, со многих точек зрения.

Модель мира, созданная коллективно, дает мощную базу для индивидуальной рефлексии, которую разные личности реализуют в разной мере. И здесь несомненно ведущую роль играют выдающиеся литераторы, концентрирующие рефлексию многих личностей в художественном дискурсе, непосредственной функцией которого, несмотря на имманентный характер его построения, оказывается самоотражение общества, игровое представление места человека в мире посредством дискурсивного моделирования квазиреальных и ирреальных ситуаций, расширяющих возможности рефлексии, усиливающих ее креативный потенциал.

Для взаимопонимания необходима выработка единого мировоззрения, но оно не должно быть единственным. Иначе категорическая регламентация, абсолютизация игры по ритуально определенным, раз и навсегда заданным правилам, не оставит простора для игры-импровизации и духовного прогресса, не замыкающегося на уже установленной аксиоматической базе, но расширяющего горизонты предвидения как посредством

рационального исчисления, так и путем иррационального предвосхищения. Рефлексия как дискурсивное моделирование будущего, нацеленное на синхронизацию деятельности коллективного субъекта с динамикой природных процессов, предупреждает моменты анархии, сопряженные с неконтролируемым спонтанным поведением.

В интеграции языков и культур можно усмотреть определенное противоречие: для согласования деятельности на суперэтническом уровне необходим общий язык, но для развития коллективной рефлексии важно сохранять многообразие этнических языков. Стремление к абсолютизации единой аксиоматической базы отрицательно сказывается на коллективной рефлексии, так как есть опасность ее превращения из диалогической в монологическую. Полная языковая интеграция привела бы к исключению важного момента дополнительности в построении образа мира за счет действия разных рефлектирующих инстанций. Благодаря наличию разных языков, каждый из которых реализует свой стиль рефлексии, человечество обладает многообразной синоптической картиной мира.

Результаты исследования принципов формирования дискурсивных структур могут послужить стартовой площадкой для того, чтобы выйти за пределы ограниченного круга тех стандартных приемов и описаний, которые предоставляет нам традиционные риторика и лингвистика текста, выйти на игровое поле дискурсивной рефлексии, где, при всей сложности построений, правила игры просты и изящны, так как эта игра управляется принципами симметрии, а многообразие форм беспредельно и глубина смыслов неисчерпаема.

Библиография

- Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М.: Советское радио, 1974. 271 с.; 2-е изд. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2008.
- Андреев Н. Д. Ранне-индоевропейский праязык. Л.: Наука, 1986. 328 с.
- Анисимов А. В. Информатика, творчество, рекурсия. Киев: Наукова думка, 1988. 223 с.
- Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональных систем. М.: Наука, 1978. 400 с.
- Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М.: Наука, 1974. 366 с.
- Арнольд В. И. Теория катастроф. М.: МГУ, 1983. 80 с.; 5-е изд. М.: URSS, 2009.
- Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. М.: Наука, 1988. 339 с.
- Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М.: Прогресс, 1985. С. 3–42.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Ин. лит-ра, 1955. 416 с.; 2-е изд. М.: URSS, 2001.
- Балли Ш. Французская стилистика. М.: Ин. лит-ра, 1961. 394 с.; 3-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009.
- Баранцев Р. Г. Имманентные проблемы синергетики // Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. М.: Наука, 2002. С. 460–477.
- Барроу Т. Санскрит. М.: Прогресс, 1976. 410 с.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 317 с.
- Беланже М. А. Хаос, сложность и Гюстав Гийом // Лингвистика на исходе XX в. Тезисы международной конференции. Ч. 1. М.: Филология, 1995. С. 43–44.
- Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. М.: Прогресс, 1981. 288 с.
- Белова А. Г. К вопросу о реконструкции семитского корневого вокализма // Вопросы языкознания, 1993. № 6. С. 28–56.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 447 с.; 3-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009.
- Береговская Э. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания, 1996. № 3. С. 32–41.
- Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Прогресс, 1988. 400 с.
- Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990. 495 с.
- Бехтерев В. М. Гипноз, внушение, телепатия. М.: Мысль, 1994. 365 с.

- Борботько В. Г. Динамика формирования ценностей в фазовом пространстве языка и дискурса // Лингвистические ценности и коммуникация. Сочи, 2001. С. 41–50.
- Борботько В. Г. Игровое начало в деятельности языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: Ин-т языкознания РАН, 1996. С. 40–54.
- Борботько В. Г. Принципы построения смысла на уровне корневой фоносинтагмы в индоевропейских языках // Первая всероссийская конференция по проблемам сравнительно-исторической индоевропеистики. Тезисы докладов. М.: МГУ, 1997. С. 3–4.
- Борботько В. Г. Рефлексы корневой фоносинтагмы QW в индоевропейских языках // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы. Тезисы докладов международной научной конференции. М.: МГУ, 2003. С. 25–29.
- Борботько В. Г. Элементы теории дискурса. Грозный, 1981. 113 с.
- Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха (VIII–XIII вв.). М.: Наука, 1978. 373 с.
- Бремон К. Структурное изучение повествовательных текстов В. Проппа // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 429–436.
- Бурвикова (Зарубина) Н. В. Закономерности линейной структуры монологического текста / Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1981. 41 с.
- Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 44–87.
- Валюсинская З. В. Вопросы изучения диалога в работах советских лингвистов // Синтаксис текста. М.: Наука, 1979. С. 299–313.
- Веккер Л. М. Психические процессы. Т. 3. Л.: ЛГУ, 1981. 326 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: ВШ, 1989. 406 с.
- Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971. 318 с. Под назв.: [Инвариантность и законы сохранения. 2-е изд. М.: URSS, 2004.
- Винер Н. Кибернетика / пер. с английского. М.: Сов. Радио, 1968. 326 с.
- Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: Наука, 1963. 255 с.
- Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: ВШ, 1971. 239 с.
- Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике / Вып. XVI. М.: Прогресс, 1985. С. 79–128.
- Волошинов В. М. Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 1993. 189 с.
- Воронин С. В. Интрасинтагма в звукоизобразительной системе языка // Контекстуальная семантика. Рига: ЛГУ, 1982. С. 20–25.
- Выготский Л. С. Мышление и речь. М.—Л.: Соцэкгиз, 1934. 324 с.
- Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Педагогика, 1982. 486 с.
- Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. 397 с.

- Гак В. Г. Истина и люди // Истина и истинность в культуре и языке. М.: Наука, 1995. С. 24–31.
- Гак В. Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1988. С. 11–25.
- Гак В. Г. О семантической организации повествовательного текста // Лингвистика текста. Вып. 103. М.: МГПИИЯ, 1976. С. 5–14.
- Гак В. Г. Повторная номинация на уровне предложения // Синтаксис текста. М.: Наука, 1979. С. 91–102.
- Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.; 7-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009.
- Гальперин П. Я. Введение в психофизиологию. М.: МГУ, 1976. 150 с.
- Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое Литературное Обозрение, 1966. 351 с.
- Гаусенблас К. О характеристике и классификации речевых произведений // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 57–78.
- Гегель Г. Наука логики / Т. 2. М.: Мысль, 1971. 248 с.
- Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 2. М.: Мысль, 1975. 695 с.
- Гиндин С. И. Советская лингвистика текста. Некоторые проблемы и результаты (1968–1975) // Известия АН СССР, серия ЛЯ, 1977. № 4. С. 348–361.
- Голицын Г. А. Информационный подход в психологии творчества // Исследования проблем психологии творчества. М.: Наука, 1983. 336 с.
- Голицын Г. А., Петров В. М. Гармония и алгебра живого. М.: Знание, 1990. 126 с.; 2-е изд. М.: КомКнига/URSS, 2005.
- Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. 218 с.
- Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. М.: Наука, 1983. 224 с.
- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 397 с.
- Дейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 259–336.
- Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
- Долинин К. А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985. 288 с.; 2-е изд. М.: КомКнига/URSS, 2005.
- Дресслер В. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 111–137.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Прогресс, 1999. С. 131–256. Переизд. в URSS в одноим. кн., 2006.
- Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 157 с.
- Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 1979. 493 с.
- Звегинцев В. А. О цельнооформленности единиц текста // Известия АН СССР, серия ЛЯ. Т. 39, 1980. № 1. С. 13–21.
- Земская Е. А., Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Языковая игра // Русская разговорная речь. М.: Наука, 1983. С. 172–214.

- Золотова Г. А. Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста. М.: Наука, 1979. С. 113–133.
- Иванов Н. В. Проблемные аспекты языкового символизма. Минск: Проппеи, 2002. 176 с.
- Ивин А. А. Основания логики оценок. М.: МГУ, 1970. 229 с.
- Иден М. Распознавание типа облачного покрова // Распознавание образов. М.: Мир, 1970. С. 268–269.
- Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. М.: Наука, 1971. 370 с.; 4-е изд. М.: URSS, 2003.
- Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1984. 320 с.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 263 с.; 6-е изд. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2007.
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I. М.—С.-Пб.: Университетская книга, 2002. 272 с.
- Келемен Я. Текст и значение // Семиотика и художественное творчество. М.: Наука, 1977. С. 104–124.
- Кизель В. А. Физические причины диссимметрии живых систем. М.: Наука, 1985. 119 с.
- Киселева Л. А. Проблемы исследования русского языка как средства воздействия / Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л.: 1979. 46 с.
- Кожина М. Н. Диалогичность письменной научной речи как проявление социальной сущности языка // Методика и лингвистика. М.: Наука, 1981. С. 187–214.
- Колианский Г. В. Коммуникативная дискретность языка // Лингвистика текста, сб. науч. трудов. Вып. 103. М.: МГПИИЯ, 1976. С. 15–22.
- Колианский Г. В. Контекстная семантика. М.: Наука, 1980. 149 с.; 3-е изд. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2007.
- Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. 720 с.
- Крюков М. М., Крюкова Л. И. Принципы отражения экономической действительности в деловых играх. М.: Наука, 1988. 205 с.
- Ларин Б. А. О разновидностях художественной речи. Семантические этюды // Русская речь. Пг., 1923. С. 57–95.
- Левин Ю. И. Истина в дискурсе // Семиотика и информатика / Вып. 34. М.: ВИНТИ, 1994. С. 124–164.
- Левина Е. М. Русская фольклорная небылица / Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1983. 19 с.
- Леви-Стросс К. Деяния Асдиваля // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М.: Наука, 1985. С. 35–76.
- Леви-Стросс К. Структура и форма // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 400–428.
- Лекомцев Ю. К. Антонимический текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 197–206.
- Леонтьев А. А. Признаки связности и цельности текста // Лингвистика текста. Сб. науч. трудов. Вып. 103. М.: МГПИИЯ, 1975. С. 60–70.

- Леонтьев А. А. Язык как социальное явление (к определению объекта языкознания) // Известия АН СССР, серия ЯЛ. Т. 35, 1976. № 4. С. 299–307.
- Леонтьев А. А. Актуальное членение и способы его выражения в русском языке // Теория языка, методы его исследования и преподавания. Л.: Наука, 1981. 291 с.
- Леонтьев А. А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание. М.: РАН, 1993. С. 16–21.
- Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Т. 2. М.: Педагогика, 1983. 318 с.
- Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: Мысль, 1981. 583 с.
- Леонтьева Н. Н. О смысловой неполноте текста // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 12. М.: МГПИИЯ, 1969. С. 96–114.
- Лихачев Д. С. Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в древней Руси. Л.: Наука, 1984. 295 с.
- Ломов Б. Ф. Математика и психология в изучении процессов принятия решений // Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. М.: Наука, 1981. С. 5–21.
- Ломтев Т. П. Внутренние противоречия как источник исторического развития структуры языка // Энгельс и языкознание. М.: Наука, 1972. С. 57–80.
- Лотман Ю. М. Текст как динамическая система // Структура текста 81. М.: Наука, 1981. С. 104–105.
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистического искусства. М.: Искусство, 1976. 367 с.
- Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: МГУ, 1973. 374 с.
- ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
- Магун В. С. Потребности и психология социальной деятельности человека. Л.: Наука, 1983. 176 с.
- Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 280 с.
- Маковский М. М. Теория лексической аттракции. М.: Наука, 1971. 249 с.
- Марковина И. Ю. Культурные факторы и понимание художественного текста // Изв. АН СССР, серия ЛЯ. Т. 43, 1984. № 1. С. 48–55.
- Мегентесов С. А. Паремии как внутренняя форма литературного дискурса // Лингвистические ценности и коммуникация. Сочи, 2001. С. 69–78.
- Мелетинский Е. М. Структурная типология и фольклор // Контекст 1973. М.: 1974. С. 329–346.
- Минский М. Структура для представления знаний // Психология машинного зрения. М.: Мир, 1978. С. 249–338.
- Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М.: Прогресс, 1988. С. 281–310.
- Миронова Н. Н. Дискурс-анализ оценочной семантики. М.: Тезаурус, 1997. 158 с.

- Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М.: Наука, 1982. 104 с. 2-е изд. М.: URSS, 2004.
- Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983. 215 с.
- Обуховский К. Психология влечений человека. М.: Прогресс, 1971. 247 с.
- Овчинников Н. Ф. Структура и симметрия // Системные исследования. М.: Наука, 1971. С. 111–121.
- Одинцов В. В. Стилистика текста. М.: Наука, 1980. 263 с.; 4-е изд. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2007.
- Одинцов В. В. Грамматические формы в художественной прозе // Стилистика художественной литературы. М.: Наука, 1982. С. 76–85.
- Павлов В. М. О противоречиях в языке // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М.: Наука, 1970. С. 88–109.
- Павлов И. П. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1951. 582 с.
- Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М.: Наука, 1982. 357 с.
- Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Ин. лит-ра, 1960. 500 с.
- Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. М.: МГУ, 1988. 207.
- Петров Н. Е. О содержании и объеме языковой модальности. Новосибирск: Наука, 1982. 160 с.
- Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970. 240 с.
- Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988. 235 с.
- Пиотровский Р. Г. Теоретические и прикладные проблемы языкознания на рубеже XX в. // Лингвистика на исходе XX в. Тезисы международной конференции. Ч. 2. М.: Филология, 1995. С. 417–419.
- Платонов К. К. О системе психологии. М.: Мысль, 1972. 216 с.
- Пономарев Я. А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. 303 с.
- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М.: Мысль, 1974. 487 с.
- Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Москва—Ижевск, 2000. 208 с.
- Пропп В. Я. Морфология сказки. М.: Наука, 1969. 168 с.
- Пфютце М. Грамматика и лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 218–242.
- Рихтер Э. Как мы говорим? / Перевод с нем. под ред. Л. В. Щербы. С.-Пб., 1913. 124 с.
- Рузин И. Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке // Вопросы языкознания, 1994. № 6. С. 79–100.
- Русская грамматика. Т. 2, синтаксис / Ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1982. 709 с.
- Севбо И. П. Структура связного текста и автоматизация реферирования. М.: Наука, 1969. 135 с.
- Семиотика / Ред. Ю. С. Степанов. М.: Радуга, 1983. 636 с.
- Сепир Э. Градуирование // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М.: Прогресс, 1985. С. 43–78.

- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. 655 с.
- Серио П. О языке власти: критический анализ // *Философия языка: в границах и вне границ*. Харьков: Око, 1993. С. 83–100.
- Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга // *Избранные произведения*. М.: Учпедгиз, 1958. 412 с. Отдельной книгой выходило в URSS в 2009 г.
- Сильницкая Г. В., Сильницкий Г. Г. Модель глагольного действия и семантическая классификация глаголов с предикатными актантами // *Категории глагола и структура предложения*. Л.: Наука, 1983. С. 28–41.
- Слышкин Г. Г. От текста к символу. М.: Academia, 2000. 128 с.
- Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М.: Наука, 1981. 206 с.
- Смирнов А. А. Психология запоминания. М.—Л.: АПН РСФСР, 1948. 328 с.
- Смирнов Г. А. К вопросу о структурности текста // *Вопросы психологии*, 1983. № 4. С. 111–113.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 695 с.
- Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990. 275 с.
- Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М.: Политиздат, 1972. 303 с.
- Степанов Г. В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста // *Известия АН СССР, серия ЛЯ*. Т. 39, 1980. № 3. С. 195–204.
- Степанов Г. В. Язык, литература, поэтика. М.: Наука, 1988. 382 с.
- Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и Принцип причинности // *Язык и наука конца 20 века*. М.: РАН, 1996. С. 35–73.
- Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М.: Наука, 1985. 334 с.
- Степанов Ю. С. Французская стилистика. М.: Высшая школа, 1965. 355 с. 5-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009.
- Суходольский Г. В. Основы психологической теории деятельности. Л.: ЛГУ, 1988. 165 с.
- Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М.: Наука, 1981. 269 с.
- Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988. 654 с.
- Тодоров Х. Критика литературоведческих взглядов Р. Барта // *Структурализм: «за» и «против»*. М.: Прогресс, 1975. С. 377–394.
- Тодоров Ц. Грамматика повествовательного текста // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. VIII. М.: Прогресс, 1978. С. 450–463.
- Тодоров Ц. Понятие литературы // *Семиотика*. М.: Радуга, 1983. С. 355–369.
- Том Р. Топология и лингвистика // *Успехи математических наук*. Т. XXX. Вып. 1, 1975. С. 199–221.
- Трошина Н. Н. О семантико-синтаксическом аспекте цельности (когерентности) художественного текста // *Аспекты общей и частной лингвистической теории текста*. М.: Наука, 1982. С. 50–61.

- Тураева З. Я. Лингвистика текста. М.: Просвещение, 1986. 127 с.; 2-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009.
- Фигуровский И. А. Основные направления в исследованиях синтаксиса связного текста // *Лингвистика текста. Материалы научной конференции*. Ч. II. М.: МГПИИЯ им. М. Тореца, 1974. С. 108–115.
- Флоренский П. А. Имена. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. 912 с.
- Флоренский П. А. История и философия искусства. М.: Мысль, 2000. 446 с.
- Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. М.: Правда, 1990. 447 с.
- ФЭС — Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983. 839 с.
- Хаген Г. Синергетика. М.: Мир, 1985. 423 с.
- Хаген Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. Москва—Ижевск, 2003. 320 с.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1992. 464 с.
- Хинтиikka И. Вопрос о вопросах // *Философия и логика*. М.: Наука, 1974. С. 303–362.
- Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л.: Наука, 1979. 304 с.
- Хэллидей М. А. К. Место «функциональной перспективы предложения» в системе лингвистического описания // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. VIII. М.: Прогресс, 1978. С. 138–148.
- Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Суггестивная лингвистика. С.-Пб.: Лань, 1996. 204 с.
- Черняховская Л. А. Информационный инвариант смысла текста и вариативность его языкового выражения / Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1983. 34 с.
- Чудаков А. П. Проблема сказа в работах В. В. Виноградова // *Русский язык: Проблемы художественной речи*. М.: Наука, 1981. С. 3–19.
- Шафрановский И. И. Симметрия в природе. Л.: Недра, 1985. 168 с.
- Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Ин. лит-ра, 1963. 829 с.
- Шитов И. П. Природа художественной ценности. Киев: Вища школа, 1983. 222 с.
- Шишкин А. Ф. Человеческая природа и нравственность. М.: Мысль, 1979. 268 с.
- Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Ижевск: РХД, 2001. 527 с.
- Шрейдер Ю. А. О диалектике семиотических категорий // *Кибернетика и диалектика*. М.: Наука, 1978. С. 236–250.
- Штеллинг Д. А. Проблемы языкознания. М.: МИМО, 1983. 107 с.
- Шубников А. В., Копчик В. А. Симметрия в науке и искусстве. Москва—Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2004. 560 с.
- Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995. 759 с.
- Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 113–129.

- Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. 428 с.; 4-е изд. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2008.
- Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 555 с.
- Юдаева О. В. Глагольная редупликация на базе номинативного повтора / Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 16 с.
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193–230.
- Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 462–482.
- Якубинский Л. П. Избранные работы. М.: Наука, 1986. 207 с.
- Adam J.-M. Linguistique et discours littéraire. Théorie et pratique des textes. Paris: Larousse, 1976. 351 p.
- Anscombe J.-C., Ducrot O. Lois logiques et lois argumentatives // Le français moderne, 1979. № 1. P. 35–52.
- Austin J. How to do Things with Words. Cambridge: Harvard UP, 1962. 167 p.
- Ballmer T. Frames and context structures // Zum Thema Sprache und Logik. Hamburg, 1980. S. 281–334.
- Barthes R. La linguistique du discours // Sign. Language. Culture. The Hague—Paris: Mouton, 1970. P. 580–584.
- Bastian T. Der unterhörte Ruf: Sprachtheoretische Überlegungen zur Psychopathologie. Frankfurt a. M.: Haag & Herchen, 1981. 81 S.
- Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1966. 356 p.
- Benveniste E. L'appareil formel de l'énonciation // Langages, 1970. № 17. P. 12–18.
- Buyssens E. La communication et l'articulation linguistique. Bruxelles: Presses Universitaires, 1970. 175 p.
- Charodeau P. Les conditions linguistiques d'une analyse du discours. Lille: Université de Lille III, 1978. 575 p.
- Daneš F. FSP and the Organization of the Text // Functional Sentence Perspective. Papers prepared for the Symposium at Mariánské Lázně on 12–14 october, 1970.
- Dijk T. A. van. Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse. New York: Longman, 1977. 261 p.
- Dijk T. A. van. Studies in the pragmatics of discourse. The Hague—Paris: Mouton, 1981. 331 p.
- Dubois J., Giacomo M. et al. Dictionnaire de linguistique. Paris: Larousse, 1973. 516 p.
- Ducrot O. Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique. Paris: Hermann, 1972. 283 p.
- Galmich M. Quantificateurs, référence et théorie transformationnelle // Langages, 1977. № 48. P. 3–49.
- Greimas A. J. Sémantique structurale. Paris: Larousse, 1966. 262 p.
- Greimas A. J. Des accidents dans les sciences dites humaines // Introduction à l'analyse du discours en sciences sociales. Paris: Hachette, 1979. P. 28–60.

- Harris Z. S. Analyse du discours // Langages, 1969. № 13. P. 8–45.
- Harris Z. S. Notes du cours de syntaxe. Paris: Ed. du Seuil, 1976. 238 p.
- Helgorsky F. Norme et Histoire // Le français moderne, 1982. № 1. P. 15–41.
- Inoue K. An inference of syntax, semantics and discourse structures // Lingua. Vol. 57. Amsterdam, 1982. P. 259–300.
- Kristeva J. Le langage, cet inconnu. Paris: Ed. du Seuil, 1981. 334 p.
- Kristeva J. Le texte clos // Langages, 1968. № 12. P. 103–125.
- Le Guern M. Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris: Larousse, 1973. 126 p.
- Mahmoudian M. La linguistique. Paris: Seghers, 1982. 239 p.
- Marandin J.-M. Problèmes d'analyse du discours // Langages, 1979. № 55. P. 17–88.
- Maurand G. «Le corbeau et le renard». Approche narrativo-discursive // Documents du groupe de recherches sémiolinguistiques de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. № 17. Paris, 1980. 31 p.
- Peytard J. Evaluation sociale dans les thèses de Mikhaïl Bakhtine et représentations de la langue // Langue française, février 1990. № 85. P. 6–21.
- Pike K. L. Language in Relation to an Unified Theory of the Structure of Human Behaviour. The Hague—Paris: Mouton, 1967. 762 p.
- Pottier B. Pensée et cognition // Faits de langue. Motivation et iconicité. Paris: Presses Universitaires de France, 1993. № 1. P. 99–103.
- Säger S. F. Sprechakt oder Kontakt? Drei Thesen gegen der Allgemeingültigkeitsanspruch des Sprechakttheorie // Akten des 14 linguistischen Kolloquiums. Bd. 2. Tübingen, 1980. S. 137–148.
- Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Ed. critique préparée par T. de Mauro. Paris, 1979. 509 p.
- Sauvageot A. Français écrit, français parlé. Paris: Larousse, 1962. 235 p.
- Searle J. P. Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge, 1979. 187 p.
- Sémiotique. L'école de Paris / Coquet J.-C., Arrivé M. et al. Paris: Classiques Hachette, 1982. 207 p.
- Sumpf J. A quoi peut servir l'analyse du discours? // Langages, sept. 1979. № 55. P. 5–16.
- Swiggers P. Sur l'histoire du terme «valeur» en linguistique // Revue roumaine de linguistique / T. 26, 1981. № 2. P. 145–150.
- Tesnière L. Eléments de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck, 1959. 670 p.
- Todorov T. La grammaire du récit // Languages, 1968. № 12. P. 94–102.
- Whorf B. Language, Thought and Reality. Massachusetts: The Mit Press, 1993. 278 p.

Список источников текстового материала

- Афоризмы старого Китая* / Пер. с китайского В. В. Малявина. М.: Наука, 1988.
- Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. В 3 т. М.: Наука, 1984.
- Барский Л. А.* Это просто смешно. М.: Х. Г. С., 1994.
- Высоцкий В.* Собрание сочинений. В 4 т. М.: Надежда-1, 1997.
- Ганеев Б. Т.* Парадокс: парадоксальные высказывания. Уфа, 2001.
- Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1955.
- Дворецкий И. Х.* Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. М., 1958.
- Дворецкий И. Х.* Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1986.
- Залыгин С.* Санний путь // Рассказы о природе. Пермь: Кн. изд-во, 1983.
- Кацуки С.* Практика дзэн. Железная флейта. Киев: Преса України, 1993.
- Кирсанов С.* Искания. М.: Худ. лит-ра, 1967.
- Кочергина В. А.* Санскритско-русский словарь. М.: Русский язык, 1987.
- Крылов И. А.* Басни. Полное собрание. – М.: Рипол., 1997.
- Левитанский Ю.* Воспоминанье о красном снеге. Стихи. М.: Худ. лит-ра, 1975.
- Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений. В 6 т. – М.: Молодая гвардия, 1950.
- Маяковский В.* Полн. собр. соч. В 13 т. М.: Худ. лит-ра, 1955–1961.
- Мифологический словарь* / Под ред. Е. М. Мелетинского М.: СЭ, 1991.
- Мериме — Пушкин.* Сборник / Сост. З. И. Кирнозе. М.: Радуга, 1987.
- Николаюк Н.* Библийское слово в нашей речи. С.-Пб.: Светлячок, 1998.
- Пастернак Б.* Собрание сочинений. В 5 т. М.: Худ. лит-ра, 1989–1991.
- Платонов А.* Избранное. М.: Современник, 1977.
- Поэзия русского футуризма.* С.-Пб.: Академический проект, 1999.
- Пришвин М.* Избранное. М.: Правда, 1977.
- Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. В 2 томах. М.: Классика, 1999.
- Славянский фольклор. Тексты* / Сост. Кравцов Н. И., Кулагина А. В. М.: МГУ, 1987.
- Собрание народных песен П. В. Киреевского.* В 2 т. Л.: Наука, 1983.
- Сатира XI–XVII веков. Сокровища древнерусской литературы.* М.: Сов. Россия, 1987.
- Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. Репринтное изд. в 3 т. М.: Книга, 1989.
- Тейяр де Шарден П.* Феномен человека / Пер. с французского. М.: Наука, 1987.
- Толстой Л. Н.* Собрание сочинений. В 22 т. М.: Худ. лит-ра, 1978–1984.

- Туган-Барановская Б.* Русские и французские пословицы и поговорки. М.: АРТ + N, 1994.
- Цветаева М.* Избранное. М.: Худ. лит-ра, 1961.
- Цветаева М.* Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М.: Худ. лит-ра, 1990.
- Фрейдкин М., Аванесов А., Бобров Р., и др.* Жорж Брассанс. Избранные песни / Сост. Фрейдкин М. М.: Carte Blanche, 1996.
- Хармс Д.* Избранное. В 2 т. М.: Виктория, 1994.
- Хлебников В.* Творения. М.: Сов. писатель, 1987.
- Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. М.: Современник, 1989.
- Чуковский К. И.* Стихотворения. С.-Пб.: Академический проект, 2002.
- Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В.* Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М.: Русский язык, 1987.
- Brassens G.* Poèmes et Chansons. Paris: Editions musicales, 1973.
- Dictionnaire de proverbes et dictons / Par F. Montreynau, A. Pierron, F. Suzzoni.* Paris: Le Robert, 1994.
- Grandsaignes d'Hauterive R.* Dictionnaire des racines des langues européennes. Paris: Larousse, 1948.
- Eluard P.* Les derniers poèmes d'Amour. P.: Seghers, 1966.
- Hughes T.* One hundred Favourite Poems. Ld., 1997.
- Le Petit Robert.* Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 1991.
- Maurois A.* Une carrière et autres nouvelles. M.: Progrès, 1975.
- Perrault Ch.* Contes. Paris, 1995.
- Poètes français. XIX–XX siècles. Anthologie / Par S. Vélkovsky.* M.: Progrès, 1982.
- Prévert J.* Paroles. Paris: Gallimard, 1962.
- Queneau R.* Exercices de style. Paris: Gallimard, 1994.
- Trésor de la poésie populaire / Par Claude Roy.* Paris: Seghers, 1954.
- Verlaine P.* Poésies. M.: Progrès, 1977.

Терминологический словарь-указатель

Автокатализ — имманентный *катализ* системы, дающий возникновение самоподобных форм, в частности, *редупликацию* ее компонентов 197–199, 226, 227, 253

Адаптивная система — промежуточная инстанция, соизмеряющая взаимодействие двух систем, изначально несоизмеримых друг с другом, обеспечивающая их взаимную подстройку и *фазовую синхронизацию* 7, 195, 196, 203, 229

Аксиолема — аксиома, взятая из расширенной текстовой базы; цитата или перефразированное высказывание из письменных источников, служащие в качестве дополнительных опорных компонентов при построении дискурса 216, 217

Аксиома — высказывание, выражающее отношения между *ценностями*, которое принимается в качестве исходного для построения дискурса или организации деятельности; см. *аксиостемма*, *аксиома*, *аксиолема* 64, 74, 96, 97, 160, 161, 170, 177, 178, 211–216, 223

Аксиоматика — совокупность аксиом как исходных правил, которыми субъект руководствуется в своей деятельности, речевой или неречевой 82, 173, 211–217, 262, 263

Аксиостемма — системная базовая аксиома *языкового сознания*, смысл которой является общепринятым, регулярным, обладает неизменным достоинством 211, 215–217

Аксиома — оперативная аксиома, созданная в дискурсе; авторское установление отношений между *ценностями*; действительна только для данного дискурса 215–217

Аллономия — отношение смыслового различия при тождестве формы единиц, определяемое различием их дискурсивных или этнокультурных контекстов (см. *номология*); может достигать степени антиномии — точной смысловой противоположности 210, 216, 217, 225, 237–240

Амфисимметрия — двоякая симметрия, присущая адаптивной сущности, соразмеряющей несимметричные инстанции, см. *интерполяция* 91, 195, 196, 203, 207, 235

Анакопа — ‘отщепление к себе’, операторное значение *фонокинемы* типа *kP* 116, 139, 145, 260

Анализ — процедура извлечения параметров прообраза посредством соответствующих им эталонных операторов распознающей системы 60, 78, 150, 166, 202–206

Анализ дискурса, «дискурс-анализ» — научное рассмотрение дискурса и его структурных элементов; это понятие нередко экстраполируется на рассмот-

рение факторов самой коммуникативной ситуации, внешней по отношению к дискурсу 6, 11–15, 29, 72, 123, 138, 147, 210

Аналогия — соответствие, определяемое отношением между сходными формами, восходящими к разным *архетипам*; ей противостоит *гомология* 38, 53, 67, 72, 79, 144, 173, 185, 193, 206, 209, 236

Анастрофа — ‘жесткое вибрирующее извлечение’ — операторное значение *фонокинемы* типа *kR* 117, 141, 142, 145, 174, 260

Анафора — отсылка к предшествующей части дискурса; буквальное повторение слова или повторение смысла единицы посредством местоимения, синонима, гиперонима 16, 18, 89, 98, 125

Апокопа — ‘отторжение, придание движения’, операторное значение *фонокинемы* типа *kD* 116, 141, 145, 260

Архетип 1) первая по времени, изначальная форма, к которой восходят позднейшие языковые формы, претерпевшие те или иные изменения; 2) непроемкая базовая величина 144, 145, 181, 202, 207, 236, 238, 245

Аттрактор — особенность динамической системы, возникающая спонтанно и обуславливающая ее самоорганизацию 6, 75, 76, 83, 84, 106, 107, 114, 133, 252, 253

Аттракция — притяжение, исходящее от некоторого *аттрактора* — инстанции, являющейся организующим началом в фазовом пространстве 76, 84, 96, 107, 114, 133, 252

Версия — дискурсивная модель аналогического типа, основанная на уподоблении образа своему прототипу, сообразно ракурсу его восприятия 69, 105, 123, 155, 167, 170, 172, 174, 176, 205–208, 214, 240, 246, 251, 260

Гомология — соответствие, определяемое отношением между единицами, нередко лишенными формального сходства, но восходящими к единому *архетипу*; ей противостоит *аналогия* 139, 144, 145, 207, 208, 235

Грануляция — образование дискретных элементов — *гранул* — в континууме среды под воздействием некоторого *катализатора*; гранулы в языке — дискретные функционально определенные единицы, структурные компоненты языковой *стеммы* (полнозначные морфо-лексические единицы, операторные слова); гранулы-лексемы образуются посредством *автокатализа* базовых *фонокинем* и подвергаются дальнейшим ступеням деривации; сравнительно небольшой процент из них происходит от форм ономотопии 186, 187, 190, 192, 193, 196, 227, 236

Дериват — дискурсивная модель гомологического типа, основанная на расподоблении формы базовой величины посредством оператора деривации 52, 135, 143, 144, 187, 206, 207, 260

Дискурс 1) речемыслительный процесс, воспроизводящий и формирующий комплексные лингвистические структуры, компонентами которых являются высказывания и группы высказываний, связанные *операциями дискурсивными*; 2) сама комплексная лингвистическая структура, превышающая по объему предложение; в построении дискурса участвуют процедуры *рекурсии* и *дискурсии*, производимые *рефлексией*, которая образует дискурсивные модели

различных типов и регистров; дискурс существует в форме монолога и диалога, может иметь ситуативно-связанный и ситуативно-свободный статус

Дискурсия — процедура построения *дискурса* посредством чередования операторов, применяемых к базовой величине; обеспечивает фазовое ветвление дискурса и формирование *фрактальной структуры* на фоне фундаментальной линейной прогрессии, образуемой посредством процедуры *рекурсии* 220–223, 260

Диссимметризация — операция, приводящая симметричные объекты в соотношение *диссимметрии*; см. *расподоление* 90, 101, 205–207, 209

Диссимметрия — деформированная, искаженная *симметрия*; создает эффект *расподоления* языковых единиц 78, 79, 90, 151, 159, 162, 205–207, 209

Значимость — системная *ценность* языковой формы, социально санкционированная область ее приложимости; значимость единицы языка включает весь набор присущих ей значений (регулярных употреблений), что и противопоставляет ее всем другим единицам системы 24–28, 30, 31, 65, 135, 193, 204, 217, 232, 252

Игра — внеутилитарная самоцельная активность человека; различаются: спонтанная игра, регулярная игра (по заданным правилам) и игра-импровизация; игровое начало в значительной мере определяет деятельность *языкового сознания* при производстве дискурса 62–64, 69–74, 76–84, 105, 108, 111, 115, 155, 163–165, 175, 176, 194, 199–202, 208, 226, 256, 257, 261, 262

Идиосимвол — *символ*, специфический для данной системы, в том числе — для поэтической образной системы того или иного автора 238, 243, 244, 247, 250, 261

Изономия — отношение смыслового тождества между разными по форме единицами, определяемое тождеством их дискурсивных или этнокультурных контекстов (см. *номалогия*) 210, 237, 239, 241

Интерполент 1) синергетически порожденный образ взаимодействия двух сущностей как компонентов динамической системы; 2) амфисимметричная сущность, реализующая плавный фазовый переход от одного состояния системы к другой; 3) модель дискурса, являющаяся структурным дополнением к калибровочной модели-*метатипу* 66, 69, 127, 197, 208, 209, 260

Интерполяция 1) процедура заполнения интервала (лакуны) между высказываниями дискурса, эксплицитно обеспечивающая их смысловое согласование; 2) плавный *фазовый переход* от одного состояния системы к другому, образующий амфисимметричную промежуточную структуру, см. *интерполент*; 3) процедура взаимной подстройки двух систем; коммуникативный дискурс выступает как интерполяция языковых сознаний коммуникантов 43, 91, 111, 121, 127, 128, 145, 149, 191, 196, 200, 201, 203, 207, 247, 257, 262

Интерпретация — дискурсивная модель, воссоздающая или конструирующая контекст для языкового символа; может носить как чисто репродуктивный, так и импровизационный характер 234, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 255, 260

Калибровка 1) действие устойчивой параметрической матрицы, спонтанно образованной в среде, создающее *симптосимметричный* по отношению к ней

объект; 2) смыслопорождающее или смыслоизменяющее действие *контекстной матрицы* дискурса 197, 199, 203, 206–210, 223, 225, 229, 230, 238, 254, 255, 260

Катализ 1) явление, связанное со скачкообразным *фазовым переходом* системы из одного состояния в другое; происходит в результате появления в системе некоего не характерного для нее *аттрактора* или в силу действия нестандартной совокупности внешних параметров; различается две ступени катализа: разрушение исходных связей в структуре и ее реорганизация посредством новых связей; 2) процедура построения модели посредством особенного, нестандартного использования языкового оператора — *катализатора* — по отношению к типовой структуре, или посредством воздействия *контекстной матрицы* на отдельное выражение, что приводит к созданию нового смысла, контрастирующего с исходным; противопоставляется процедурам *анализа* и *синтеза* 78, 157, 158, 163, 166, 194, 196–199, 202, 203, 207, 209, 243, 253, 260

Катализатор — оператор *катализа*, производящий реорганизующее воздействие на исходную типовую структуру или, в более общем случае, организующее воздействие на совокупность разрозненных сущностей; в дискурсе в этом качестве может выступать как лексический, так и матричный (контекстный) оператор 77, 78, 80, 84, 106, 111, 124, 196, 198, 199, 203, 252, 253, 256

Кинема — единица, выражающая движение; образ моторного, кинестетического характера; воспроизведение структуры фазового перехода посредством движения органов речи; фонетическая синтагма, запечатляющая этот переход в звукоартикуляции, см. *фонокинема* 143–145, 147, 148, 152, 170, 201, 260

Команда — речевое действие, связывающее процесс языкового исчисления с внеязыковой реальностью, переводя свернутую в речи энергию в двигательные акции и реакции людей; прагматический аналог синтаксической операции 43, 115, 116, 118, 123–126, 170, 198

Компиляция — дискурсивная модель репродуктивного характера, производимая путем соположения копий уже существующих дискурсивных фрагментов 255, 256

Контекст — структурное дополнение единицы до целой структуры высказывания или дискурса; «внешняя форма» единицы, определяющая ее смысловую ориентацию относительно других единиц; см. *контекстная матрица*

Контекстная матрица, контекстный трансполатор, матричный *оператор* — структурное дополнение к языковой единице в дискурсе, обеспечивающее ее семантическую калибровку 38, 207, 209, 210, 225, 230, 236, 254

Копия — образ первого порядка, буквально воспроизводящий *прототип*; удвоение прототипа в некотором материале; модель репродуктивного характера — вырожденный случай модели-*версии* 37, 39, 60, 68, 147–149, 154, 155, 176, 184, 198, 204–206, 223, 227, 255

Материал — некоторая субстанция или совокупность форм, которые служат для построения *модели* 38, 48, 59, 84, 85, 147–153, 155, 159, 163–166, 169, 172, 173, 175, 176, 182, 193–195, 203–206, 208, 211, 245, 255, 259, 260

Матрица 1) структурная основа комплексной языковой единицы; способ организации, схема построения идентичных по структуре единиц; носителем матрицы в системе является языковая *стемма*; 2) в физической системе — параметрическая матрица, образуемая сочетанием разнородных параметров среды; см. *метатип*

Метатекст — лингвокультурный контекст для дискурса; метастабильное коммуникативно-ориентированное состояние системы; латентная фаза подстройки языкового сознания к осуществлению производства или восприятия дискурса 61, 253–257, 260

Метатип 1) устойчивое сочетание параметров среды, параметрическая матрица, формирующая из субстанции, попавшей в фокус ее действия, объект, *симптосимметричный* по отношению к ней; 2) параметрическая дискурсивная модель с калибровочным эффектом; может выступать либо как автономный «косвенный» выразитель смысла, либо в качестве *контекстного трансплятора*, создающего эффекты семантической перекалибровки языковых единиц 197, 199, 203, 207–210, 254, 260

Моделирование — придание формы некоторому материалу посредством той или иной операции, в результате чего создается принципиально новая сущность — *модель* 6, 57, 61, 67, 68, 72–75, 77, 120, 147, 150, 151, 169, 201, 203–208, 223, 233, 251, 259, 262, 263

Модель — образ второго порядка, не совпадающий с прообразом; результат моделирования как создания принципиально нового объекта, сформированного из наличного *материала*; из языкового материала формируется дискурсивная модель, обладающая оригинальным смыслом; различаются три способа построения моделей: аналитический, синтетический и каталитический; см. *типы моделей, регистры моделей* дискурсивных 8, 15, 22, 30, 67, 72, 73, 113, 120, 125, 126, 137, 144, 148–182, 187, 192–195, 201–209, 214–216, 220–223, 229, 236, 244–246, 248–256, 259–262

Модусы симметрии — различные ступени вариаций *симметрии*, в том числе антисимметрия, *амфисимметрия, диссимметрия, симптосимметрия* и т. д.

Номология — соответствия между единицами, определяемые *номосом* системы; среди них отношения *аллономии, изономии, тавтономии* и др. 209, 210, 213, 214, 235, 261

Номос — закон контекстного управления формированием смысла в данной системе, определяющий соответствия *номологии* на основе взаимодействия принципов *симметрии* и *диссимметрии*; обуславливает также соответствия *аналогии* и *гомологии* 209, 210, 213, 237, 238

Образ — объект, создаваемый в результате операции отображения прообраза (*прототипа*) в некотором материале или посредством операции *моделирования*; образ первого порядка — *копия* — идентичен прообразу; образ второго порядка — *модель* — не совпадает с прообразом, выглядит как измененная копия; образ третьего порядка — *стемма* — копия дискурсивной модели, хранящаяся в языковом сознании 6, 44–48, 57–61, 65–71, 78–85, 99, 110, 125, 133, 134, 143, 144, 147–151, 153–156, 160, 161, 166–170, 176–179, 182, 192, 196, 199–208, 227, 229, 234, 245, 247, 249–253, 256, 260, 262, 263

Образ взаимодействия субъекта и объекта — обобщает в себе *фазовый переход* между двумя состояниями системы в процессе деятельности; лежит в основе дискурсивного моделирования и смыслообразования, в том числе и в основе *фонокинемы* 66, 78, 133, 144, 147, 148, 182, 201, 202, 206, 229, 236, 259, 260

Оператор 1) синтаксическая единица, выражающая значение операции (глагол, союз, модальное выражение, и т. д.); 2) инстанция, производящая операцию над другими единицами — операндами (термами); *контекст* способен выступать как матричный оператор (см. *контекстная матрица*)

Операция — действие, преобразующее исходное отношение между единицами в некоторое результирующее отношение

Операции дискурсивные:

— **операции порядковой размерности:** ввод компонента, ординация, перечисление, разложение, ранжирование; **аддитивные:** сложение, объединение; **субтрактивные:** вычитание, субтракция, отрицание; **имплективные:** импликация, экспликация, аксиализация, факторизация, фокализация; **трактивные:** *протракция, ретракция*

— **операции полярной размерности:** дизъюнкция, отождествление, сравнение, уподобление, *расподобление*, контрапозиция, *паратракция*

Особенность — нерегулярное явление на фоне регулярных, стандартных; деформация однородной среды; см. *сингулярность* 6, 20, 26, 45, 47, 48, 73–75, 80, 81, 84, 108, 109, 163

Паратракция — операция сопряжения несовместимого, порождающая нестандартные смыслы 106–112, 117, 127, 163, 165, 172, 199, 209

Паремии — единицы дискурсивного уровня, обладающие, как и лексические единицы (слова, фразеологизмы), цельной, устойчивой формой и регулярностью воспроизведения, но, в отличие от них, состоящие из одного или более высказываний: пословицы и поговорки, афоризмы, анекдоты, небылицы, притчи и т. д.; входят в базовую *аксиоматику языкового сознания*

Прототип — прообраз для *модели*; объект, с которого снимается *копия*; его противоположностью является *метатип* 45, 57, 149, 150, 155, 156, 174, 176, 190, 205, 206, 214, 237–240, 245

Протракция — ‘отталкивание, развертывание’, фундаментальная операция порядковой размерности дискурса 97–100, 113, 116, 133, 140

Профаза — подготовительная фаза речевого действия, исходная часть синтагмы; ей противостоит *эпифаза* 120–122, 124–126, 128, 137, 138, 140, 148, 149, 166, 191, 220, 221, 226

Расподобление — операция полярной размерности, противоположная операции уподобления; исходный терм расподобления должен быть столь же хорошо известным, как и основание для операции уподобления; результат *диссимметризации* единицы в формальном и смысловом планах в процессах деривации и *транспозиции* 103, 106, 110, 112, 117, 168, 205–207, 210, 218, 221, 223–228, 232, 237, 238, 259, 260

Регистры моделей дискурсивных — представляют собой разные фазы создания моделей, производных от первичной модели *диктального* регистра, где

смысл выражен непосредственно фонетическими средствами, «стилем» самого говорения; модели последующих регистров (**реальная, квазиреальная, ирреальная, аллегорическая, категориальная**) выступают как различные ступени «иноговорения» 148, 153, 159, 163, 167, 175–179, 185, 186, 204, 215, 225, 251, 252, 257, 260

Регулярность — однородность, монотонность пространства, процесса, повторяемость явления в неизменном, стандартном виде; динамический антипод *сингулярности*; регулярно в дискурсе соответствует сингулярное в языковой системе 10, 26, 83, 128, 182, 194, 232, 261

Регуляция — управление деятельностью; речевая регуляция — важнейший компонент процесса общения 23, 40–43, 46, 82, 149, 154, 170, 194, 200, 201

Редупликация — удвоение элемента; образование самоподобной структуры посредством *автокатализа* единицы с участием *рекурсии* 40, 186, 197–199, 226–228,

Рекурсия — процедура повторного применения одной и той же операции к базовой величине, в результате чего можно получить производные величины различных порядков, а также *фрактальную* структуру дискурса 68, 69, 74, 166, 191, 192, 220–223, 260

Реома — высказывание дискурса, динамический аналог языковой *стеммы*, в котором отношения и операции представлены как процессы, фазовые состояния, фазовые переходы 215–217

Ретракция — ‘стяжение, свертывание’, фундаментальная операция порядковой размерности дискурса, см. *эндотропа* 98–100, 117, 133, 138, 228, 229, 244

Рефлексия 1) отражение мира сознанием (на первой ступени рефлексии) и дальнейшее многократное и многоступенчатое отражение сознанием самого себя, создающее образы на спонтанном, регулярном, импровизационном уровнях моделирования; 2) высшая функция психики, производящая саморасщепление сознания (на рефлектирующую и рефлектируемую инстанции) и диалогическое оперирование собственными образами в режимах *анализа, синтеза и катализа*; 3) психический аналог балансирования субъекта в динамической среде; акт рефлексии производит *фазовую синхронизацию* динамики субъекта и динамики мира; рефлексия формирует в качестве своего инструмента *язык* как метастабильный компонент психики — «остров» в потоке образов сознания — и на этой основе реализуется как дискурсивная рефлексия, порождающая языковые модели мира, которые в совокупности образуют *языковое сознание* 7, 8, 35, 41, 59, 62, 67–72, 82–85, 147–150, 161, 166, 169–172, 175, 188, 192–195, 199–205, 207, 209, 223, 226, 230–233, 236, 252–256, 259–263

Символ — букв.: часть предмета разделенного пополам, которая служит основанием для распознавания «своего» при встрече, а затем для выражения всего целого; 1) синергетическая сущность, которая выступает как *эндотропа*: несет в себе в свернутом виде смысл другой сущности, не данной нам непосредственно; 2) дискурсивная модель, построенная на принципе семантического свертывания контекста; в качестве символа может выступать не только слово, но и любая единица, представляющая в свернутом виде смысл ее структурного дополнения, в том числе и целый дискурс по отношению ко всей лингво-

культурной системе; смысл символа зависит от объема и от уровня свернутого в нем контекста 84, 161, 165, 200, 233–245, 247–255, 260, 261

Симметризация — операция приведения несимметричных объектов в соотношение *симметрии* (соразмерности) 88, 90, 91, 195, 197, 203, 205, 206, 207, 218

Симметрия — в общем смысле соразмерность сущностей, определяемая относительно некоторого основания симметричного соотношения (центра, оси, плоскости симметрии, линии раздела, промежуточной *адаптивной системы* и т. д.); см. *модусы симметрии* 37–39, 63, 66, 78–80, 90, 91, 111, 149, 195–198, 203–207, 252, 253, 260, 263

Симптосимметрия — симметрия взаимной дополнительности; соразмерность сущностей, определяемая возможностью их схождения как частей единого целого 38, 91, 207–209

Сингулярность — нестандартность, нерегулярность, неповторимость, уникальность явления; само явление с такими характеристиками; см. *особенность* 25, 26, 73, 74, 83, 107, 166, 182, 194, 197, 198

Синергетика — наука о динамических самоорганизующихся системах; исследует процессы зарождения систем в континууме действительности, их обособления, самоорганизации, саморазвития и взаимодействия, обмена энергией и информацией; процессы *грануляции*, структурирования и распада, *катализа* и *автокатализа* 6, 7, 66, 78, 195, 199, 234

Синергия — эффект взаимодействия двух или более энергий; новая сущность порожденная этим взаимодействием 7, 66, 166, 209, 236

Синкопа — ‘вонзание — расщепление’, операторное значение *фонокинемы* типа *tK* 117, 143, 145, 260

Синтагма — бинарное (двучленное) сочетание языковых единиц (фонем, морфем, слов, фраз); как речевое действие, состоит из двух фаз: *профазы* и *эпифазы* 14, 37, 119–121, 125–127, 137, 184, 191, 220

Синтез — процедура соединения разрозненных единиц в единое целое 23, 61, 78, 150, 151, 163, 166, 174, 202, 206

Стемма — образ третьего порядка; единица системы как мысленная фиксация, *копия* дискурсивной модели, где операциям дискурса соответствуют отношения между компонентами — *гранулами* стеммы; метастабильная системная константа, носитель типовой матричной структуры 31, 182, 202–204, 207, 209, 211, 215–217, 219, 253, 254, 259

Тавтономия — формальное и смысловое тождество единицы, принадлежащей разным системам, частный случай *изономии* 237

Текст — письменная фиксация дискурса или иного произведения речи; элемент расширенной (внешней) базы *языкового сознания* 11–28, 33–35, 105, 132, 204, 214, 235, 239, 253

Телескопическая структура — фрактальная форма, образованная посредством вложения одних структур в другие 184, 191, 220, 228, 254, 260

Типы моделей дискурсивных:

— аналогические: *версия, экстраполяция*;

- гомологические: *дериват, трансполент*;
 - номологические: *метатип, интерполент, символ*;
 - репродуктивные: *копия, компиляция, интерпретация*;
- каждый тип дискурсивной модели подразумевает некоторый принцип симметрии, лежащий в основе ее формирования, и матричную *значимость*, которая в виде образца или эталона запечатлется в соответствующей *стемме* как элементе системы

Трансполент 1) языковое выражение, получившее новый смысл в результате его *трансполяции* путем помещения в нестандартную для него *контекстную матрицу*; 2) дискурсивная модель, основанная на смысловом расподоблении базовой величины в результате ее помещения в *контекст*, отличный от первичного типового 66, 207, 209, 260

Трансполяция 1) семантическое расщепление; эффект семантического расподобления выражения посредством его помещения в новый контекст, выступающий в качестве контекстного трансполатора, см. *контекстная матрица* 2) скачкообразный *фазовый переход* от одного состояния системы к другому 66, 104, 111, 191, 207, 209, 210, 216, 219, 222, 224

Фаза — шаг, ход, этап процесса деятельности или эволюции динамической системы; в линейном построении высказывания как речевого действия выделяются *профаза* и *эпифаза* 43, 45, 46, 119–133, 136–143, 148–150, 166, 181, 184, 185, 191, 193, 196, 200, 205, 220, 226, 227, 235, 253

Фазовая прогрессия в дискурсе — гладкое, постепенное развитие дискурса на основе линейного (присоединительного) взаимодействия его фаз 120, 121, 123, 129, 191, 220, 221

Фазовая синхронизация — согласование моментов, принадлежащих разнородным процессам; в деятельности сознания реализуется посредством актов *рефлексии*; при синхронизации двух сознаний высказывание выступает как сложное интерполирующее действие: согласует и процесс общения и образы ситуаций, в разной степени известные коммуникантам 127, 196, 200, 201, 263

Фазовая траектория 1) линия, описывающая движение объекта в фазовом пространстве; последовательность фаз (состояний) в эволюции системы; ее компонентами могут быть простые цепочки, *циклы*, периоды, ростки и бифуркации (расщепления), а также степенные формы (спирали, эволюты) и др.; совокупность фазовых траекторий образует *фазовый портрет* системы; 2) последовательность фаз построения дискурса; может быть гладкой, принимая вид *фазовой прогрессии*, или разрывной (см. *фазовое расщепление*) 127, 184, 186, 191, 192, 200, 220, 221

Фазовое разветвление, расщепление (бифуркация) дискурса — развитие дискурса по принципу параллельного взаимодействия фаз 121–123, 129, 191

Фазовый переход — преобразование состояния системы; может быть плавным (см. *интерполяция*) или скачкообразным (см. *трансполяция*) 121, 127–133, 137, 185, 191, 196, 197, 200, 201, 205, 215, 260

Фазовый портрет системы 1) в диахронии — это совокупность *фазовых траекторий* динамической системы; 2) в синхронии — это фазовый спектр, или

конфигурация *фазовых траекторий* в снятом виде, представляющая систему как метастабильную совокупность состояний ее подсистем, обладающих разной степенью структурированности; фазовый спектр языковой системы включает разнообразные фазовые компоненты: реоморфные (текущие), аморфные, гранулированные, амфиморфные, кристаллические, стереотипы, клише, амальгамы 185–190

Фонокинема — корневая консонантная *фоносинтагма*, носитель диктального образа *взаимодействия* субъекта и объекта; выразитель фазового перехода между двумя состояниями ситуации 143–149, 174, 182, 186, 187, 201, 227, 236, 259, 260

Фоносинтагма — *синтагма*, состоящая из двух фонем, см. *фонокинема* 137–145, 147, 174

Фрактальная структура — самоподобная структура, образуемая посредством процедур *рекурсии* и *дискурсии*; см. *редупликация, телескопическая структура* 184, 191, 193, 220, 227, 231, 235, 236, 244, 254, 259, 260

Ценность — потенциал важности той или иной сущности для человека, дискурсивно определяется посредством языковой *эвалюации*; во французском языке это понятие выражается термином «*valeur*», общим для ценности и *значимости* 24, 42–45, 47, 53–56, 64, 65, 95, 193, 196, 211–216, 229, 243, 251, 262

Цикл — форма *фазовой траектории*, где фазы процесса образуют замкнутую цепочку, т. е. конечная фаза является возвратом к начальной 74, 75, 129–133, 136, 163, 169, 186

Эвалюация языковая — установление ценностного соответствия между объектами речи посредством языка, определение их соотносительной *ценности* при посредстве языковых эталонов как операторов эвалюации 54–57, 79, 155, 206

Экзотропа — ‘отталкивание, развертывание’, фундаментальная операция дискурса; операторное значение *фонокинемы* типа *kN*; соответствует синтаксической *протракции* 116, 140, 145, 260

Экстраполятор — оператор, симметризирующий по отношению к себе, объекты, попадающие в зону его действия 66, 197, 206

Экстраполяция 1) эффект действия *экстраполятора*; 2) дискурсивная модель, основанная на эффекте экстраполяции, в результате чего представляемые объекты (прообразы) уподобляются некоторой языковой *стемме*, получают свой дубликат в терминах эталонов языковой *эвалюации* 206, 260

Эндотропа — ‘стяжение, свертывание’, фундаментальная операция дискурса; операторное значение *фонокинемы* типа *kM*; соответствует синтаксической *ретракции*; свойством эндотропности (способностью свертывать смысл контекста) обладает как местоимение, так и любое предметное слово; см. *символ* 117, 138, 144, 145, 231, 234, 243, 260

Энклиза — ‘плавное вложение, вхождение’, операторное значение *фонокинемы* типа *kL* 117, 142, 145, 260

Эпифаза — исполнительная фаза речевого действия, завершающая часть синтагмы; противопостав *профазе* 120–123, 125, 127, 135, 137, 138–143, 145, 148, 149, 166, 191, 220, 221, 226

Язык — игровая по своей природе семиотическая система, способная к самоусложнению и самообогащению; инструмент дискурсивной *рефлексии*, стратегическое орудие ценностного отражения мира в *языковом сознании* и управления деятельностью человека; как *адаптивная система* обеспечивает фазовую синхронизацию деятельности субъекта с процессами, происходящими в мире, посредством актов *рефлексии*

Языковое сознание — лингвокультурный компонент сознания метастабильного характера; представляет собой ценностно ориентированный образ мира, определенный языковыми формами; создается деятельностью *рефлексии*, становясь мощным фундаментом эффективной коммуникации 5, 8, 20, 25, 30, 54, 59–61, 69, 78, 81–85, 119, 170, 176, 177, 182, 183, 187, 192, 194, 199–207, 211, 214, 217, 227, 233, 236–244, 252–254, 257, 258, 261.

Другие книги нашего издательства:

Французский язык

- Гак В. Г., Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода. Французский язык.
Гак В. Г., Мурадова Л. А. Учитесь читать по-французски.
Степанов Ю. С. Французская стилистика (в сравнении с русской).
Удачаева Е. В. Практикум по культуре речевого общения на французском языке.
Синицын В. В. Практикум по орфографии современного французского языка.
Эткинд Е. Г. Семинарий по французской стилистике. В 2 т.: Т. 1: Проза. Т. 2: Поэзия.
Долинин К. А. Интерпретация текста (французский язык).
Долинин К. А. Практикум по интерпретации текста: Французский язык.
Соколова Г. Г. Пособие по переводу с русского языка на французский.
Габдреева Н. В. История французской лексики в русских разновременных переводах.
Цыбова И. А. Французская лексикология.
Шор Е. Н. Практическая грамматика французского языка: Для научных работников.
Ришар-Фавр Э. История и о ком. Билингва (французско-русский).
Ришар-Фавр Э. История и о чем. Билингва (французско-русский).
Корди Е. Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке.
Голубева-Монаткина Н. И. Французский язык в Канаде и США.
Катагощина Н. А. Как образуются слова во французском языке.
Ретинская Т. И. Словарь аргю французской учащейся молодежи.
Веденина Л. Г. Французское предложение в речи.
Жолудева Л. И. «Утешение философией» Бозия в переводах Ж. де Мёна и Дж. Чосера.
Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики.
Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман.
Михайлов А. Д. Старофранцузская городская повесть «фаблю».
Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний.
Лалу Р. История французского стиха (IX–XVI века).
Серия «Из лингвистического наследия В. Г. Гака»
Гак В. Г. Русский язык в сопоставлении с французским.
Гак В. Г. Беседы о французском слове.
Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков.
Гак В. Г. Французская орфография.
Гак В. Г. Сопоставительная лексикология: На материале французск. и русского языков.
Гак В. Г. Языковые преобразования. Кн. 1, 2.



URSS

Наши книги можно приобрести в магазинах:

- Тел./факс:
+7 (499) 724-25-45
(многоканальный)
E-mail:
URSS@URSS.ru
http://URSS.ru
- «Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (495) 625-2457)
«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242)
«Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (495) 238-5001, 780-3370)
«Дом научно-технической книги» (Ленинский пр-т, 40. Тел. (495) 137-6019)
«Дом книги на Ладомской» (м. Бауманская, ул. Ладомская, 8, стр. 1. Тел. 257-0302)
«Гнозис» (м. Университет, 1 гом. корпус МГУ, комн. 141. Тел. (495) 939-4713)
«У Нептавра» (РГТУ) (м. Новослободская, ул. Чаянова, 15. Тел. (499) 973-4301)
«СПб. дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 448-2355)

Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.



URSS

Среди выпущенных и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

Психолингвистика

Слобин Д. Психолингвистика; Грин Дж. Хомский и психология.

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности.

Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания.

Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения.

Белоусов К. И. Синергетика текста: От структуры к форме.

Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс.

Норман Б. Ю. Грамматика говорящего: От замысла к высказыванию.

Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса.

Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации.

Щербинина Ю. В. Вербальная агрессия.

Дридзе Т. М. Язык и социальная психология.

Владимирова Т. Е. Призванные в общение.

Пиотровский Р. Г. и др. Психиатрическая лингвистика.

Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности.

Наумов В. В. Государство и язык: Формулы власти и безвластия.

Серия «Женевская лингвистическая школа»

Балли Ш. Жизнь и язык. Пер. с фр.

Сеше А. Очерк логической структуры предложения. Пер. с фр.

Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики. Пер. с фр.

Фрей А. Грамматика ошибок. Пер. с фр.

Фрей А. Соссюр против Соссюра? Статьи разных лет. Пер. с фр.

Кузнецов В. Г. Женевская лингвистическая школа: от Соссюра к функционализму.

Серия «Классический университетский учебник»

Селищев А. М. Старославянский язык.

Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология.

Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка.

Серия «Новый лингвистический учебник»

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику.

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика.

Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:
тел. +7 (499) 724-25-45 (многоканальный)
или электронной почтой URSS@URSS.ru
Полный каталог изданий представлен
в интернет-магазине: <http://URSS.ru>

Научная и учебная
литература